

МЕРСЕ

Картины
ПАРИЖА

I



academia



ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛУИ-СЕБАСТЬЯН МЕРСЬЕ

1740—1814

А С А Д Е М И А

Москва—Ленинград

ЛУИ-СЕБАСТЬЯН МЕРСЬЕ

КАРТИНЫ ПАРИЖА

Перевод В. А. Барбашевой

Редакция и комментарии

Е. А. Гунста

Статья Ц. Фридлянда

ТОМ ПЕРВЫЙ

А С А Д Е М І А

1 9 3 5

LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER

TABLEAU DE PARIS

1781

*Супер-обложка и переплет
Н. В. Кузьмина*



Л.-С. Мерсье
С гравюры Энрике

ЛУИ-СЕБАСТЬЯН МЕРСЬЕ

«Великий книгопроизводитель Франции»

1

Париж 1781—1788 гг.

«J'ai tant couru pour faire
le tableau de Paris, que je
puis dire l'avoir fait avec
mes jambes...»¹

Луи-Себастьян Мерсье принадлежит к самым плодовитым писателям XVIII в. Автор пьес, романов, исторических произведений, социальных трактатов, утопий, бесконечных очерков, он пользовался известностью накануне 1789 г. Славу Мерсье создало начатое им в 1781 г. многотомное собрание «Картины Парижа».

Впервые эта книга вышла в 1781 г. в двух томах. Чтобы написать ее, Мерсье удалился из Франции в Швейцарию. Его напугала судьба знаменитого аббата Рейналя, изгнанного 21 мая 1781 г. королевской полицией. В Невшателе Мерсье продолжал спокойно писать.

¹ Я так много бегал, чтобы сделать картины Парижа, что мог бы утверждать—я сделал их ногами.

Вслед за двухтомным «Le Tableau de Paris» книга вышла в четырех томах в 1782 г., в следующем году были изданы еще 4 тома и, наконец, спустя пять лет, было добавлено еще четыре. Двенадцать томов «Картин Парижа» потрясли читателей.

Десятилетие накануне революции было годами окончательного распада самодержавного государства. В недрах феодализма созревало капиталистическое общество. Людовик XVI испробовал все, чтобы сохранить свою самодержавную власть. Он поощрял феодальную реакцию,—сеньоров, стремившихся расширить и укрепить сеньоральные права над крестьянством; февдисты стремились перед судьями королевства защитить средневековые претензии помещиков-дворян. Людовик XVI, правда, вынужден был прибегнуть к реформам. Но Тюрго ожидала судьба Шуазеля. Тюрго был, конечно, талантливее своего предшественника «реформатора». Это был ученик физиократов, это был идеолог «просвещенного абсолютизма», сделавший попытку на практике осуществить учение экономистов. Его неудача и его падение были показателем обострения классовых противоречий во Франции и неизбежности революции.

Всего несколько лет прошло после издания утопии Мерсье «Год 2440» (1771) до момента объявления американскими колониями войны Англии. В этой войне Франция попыталась взять реванш за потерю колоний в годы Людовика XV. В американской войне дворянско-буржуазная оппозиция внутри Франции нашла для себя знамя. Людовик XVI вынужден был передать управление государством женеvскому банкиру Неккеру. Это была капитуляция абсолютизма перед буржуазией, но крупная буржуазия в лице Неккера не спешила с требованием полновластия, она была умеренной и верноподданнической оппозицией. В 1781 г.,

в год появления «Картин Парижа», Неккер опубликовал бюджет государства, утаив от населения подлинные размеры финансового банкротства самодержавия. Но даже тот частичный материал, который впервые получил французский гражданин, поразил его как громом, показав ему неизбежность борьбы с монархией. Неккер ушел в отставку, подобно Шуазелю и подобно Тюрго. Самодержавие вновь попыталось вооруженной силой бороться за свое существование, но, конечно, судьбу государства решала не «реформаторская» деятельность Тюрго или Неккера—судьбы государства решились народными массами Франции.

Десятилетие накануне революции было полно еще до сих пор недостаточно изученными попытками народных масс с оружием в руках решить судьбы самодержавно-феодального государства. С 1771 по 1787 г. насчитывается по крайней мере до двадцати более или менее крупных крестьянских и городских выступлений. В 1773 г. в окрестностях Бордо 4000 крестьян выступили походом на город; «беспорядки» здесь продолжались около месяца. В Турене полиция повесила четырех вожakov народного бунта. Выступления имели место в Бретани и в Париже. В 1786 г. Лион оказался в руках восставших ткачей. В итоге подавления восстания 4 убитых, 20 раненых, 3 повешенных.

Франция в эти годы вновь познакомилась с литературой, которая с успехом распространялась в столице еще во времена Фронды и в годы крестьянских восстаний последних лет царствования Людовика XIV. В 1771 г. на статуе Людовика XV висел плакат: «Хлеба по два су. Повесить главного министра или восстание в Париже!» В 1786—1787 гг. плакаты эти говорили более резким и решительным языком: «О Франция! Народ рабов и слуг! Презирая законы, у тебя за-

бирают все твое добро, чтобы заковать тебя в цепи. Долго ли ты будешь страдать, народ мученик?»

Мерсье вошел в славу в годы, когда классики просвещения уже отошли в прошлое. Вольтер стал *«королем Вольтером»*, Руссо продолжал царить над умами, но, как мы увидим из показаний самого Мерсье, временами он напоминал ученикам маньяка. На арену истории выступил Мабли. Этот почтенный философ и политик был старше Руссо, но до 1770 г. Мабли оставался неизвестным. Только после 1770 г. он стал популярным мыслителем Франции и постепенно в годы революции оттеснил даже классиков. Огромное значение в эти годы приобрел аббат Рейналь и, наконец, среди новых героев просвещения—*Луи-Себастьян Мерсье*. Даниэль Морне в своей последней монографии «Об интеллектуальных причинах французской революции» готов даже утверждать, что Мерсье пропагандой идей гражданской войны в утопии «Год 2440»—о ней речь впереди—ближе других стоит к вождям революции, за много лет до ее начала. Впрочем, и Морне, цитируя соответствующие строки «Утопии» о гражданской войне, вынужден признать, что для Мерсье вместе с тем характерно одновременно уважение к монархии, попытка найти мирный для нее исход, попытка наметить для нее план реформ. Даниэль Морне, правда, оставляет в стороне анализ работ Марата, его «Цепи рабства» (1774) и его «План уголовного кодекса» (1780). Он оставляет в стороне анализ работ Бриссо, посвященных реформе уголовного законодательства и поискам «подлинно-достоверного метода раскрытия истины». Суждения Даниэля Морне, однако, характерны для того, как буржуазная историография в наши дни начинает оценивать значение Мерсье, этого, казалось, всеми забытого писателя XVIII века.

Надо иметь в виду, что в последнее десятилетие накануне революции во Франции шла упорная борьба между двумя философскими школами, из которых одна может быть определена как «школа энциклопедистов», другая—как «школа Руссо». Разногласия между политиками и теоретиками буржуазии и мелкой буржуазии шли теперь, однако, по другим линиям. Это были разногласия по вопросу о роли и значении революционной борьбы для обновления Франции. Идеологи буржуазии, даже сознавая необходимость насильственного переворота, практически добивались мирных реформ, чтобы избежать вмешательства народных масс в дело преобразования Франции. Мелкая буржуазия даже тогда, когда она готова была признать, что революционный переворот—задача ближайших лет, в своей положительной программе преобразований не шла дальше требований «демократической монархии». Если для идеологов буржуазии, для учеников физиократов, освобождение частной собственности от феодальных уз было последним словом социальной мудрости,—идеологи мелкой буржуазии мечтали о «равенстве собственников», о возможности ограничить накопление крупного капитала во имя гражданского и социального равноправия мелкого люда. Но и те, и другие по существу во всех своих рассуждениях исходили из признания священной частной собственности как основы будущего государства.

Для мелкой буржуазии XVIII в. характерны глубочайшие внутренние противоречия ее социальной программы. Лозунги демократии—равенство и свобода прикрывали неизбежность торжества нового строя, основанного, пусть на новых, но все же принципах социального неравенства и угнетения—на базе *наемного труда*. Об этом противоречии Маркс писал неодно-

кратно, когда характеризовал сущность якобинизма в эпоху французской революции. В дискуссии с Бруно Бауэром Маркс говорит: «Какая колоссальная ошибка быть вынужденным признать и санкционировать в «правах человека» современное буржуазное общество, общество промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных интересов, анархии самой от себя отчужденной природной и духовной индивидуальности—быть вынужденным признать все это и в то же время аннулировать, в лице отдельных индивидуумов, жизненные проявления этого самого общества, и в то же время желать построить по *античному* образцу *политическую верхушку* этого общества».

Даже терроризм французской революции не мог уничтожить этого противоречия между торжествующим буржуазным обществом и античным политическим идеалом мелкого буржуа. Накануне революции преодолеть эти противоречия было еще труднее. Характерны вместе с тем для последнего десятилетия кануна революции поиски компромисса между различными школами просвещения. Марат искал примирения Монтескье и Руссо, Мерсье—Руссо и Дидро. Эти попытки обнажали лишь глубочайшие противоречия всего мировоззрения радикальной мелкой буржуазии.

«Картины Парижа»—блестящее собрание более 1000 очерков о жизни столицы за десять лет до революции. Попытки проанализировать под углом зрения демократа мелкого буржуа все стороны не только политической и идеологической надстройки, но и быта Франции, наилучшим образом вскрывают эти противоречия. Мерсье превозносит Швейцарию, но когда в 1781 г. он очутился в Невшателе, он вынужден был признать, что в этом демократическом государстве между гражда-

нами не меньше противоречий и ненависти, чем между жителями большого европейского города. Впрочем, как мы знаем, разочарование постигло еще раньше Жан-Жака, его учителя, когда в борьбе за театр Руссо вынужден был доказывать женеvским лавочникам, что у них нет никаких оснований подражать античным образцам.

Первое впечатление от «Картин Парижа»—это хаос разнообразных и пестрых по теме очерков. Но внимательное чтение обнаружит систему автора, его стремление дать законченное целое, не только сумму впечатлений от великого города,—«Вавилона XVIII века».

В Невшателe Мерсье уехал для того, чтобы лучше и свободнее рисовать то, что он видел. Свою книгу он создал, не сидя в кабинете,—он собирал в продолжение многих лет заметки о быте и нравах жителей столицы. Мерсье утверждает: *«Я так много бегал по Парижу, чтобы сделать картины Парижа, что мог бы утверждать—я сделал их ногами»*. Враг его Ривароль утверждал, что книга Мерсье не что иное, «как мысли на улице, как записи на уличных тумбах». В этих замечаниях, как мы увидим, не мало верного.

«Руссоист» Мерсье отличается от своего учителя в самом подходе к теме. Он заявляет, что, изображая Париж накануне революции, стремится доказать читателям, что «век существующий превосходит век, ушедший в прошлое». «Возможно,—говорит Мерсье,—что нравы потеряли свою чистоту, но зато усовершенствовались общественные отношения, развилось представление о свободе, словом, сделано несколько шагов вперед, в сторону улучшения человеческого рода», и добавляет: «Век Августа, век Медичи, век Людовика XIV, столь прославленные художниками, скульпторами, архитекторами и поэтами,—все это прошлое

может исчезнуть перед нашим веком, превосходящим ушедшие эпохи. Гений моих современников торжественно объявляет о своем величии и свободолюбии, требует защиты; *он хочет изменить весь мир*». В этих словах Мерсье выступает перед нами как теоретик и публицист предреволюционной Франции, как идеолог буржуазии в ее борьбе за обновление общества.

Но тот же Мерсье на 54-й странице первого тома убеждает нас, что люди Парижа безразлично относятся к политике. Более того, он хочет уверить нас, что парижанин его дней «обладает умом и познаниями, но у него нет ни силы, ни характера, ни воли». Для Мерсье в Париже нет плебейских масс, хотя есть народ, чернь и буржуа. Он готов самого буржуа изобразить как торгаша, он готов утверждать, что гражданин Франции «не ходит по улице с высоко поднятой головой и что население Парижа страшится ружейного дула полиции». Даже те отдельные факты, которые мы привели о народных восстаниях во Франции накануне революции, показывают, насколько неосновательно со стороны Мерсье такое пренебрежительное отношение к парижскому народу.

Впрочем, даже в этой главе выступает наружу внутренняя противоречивость взглядов Мерсье. Он, давая столь нелестную характеристику парижанам, в то же время вынужден признать, что эти качества парижский народ приобрел только за последние десятилетия, благодаря гнету самодержавного режима. Мерсье мечтает об изменении, или, точнее, о возвращении парижанину той грубости и смелости, которые его отличали в давно прошедшие времена. Он пишет: «Живость и, если на то пошло, известная доля дерзости в характере народа будут ручательством его искренности, честности и преданности». Как мы знаем, накануне революции Китай

был псевдонимом деспотизма в самодержавной Франции. Мерсье объясняет нам, почему парижанин стал труслив: «В Китае господствует палка». Прошло всего только несколько лет, и парижане показали, как ружейное дуло может обернуться против правительства.

Мерсье в «Картинах Парижа» предупреждает нас, что он выступает в роли художника, что в руках его лишь кисть, что в его книге нет размышлений философа. Это утверждение мало основательно, и «безобидные» очерки, рисующие богачей и бедняков, королевское правительство и подданных в целом,—обвинительный акт против старого порядка. Недаром правительство Людовика XVI запретило «Картины Парижа» и боролось с их распространением.

Мерсье не только вскрывает нищету, порожденную господством феодальных классов, он раскрывает также и классовые противоречия, рождаемые новым, буржуазным строем. Конечно, описательная сторона в книге превосходит все, что в ней мы находим как политическую программу. В этом смысле Мерсье прав: *он—художник, а не философ*. Все, что Мерсье предлагает для уничтожения нищеты, для борьбы с богатыми, свидетельствует только о глубочайшем трагизме противоречий теоретика мелкой буржуазии. Он констатирует факты, но он бессилён найти выход, помочь нуждающимся. Мерсье говорит: «В Париже ничем не возмещается различие в условиях существования. У одних здесь голова кружится от опьяняющих удовольствий, у других—от мук отчаяния». Человек, живущий в *среднем достатке*, может себя хорошо чувствовать повсюду, но только не в Париже; здесь он беден.

В этих утверждениях Мерсье нам нарисовал и дал социальную характеристику положения французской мелкой буржуазии накануне революции в столице са-

модержавно-феодалного государства. Мелкий буржуа страдал от уходящего в прошлое феодализма, и от побеждающего буржуазного общества. Мелкий буржуа находился под двойным прессом; он мог вслед за Мерсье повторить: «Итак, тот, кто не хочет испытать нищеты и идущих за нею следом еще более горьких унижений, кого не могут не ранить презрительные взгляды надменных богачей, тот пусть удалится, пусть бежит, пусть никогда не приближается к столице».

Париж—это громадный тигель, в котором перемешиваются люди. В Париже нищий в рубище протягивает руку к поволоченному экипажу, в глубине которого сидит толстый господин. Что не может не поразить Мерсье: «герцог платит за свой хлеб не дороже носильщика, который съедает хлеба в три раза больше». Что поделаешь, если в этой монархической столице всем надо жить! Мерсье готов назвать раздел своего труда «О законодательстве»—«*О человеческом жемудке*».

Пусть, однако, нас не смущают эти «мудрые» рассуждения. Для Мерсье остается только одно средство помощи бедным—*charité*—благотворительность. Он рекомендует богатому забраться по высокой лестнице на чердак, чтобы принести туда несколько крупинок золота. Больше того, богач сможет при этом «извлечь для себя порядочную выгоду из работ молодых, еще неизвестных художников, теснимых жизнью».

Этот совет навеян Жан-Жаком Руссо. Мерсье убеждает нас, что увлечение идеями Жан-Жака—это грехи его молодости, он доказывает, что понял в зрелые годы ценность серебряной монеты, на которую можно приобрести хлеб, ценность платья, повара, театра и архитектуры, скажем проще,—ценность буржуазной культуры. Но Мерсье остается руссоистом, когда в борьбе с прелестями буржуазного общества вслед за Руссо

стремится сделать «нищету уважаемой», сохранив буржуа и частную собственность.

Среди очерков, посвященных художникам, поэтам, чиновникам, судьям, архитекторам, женщинам и ремесленникам, количество глав о социальном неравенстве не велико, но они ярко и отчетливо суммируют все то, что Мерсье хочет сказать о предреволюционной Франции. *Неравенство*—господствующая черта этого режима: «Ненависть разгорается, и государство оказывается расколотым на два класса людей—на алчных и бесчувственных, на недовольных и ропщущих». Как уничтожить это неравенство? Для Мерсье не подлежит сомнению, что путь этот не есть путь борьбы за «фактическое равенство», что это и не тот путь, по которому позже пошел Г. Бабеф. Мерсье пишет: «Я имею в виду не то равенство, которое является несбыточной мечтой, но огромные состояния вредят торговле и правильным денежным оборотам».

Государство будущего, по Мерсье, как мы видели, это идеал буржуазного государства. К этому стремится Мерсье и убеждает читателя, что в пределах буржуазного общества можно добиться более равномерного распределения богатств. Он пишет: «Те же богатства, но распределенные более равномерно, дали бы вместо роскоши, этой разрушительной отравы, ту зажиточность, которая считается матерью труда и источником семейных добродетелей». Государство это, по Мерсье, существует в реальной действительности. Идеалом для него является *Швейцария*. Но читатель помнит, что Мерсье только что доказывал отсутствие этого равенства в Невшателё. Как примирить два подобных противоречивых утверждения? Их примирить трудно, если не учесть особенностей мировоззрения всей той социальной группы, которая накануне революции во Франции

проводила взгляды мелкой буржуазии. Мы увидим позже, как в годы революции внутренняя противоречивость мировоззрения Мерсье привела его к тому, что в рядах Жиронды, на ее правом крыле, он вел ожесточенную борьбу с плебейскими массами, с бабувизмом.

Мерсье жалеет о потерянной Парижем веселости. «60 лет тому назад,—пишет он,—иностранцы уверяли нас, что Париж самый веселый город в мире, но радушие исчезло в обращении парижан, их лица больше не улыбаются, в обществе больше не веселятся, сердитый вид, язвительный тон говорят о том, что жители столицы заняты мыслью о своих домах и о способах выпутаться из беды». Париж накануне революции—это Париж заката феодального порядка. Затруднения, заботы—все это написано на лицах парижан. «В обществе 18 человек из 20 занято измышлением способа найти деньги и 15 из них не находят ничего». Разве не напоминает нам эта картина современную Европу эпохи распада капиталистического общества? Эта параллель между закатом феодального строя и закатом капиталистической Европы делает для нас книгу Мерсье особенно интересной.

Мерсье необходимо подчеркнуть, что паразитизм феодального мира унижает имя Франции по всей Европе, что личность человека подавлена и сведена здесь до рабского состояния. Феодальная Франция может гордиться тем, что парикмахеры и лакеи с гребнем в руках и бритвой в кармане наводнили Европу, но походите по Парижу, и вы увидите, как знатные в экипаже бешено несутся по мостовой, и никакой узды нет для их своеволия и чванливости. В 1776 г. самого Жан-Жака Руссо свалил с ног громадный датский дог, бежавший впереди экипажа. Владелец экипажа смотрел на него

с полнейшим равнодушием. Философа спасли крестьяне. Когда на завтра вельможа, виновник происшествия, захотел загладить свою вину, он послал Жан-Жаку своего слугу спросить, что он может для него сделать. «Держать вперед свою собаку на привязи»,— ответил философ и отпустил лакея. Как мы видим, Мерсье даже в этом случае готов ограничиться только правом надеть узду на собаку, но не на ее владельца.

Париж, внешне блестящий, как все города феодальной Европы, представлял собой клоаку грязи и нечистот. Страницы, посвященные изображению Парижа, этого классического города феодальной культуры, представляют для нас исключительный интерес исторического документа. Мерсье, внимательный наблюдатель, не может не воскликнуть с ужасом: «О восхитительный город! Сколько ужасного и сколько отвратительного скрывается за твоими стенами!» Феодальные власти ничего не делают для того, чтобы оздоровить город, и жить в Париже могут только люди по привычке. Веселый, оптимистически настроенный Мерсье вынужден закончить описание нечистот Парижа следующей горькой фразой: «Парижане—это сборище мертвецов, живущих в герметически закупоренных гостиных, при свете факелов». Впрочем, спасаются в этом городе от всех его неурядиц богачи. Их в Париж немало. Состояния, приносящие от 100 до 150 тысяч ливров ежегодного дохода, среди буржуазии обычное явление. Трудно заработать первый эку, легче дополучить последний миллион. Среди богачей самый талантливый тот, кто изучил все способы ограбления нищих. Отсюда почетная роль откупщиков, тех буржуа, которые в два счета могут очистить целую провинцию, разорив ее производство. Истории крупных состояний посвящен 55-й очерк первого тома. Он вкраплен среди десятка других

глав между описаниями домов, бульваров, бабушек, вельмож, обедающих в гостиных, книгонош и полиции. Это—система Мерсье. Подобные главы служат как бы узлом, связывающим рассыпанные очерки в единое целое.

Как бы мимоходом Мерсье затрагивает и политические вопросы. Он посвящает 57-й очерк первого тома монарху, утверждая, что король для Парижа—то же, что модель, стоящая посреди работающих с нее рисовальщиков. В следующем очерке он говорит об изменчивости французского правительства. «Являясь прекраснейшим мимистом, оно изображает все сословия, оно является последовательно в одежде военного, финансиста, судейского, банкира, священника. В течение 3—4 месяцев я видел его даже в роли автора, так как оно выпустило до сотни брошюр, очень скверных, сказать по правде». Но 59-й очерк, тут же рядом, вперемежку с другими, посвящен шпионам и шпионажу. Между прочим, Мерсье нам рассказал о том, как полицейские шпионы ведут яростную войну с книгоношами, людьми, торгующими единственно хорошими книгами, которые еще можно читать во Франции. Полиция для Мерсье—сборище негодяев. Среди шпионов можно нередко встретить, как и среди полицейских, баронов, графов и маркизов.

Эти отступления придают особую прелесть и политическую остроту книге Мерсье, как документу борьбы с самодержавно-феодальным государством. Мерсье рассказывает, например, о начальнике полиции и тут же делает ремарку. «Повешение применяется почти исключительно к преступникам из простонародья». Это не мешает ему тотчас же перейти к описанию пожаров, пожарных насосов, фонарей («ревербери»), вывесок,

У нас мало цифровых данных для описания экономического положения народных масс в Париже накануне революции. Но прочитав очерк «о крытых рынках», вы получите блестящее художественное изображение той нужды, в которой прозябал мелкий люд парижских предместий. «Чем беднее парижанин, тем ему труднее питаться»,—утверждает Мерсье, ибо съестные припасы за последние десятилетия до революции вздорожали чудовищным образом, вздорожали они потому, что возросла роскошь богачей.

Мерсье в «Картинах Парижа» подверг жестокому осмеянию культуру гибнущего феодального общества, всю систему воспитания молодого поколения. Он издевается над тем, что в школах обращено главное внимание на изучение античных авторов и мертвых языков. Он доказывает нам, что Сорбонна—это центр «безумия, невежества и суеверия». «Сорбонна всегда желала мудрить и знать больше того, что знают прочие христианские богословы, безрассудство боролось с безрассудством,—можно себе представить плоды подобного поединка».

Но пусть читатель не поражается, если наряду с подобной характеристикой Сорбонны, центра богословия, с язвительным описанием аббатов, этих «тонзурованных клерков, которые не служат ни церкви, ни государству, живут в непрерывной праздности и являются совершенно ненужными существами», наряду с гневным изображением епископов читатель в книге найдет главы, в которых Мерсье говорит о своей преданности религии. В этом случае Мерсье остается учеником Руссо, последовательным противником буржуазной философии энциклопедистов и атеизма. Ничего нет более ненавистного для Мерсье, чем атеисты. Он считает, что государство должно их иволировать, как преступников,

а сам он коленопреклонно, как настоящий изувер, говорит о «чудесах святой Женевьевы». Перед нами—образец *реакционных* тенденций мелкобуржуазной философии XVIII в. Впрочем, тут же рядом с трепетным отношением к памяти «святой Женевьевы» помещен очерк об иезуитах, в котором Мерсье излагает свою общую для буржуазии XVIII в. ненависть к ордену. Реакционный смысл религиозных lamentаций Мерсье усиливается тем, что он готов превратить святых в представителей «демократической» религии. Эти главы не имеют исторической ценности, они стоят гораздо ниже, чем все то, что мы находим в книге «Картины Парижа»; гораздо ниже, чем изображение последних лет жизни столицы накануне революции. Главы о «святой Женевьеве» и о «Сент-Шапель» интересны лишь в том отношении, что дают нам полную характеристику Мерсье, идеолога мелкой буржуазии Франции XVIII в.

Вернемся к самым интересным темам книги, к преобладающей теме—о социальных противоречиях Парижа. Очерки о парижских предместьях представляют исключительный интерес. *Окраинам, где спустя десять лет народные толпы собирались под знамя революции, предместьям, откуда плебейские массы лавиной обрушились на Версаль, Мерсье посвятил самые блестящие страницы своей книги.*

Мерсье утверждает, что здесь, в предместьях Сен-Марсель или Сен-Марсо—«восстания и мятежи зарождаются, как в очаге беспросветной нищеты». В одном квартале знати Сент-Оноре больше денег, чем во всех домах предместья Сен-Марсель или Сен-Марсо».

Но если нищета царит на окраинах, то в центре города новые дома строят банкиры, нотариусы, подрядчики. Париж обновляется; буржуа строят новый город.

Не приходится удивляться, если трудящиеся, бедняки и мелкий люд, не проявляют особого патриотизма,—они не заинтересованы в охране государства богачей. Новобранец из рабочих кварталов, протягивая дрожащую руку за роковым билетом при жеребьевке, бедняк, подлежащий призыву в ополчение, чувствует себя так, как будто бы его ждет пытка. Мерсье замечает, что подобное отношение француз к родине привело бы спартанца в ужас. «Неужели же это люди, идущие сражаться за родину?»—воскликнул бы при таком зрелище спартанец. «Ты удивляешься, молодой республиканец,—заявляет Мерсье,—но знай, родина не имеет для них никакого значения. Ты должен жертвовать собой, их же долг сохранять себя. *Их жизнины—вот их государство*». Эти строки, а не главы о «святой Женевиеве», делают для нас книгу Мерсье интересным историческим документом, показывают нам его как революционного писателя кануна великого буржуазного переворота XVIII в.

Мерсье убеждает нас в той же главе, что его не интересуют политические вопросы. Впрочем, он же раскрывает секрет своей аполитичности, когда в главе о законах, которые защищают знать, всех «разъезжающих в блестящих экипажах», пишет: «Дело все в том, что издающие законы сами ездят в каретах».

«Картины Парижа» немало внимания уделяют литераторам и журналистам. Для Мерсье писатели делятся на несколько категорий. Ближе всего ему те, кто с гордостью несет бремя нищеты, подобно великому Гомеру. Бедность литератора—признак добродетели. Но таких мало. Роскошь развратила писателя. Упадок нравственности рожден не книгами, а нравами королевского двора. Благодаря самодержавию во Франции развилась масса полу-писателей, четверть-писателей,

масса тунеядцев, которых Мерсье называет «брехунами». Между ними и настоящим писателем расстояние так же велико, как между судебным приставом и судьей.

Среди этих *брехунов* большинство подвизается как журналисты. Они превратили журналистику в нелепое смешение педантизма и тирании; они стали «сатириками», потеряв вместе с честностью и здравый смысл. Но Мерсье не удивляется тому, что писатели подобного рода пользуются успехом в предреволюционной Франции. Их питает «невежество знати». «Впрочем, и толстый финансист или судья,—говорит Мерсье,—переваривая съеденный обед, с видом знатока изрекает: в наши дни шедевры уже не создаются. А когда выходит какая-нибудь книга исключительного значения, то он либо оказывается не в состоянии ее понять, либо затевает против нее войну».

Деловой Париж, Париж буржуа, разучился читать толстые книги. Предки современников Мерсье читали романы в 16 томов, они заявляли, что эти романы еще недостаточно длинны для заполнения свободных вечеров. Мерсье с грустью замечает: «Что касается нас, то мы скоро будем читать только то, что написано на экранах». Он добавляет: «В наши дни нужно быть точным и кратким, если хочешь, чтобы тебя читали». Это не мешало ему, как мы знаем, написать десятки томов. Впрочем, Мерсье в этом случае разрешил противоречия своего литературного творчества тем, что двенадцать томов «Картин Парижа» заполнил 1000 очерками, каждый из которых занимает не больше 2—3 страниц. Свое предпочтение очерку перед романом Мерсье объясняет следующим образом: «В наши дни требуют фактов, действия, движения и любят наблюдать разнообразие характеров». И в этом случае Мерсье выступает как блестящий журналист третьего со-

словия, этого «нового дворянства»,—звание, на которое, по его словам, могут претендовать только буржуа, особенно те из них, кто гордится многими поколениями разночинцев.

Трудно исчерпать в краткой характеристике всю ту массу материала, который дается в «Картинах Парижа». Мерсье вновь и вновь, под разными предлогами возвращается к характеристике отдельных представителей трудящихся низов, дает нам портреты сапожников, плотников, каменщиков. Он рисует, по его словам, представителей *девяти классов*, населяющих Париж, принцев и великих сеньеров, представителей дворянства мантии, финансистов, негодянтов, артистов, ремесленников, поденщиков, лакеев и то, что он называет «le bas peuple».

Его представление о классовом расслоении Франции не отличается отчетливостью, но Мерсье последнему классу, «низам», уделяет особое внимание, рассуждая в том же томе (11) о нищете и средствах борьбы с нею. Совершенно естественно, что, обсуждая эти вопросы, он вынужден заняться анализом экономической программы буржуазии. Он выступает как сторонник «урavnительных» идей против физиократов. Мерсье категорически заявляет, что тот же вред, который Франции нанесло шарлатанство Лоу, принесет французскому народу осуществление доктрины Кене. «Доктрина господина Кене,—говорит Мерсье,—привела к беде в то время, как жадные люди, стоявшие во главе коммерции, равнодушными глазами смотрели на гибель множества поденщиков и чернорабочих». Экономисты, требующие введения свободной торговли, являются образцом снеси и педантизма, они виновники вздорожания зерна. Мерсье, который, как мы видели, доказывал свое разочарование в идеях Руссо, с еще большей

решительностью и категоричностью утверждает, что энциклопедисты не признают ни заслуг, ни талантов, ни даже ума ни у кого, кроме людей своей партии. «Говорят,—добавляет, он,—что своим желанием прослыть умнее всех они доказали свою глупость, над ними смеялись, и хорошо сделали». Исчерпывающую характеристику «уравнителям» дал К. Маркс в своих замечаниях об экономисте однофамильце Луи-Себастьяна Мерсье де-ля-Риверье.

К этой теме Мерсье возвращается неоднократно. В шестом томе, в главе об экономистах, он вступает в теоретический спор со сторонниками свободной торговли, доказывая, что вывоз продуктов первой необходимости за границу наносит чувствительный вред трудящимся массам. Экономические взгляды физиократов—это абстрактные теоретические рассуждения. В конце концов энциклопедисты, физиократы, даже сам «король Вольтер» принадлежали накануне революции к другому лагерю, чем Мерсье. Нищета народа, ложные экономические принципы неизбежно должны привести к бунтам и восстаниям. Характерно, однако, для противоречивости мировоззрения Мерсье его утверждение, что народные восстания вредны, что правительство обладает достаточной силой, чтобы раздавить восстания, между прочим, и потому, что парижане не обладают достаточной организованностью и дисциплиной. Впрочем, в Париже может произойти только очень серьезное народное восстание, последствия которого трудно предусмотреть. Будет ли это восстание иметь место? Мерсье не знает, но он доказывает, что каждому поколению неизбежно предстоит период кровавых бурь. «Национальная храбрость,—замечает он,—время от времени требует разбитых стекол, камней, брошенных в голову государственным чинам».

Перед нами весьма скромное по значению «пророчество» о грядущей революции...

Мерсье как автор «Le Tableau de Paris» не был оригинален, у него было не мало предшественников, пытавшихся в живых картинах описать столицу Франции. Но ни одна из этих книг не заслужила популярности книги Мерсье, прежде всего потому, что все они были написаны «без философии», оставались простым описанием, в них не было социальной философии Мерсье. В этом убеждает нас анализ книги, описывающей Париж XVIII в., у биографа Мерсье—Леона Беклара. Беклар, работая над рукописями Мерсье, показал нам, что его герой имел в виду, наряду с описанием Парижа, дать сравнение столиц Франции и Англии—Парижа и Лондона. Эта попытка осталась незаконченной. В 1788 г. Мерсье издал последний том «Tableau de Paris». С началом революции закатилась звезда «блестящего писателя» Франции.

2

Год 2440

«Le temps présent est gros de l'avenir...»¹

Париж кануна революции привлекал и отталкивал Мерсье. Противоречия богатства и бедности, чванливость знати и приниженность тружеников заставляли его мечтать о золотом веке, об утопическом государстве будущего.

Когда Луи-Себастьяну Мерсье исполнилось 30 лет, он уже больше десяти лет продвигался на литературном поприще как автор стихов, романов, пьес. Если верить подсчету его биографа, автора единственной солидной биографии Мерсье, Леона Беклара, то к

¹ Настоящее беременно будущим.

1771 г. он издал около дюжины томов и брошюр. Все это, однако, было предисловием, вступлением к его литературному творчеству зрелых лет. В 1771 г. Мерсье издает,—назовем ее утопическим романом,—замечательную книгу—«Год 2440». Это не был утопический роман в стиле «Истории Северамбов» Верасса д'Алле, великого предшественника французского утопического социализма второй половины XVII в. Книга Мерсье не была также социальным трактатом или философским размышлением о прогрессе,—это был политический памфлет или рассуждение буржуа о том, какой *должна стать* Франция, когда осуществятся идеалы просветительной философии XVIII в.

Книга вышла незадолго до смерти Людовика XV. Страна с трудом переносила бремя триумvirата, «министерства Мопу». Людовик XV вступил на престол в 1740 г., в год рождения Мерсье. Ближайшие десятилетия были годами постыдных военных поражений Франции.

Во всех этих войнах решающую роль играл англо-французский конфликт; Франция потеряла часть своих колоний. Вскоре началась вторая большая война—*Семилетняя война*. Англия вновь показала Франции преимущество своего политического строя, —результата двух революций XVII в.,—над абсолютистско-феодальным режимом, все еще господствовавшим во Франции. В продолжение семи лет Людовик XV, по иронии названный «*Bien-Aimé*», на всех полях сражений проливал кровь своих подданных. Он был бит, впрочем, не только на континенте, но и в далеких колониях. Семилетняя война окончательно подорвала колониальное могущество Франции. Парижский мир дорого обошелся стране,—Канада была потеряна навсегда. Королю Франции пришлось уступить свое место в ряду великих дер-

жав Англии—империи колониальной и морской. Франции пришлось наблюдать за тем, как Пруссия все более и более укреплялась в Германии.

Людовик XV прибегнул к «министру-реформатору», Это был Шуазель. Он пришел к власти в самый разгар Семилетней войны. Современники мемуаристы с полным основанием утверждают, что «он мог считаться знаменитым человеком только среди пигмеев королевского двора, среди них он слыл великим человеком».

Шуазель попытался в 1763 г. провести мероприятия, частично освобождавшие хлебную торговлю от ограничений. Он даже заставил говорить о возможности и необходимости отмены цехов. Но Шуазель оставался у власти недолго. Его попытка сгруппировать вокруг Франции державы, необходимые для войны с Англией, его попытка провести ряд реформ натолкнулась на непреодолимое для Шуазеля препятствие—экономическую мощь Англии и силу феодальных классов Франции. Шуазель был изгнан иезуитами. Мадам де-Барри оказывала поддержку ордену, и министр, которого Екатерина называла «кучером Европы», в декабре 1770 г. ушел в отставку.

К власти пришло «министерство триумvirата». Все они были протее мадам де-Барри—канцлер Мопу, аббат Террай, герцог д'Эгильон. Они разогнали парламенты, они довели страну до банкротства, они дали возможность Пруссии, России и Австрии принять активное участие, отстранив Францию, в первом разделе Польши (1773 г.). В эти годы политического упадка и морального разложения абсолютистско-феодального режима поэт и романист Мерсье решил в художественной форме изобразить, чем должна стать Франция. Характерно, что свой роман он назвал «мечтой, если она когда-либо осуществится», и эпиграфом к книге слу-

жили прекрасные слова Лейбница: *«Настоящее беременно будущим»*.

Роман этот, как утопия и одновременно политический памфлет, привлек к себе широкое внимание. Беклар утверждает, что в бумагах Мерсье сохранились любопытные заметки тех лет, когда он работал над книгой. «Кто знает,—писал Мерсье,—не является ли мысль действием?» Размышления автора посвящены *завтрашнему дню*. Он писал: «Будем трудиться для завтрашнего дня, *опрокинем всю прошлую историю в будущее*. Сделаем все возможное, чтобы организовать завтрашний день, отдадим этому будущему по крайней мере столько сил, сколько напрасных усилий мы отдаем тому, чтобы познать прошлое,—мечте абсолютно иллюзорной».

Мерсье—верный ученик Руссо даже тогда, когда он ясно понимает преимущества цивилизации и культуры. Для него характерна, однако, попытка отказаться от «чистого руссоизма» и перейти или, точнее, сочетать руссоизм с классической буржуазной философией XVIII в. Его гидом по царству «Утопии» служит «мудрый англичанин». Это он обучил его пренебрежительно относиться к старой Франции; англичанин обратил его внимание на то, что королевство напоминает рахитичного ребенка. *Вся Франция в Париже*. Столица—голова страны—поглотила все соки народа; как у всех рахитичных детей, голова, возможно, и отличается талантом, но тело вяло и беспомощно. Характеристика Парижа собственно является характеристикой всех больших городов Европы. Повсюду абсолютистско-феодальный режим повлек за собой истощение народа. Мерсье настаивает на том, что писатель, воспевающий свой век, вместо того, чтобы разоблачать его, представляет собой ничтожество; он жалок и преступен.

Мерсье грезит о будущем. Ему приснился новый Париж через тысячу лет. В этом Париже, прежде всего, люди не делают долгов и не страдают от них. «Искусство делать долги и не платить по ним не является больше в царстве утопий наукой приличных людей». Не будем удивляться тому, что именно эта тема затронута в романе буквально на первых его страницах. С увлечением Мерсье рассказывает о том, что люди будущего не знают, что такое *кредит*. Каким странным кажется обновленный Париж. Повсюду царят чистота и порядок. Женщины исполняют свое назначение—они родят детей и заботятся о домашнем хозяйстве. Мелкий буржуа грезит о том, чтобы постепенно во Франции вместе с распадом феодальных отношений исчезли и элементы капитализма. Пусть читатель не удивляется, что в «Утопии» в самом близком соседстве находятся рассуждения о кредите, о женщинах, об экипажах, о новых зданиях, о Сорбонне, о хлебе, о вине, о королевской библиотеке, о церквях и налогах. С этой особенностью писаний Мерсье читатель встретился уже в книге «Картины Парижа».

Мерсье—*талантливый очеркист*, если позволено будет по отношению к нему употребить термин наших дней. В гряде беглых очерков мы находим массу исключительно живых картин, мыслей немало «по поводу» или «мимо», но в целом на тему, тему интересную, политически животрепещущую.

Мечтая о государстве будущего, Мерсье остается монархистом. Этот мелкий буржуа, подобно *всем* его собратьям по классу, не смог накануне революции подняться до республиканской идеи; впрочем, его король—«король-гражданин»—Луи-Филипп, гуляющий по Парижу с зонтиком в руках. Новый Париж не знает излишнего богатства, но и потрясающей нищеты. Не-

удивительно, что, свободная от деспотов и паразитов-богачей, столица новой Франции освободилась от Бастилии. С трепетом Мерсье рассказывает: «Мне сказали, что Бастилия была до основания уничтожена государем, который не считал себя богом и опасался судьи королей». Перед нами еще одна характерная черта писателя—мелкого буржуа—его религиозность. В отличие от идеологов и представителей передовой буржуазии, Мерсье даже в государстве будущего, даже тогда, когда он дает полную свободу своей фантазии, сохраняет религию, наряду с рабством для женщин и королевской властью.

В его государстве охрана интересов бедноты дает простор милосердию. Филантропия, организованная в обществе людьми «Утопии», способствует оздоровлению городов, уничтожению нищеты. Исчез Бисетр, исчезли клоаки нищеты именно потому, что исчезла роскошь, которая, как гангрена, разъедала общество. С удивлением собеседники Мерсье слушают его рассказы о том, что французы времен Людовика XV боялись свободы слова и печати. Мерсье спешит рассказать своим читателям, что в «Утопии» нет цензоров. В примечании он напоминает, что королевские цензоры Франции часто не умели читать.

«Энциклопедия» в новом государстве стала элементарной книгой для всех граждан. С каким ужасом Мерсье говорит о той системе воспитания, которая царила во Франции. Классики вытеснили живое слово и живую мысль. Люди будущего лучше смогли использовать свое время, они прекрасно понимали, что не латынь и греческий, а французский язык, живой язык масс, является орудием познания. Школьников не заставляют зубрить наизусть Тита Ливия. Целиком осуществляя идеалы «Эмиля» Руссо, воспитатели ду-

мают только о том, чтобы сделать из детей будущих граждан. Характерно, что в школе будущего не изучают историю. «Детям преподают мало историю, потому что *история—это позор человечества*. В каждой стране история соткана из преступлений и безумств. Богу не угодно, чтобы мы детям давали знакомиться с этими примерами преступлений и честолюбий. История превратила королей в богов».

Мерсье упорно доказывает, что до сих пор в истории менялись актеры на сцене, но по существу пьеса оставалась без изменения. Так, по Мерсье растет человек будущего общества, свободный от бремени прошлых веков, и поэтому радостно созидающий новый мир.

В государстве «Утопии» царит закон, царит справедливость вместо произвола деспотизма. Конечно, исчезли *lettre de cachet*, конечно, министры отвечают за свои преступления подобно всем гражданам. Закон суров, но равен и справедлив ко всем.

Как достигнуто было это изумительное превращение страны из феодального в буржуазное государство? Мерсье говорит, что его собеседники, люди 2440 года, убеждали его, что здесь не имела места революция; переворот был делом успеха философии, мудрость действовала без шума, как сама природа. Мерсье напоминает французам, своим современникам, что в Европе существует образец такого будущего государства, к которому он стремится, это *Швейцария*. Если бы Платон воскрес, он бы с особым восхищением смотрел на Гельветическую республику. Швейцарию отличает порядок, свобода, умеренность и равенство.

«Демократическая монархия», государство будущего, не знает нищеты и голода, исчезли откупщики, богатые купцы, финансисты, бедняки, три четверти населения города получают отныне здоровую пищу по де-

шевой цене. Повсюду, чтобы избежать дороговизны, организованы зернохранилища, всегда полные хлеба, хлеб не продают за границу, чтобы потом скупать его в два-три раза дороже; в государстве будущего согласованы интересы производителя и потребителя. Мерсье вступает в дискуссию с господствующей школой физиократов и доказывает необходимость подчинения экономических интересов интересам производства, интересам потребления.

Он защищает точку зрения мелкого буржуа—*уравнителя* против идеологов капиталистического хозяйства. В своих доказательствах Мерсье с особым усердием подчеркивает необходимость заботы о тружениках, которые составляют по крайней мере три четверти всей нации. В конце концов цены на хлеб, пишет Мерсье, являются термометром общественного здоровья.

В «Утопии» отсутствуют монахи, отсутствуют паразиты, бесконечное количество слуг, и естественно, что благодаря этому оздоровлению общественного организма французы будущего жизнерадостны и веселы. Впрочем, с полной отчетливостью у Мерсье подчеркнута та мысль, что частная собственность для всех является основой порядка и общественной гармонии. В будущем, в годы революции Робеспьер сформулировал эту мысль так: «Бедность должна быть уважаема».

Литератор по профессии и по всем своим интересам, Мерсье, конечно, не мог, не затронуть в «Утопии» вопросов культуры, судьбы книг. Вот, что характерно для руссоиста: он посещает «Королевскую библиотеку» и к радости своей обнаруживает, что вся она помещается в небольшой комнате. В ней мало книг, исчезли большие тома, остались изящные, скромного размера томики. Куда исчезли книги, тысячи, десятки тысяч фолиантов? Неужели они сгорели и в огне погибли

богатейшие коллекции? «Да,—ответили Мерсье его спутники, люди будущего,—да, это был пожар, но этот пожар был делом наших рук, нашим добровольным делом». В старой Франции, говорит Мерсье, к стыду нашему писатели больше писали, чем думали. Что касается писателей 2440 г., то они больше думают, чем пишут.

Мерсье с восторгом приветствует уничтожение библиотек, «очистительную меру». Для него в государстве будущего существует только одна почтенная фигура писателя—это *компилятор*, который десятки томов излагает в одной маленькой книжке. В кабинете бывшей «Королевской библиотеки» сохранились только тома, да и при том в малом количестве, достойные нового века. Кто же эти великие мудрецы? Вы найдете среди них Гомера и Софокла, Еврипида и Демосфена, Платона и «нашего друга»—Плутарха. Сожжены Геродот, Сафо, Анакреон, Аристофан. Впрочем, Мерсье замечает, что он готов был защищать Анакреона, но ему доказали, что, может быть, во Франции XVIII в. была необходимость его сохранить, в новом же государстве он не нужен.

Гораздо меньше уважения было оказано римским авторам, остались Вергилий, Тит Ливий. Безжалостно сожгли Лукреция, прежде всего потому, что его философия ошибочна, а его мораль опасна. Здесь Мерсье с фанатизмом мелкого буржуа вновь и вновь говорит о своей ненависти к атеизму и атеистической философии. Сожжен Цицерон—больше ритор, чем оратор, оставлен Саллюстий, а Овидий и Гораций очищены от ненужного хлама. Сохранен Тацит, но так как он человечество изображал в черных красках, то чтение его предоставлено лишь людям мудрым и доброжелательным. Сожжен Катулл. Мерсье замечает, что, по существу говоря, малое уважение к римлянам объясняется тем, что они готовы были принести человечество в жертву на ал-

таре отечества. «Возможно,—добавляет он,—что они были добродетельными гражданами, но безусловно страшными людьми».

Этим не исчерпана библиотека государства «Утопии». В особом шкафу хранятся английские книги. Их осталось больше всего. Среди них Мильтон, Шекспир, Юнг, Ричардсон. Мерсье привлекала к этим писателям и прежде всего к Юнгу их ненависть к материализму. Он ссылается на Руссо, которому предлагали богатства, при условии, если он откажется от своих взглядов на религию. Жан-Жак отверг гнусное предложение во имя добродетели.

Что касается французов, то сожгли Мальбранша, а вместе с ним всю библиотеку богословия. Хранитель кабинета книг государства будущего обнаружил полную безграмотность в вопросах теологии. Он ничего не мог сказать о «Провинциальных письмах» Паскаля, он говорил об иезуитах так же, как француз эпохи Людовика XV говорит о друидах, поясняет Мерсье. Исчез Боссюэт, но зато остался его противник—Фенелон.

Конечно, сохранены Корнель, Расин, Мольер и наконец, великий Жан-Жак. *Его сохранили целиком*, но зато «сократили» Вольтера. Исчезли 26 томов in quarto, их безжалостно сожгли, оставив только наиболее ценную часть произведений фернейского мудреца. Мерсье просил библиотекаря указать ему труды историков. Он получил ответ: «Их нет. Частично задачу историков выполняют наши художники».

В разговорах с библиотекарем Мерсье затронул ряд вопросов политического устройства Европы XVIII в. Он возвращается к этой теме неоднократно и позже, в другой связи. Европа XVIII в. в целом представляла собой арсенал, начиненный порохом, который мог взор-

ваться от малейшей искры. Для Мерсье, как оппозиционного и враждебного абсолютистско-феодалному режиму идеолога, характерно рассуждение о патриотизме. Если для человека будущего государства 2440 года слово *патриотизм* и *отечество* священны, то для Франции времен Людовика XV эти слова были пустым звуком. «И в самом деле,—говорит Мерсье,—займемся анализом того, что значит слово патриотизм. Чтобы быть тесно связанным с государством, нужно быть членом этого государства, но за исключением двух-трех республик, отечества не существует ни для одного гражданина в Европе. Почему я должен считать англичан своими врагами? Я связан с ними торговлей, искусством, между нами не существует никакой естественной антипатии, почему в таком случае я должен отделять свою судьбу от судьбы представителя этой национальности? *Патриотизм—это фанатизм, выдуманный королями*». «В деспотическом государстве,—продолжает дальше свои рассуждения Мерсье,—свобода это только героизм рабства». Так мелкий буржуа XVIII в. даже тогда, когда он боится революционного переворота, выступает с радикальной проповедью против государства, угнетающего массы, за 20 лет до революции.

Характерно, однако, в полном противоречии с тем, что Мерсье писал раньше о революции,—наш мыслитель доказывает в «Утопии» неизбежность в известных условиях *гражданской войны*. Она является необходимостью для завоевания свободы; в годы гражданской войны из недр масс выходят великие люди, защищающие свободу; гражданская война родит таланты. Таких противоречий в «Утопии» немало.

Изложение «Утопии» Мерсье «Год 2440» несколько затянулось, но читатель, мы надеемся, не будет в претензии. Перед нами исключительно интересный

образец буржуазной литературы XVIII века. Мерсье дал нам в ней за много лет до революции блестящую программу того общества, к которому стремилась буржуазия и ее радикальная фракция еще до царствования Людовика XVI. Но талантливый утопист не может даже в полете своей необузданной фантазии дать больше того, что определено историей, как предел его *классовых задач*. Ограниченность и глубокое филистерство, которые отличают роман Мерсье, характерны для него как теоретика мелкой буржуазии, как представителя французской интеллигенции кануна буржуазной революции.

Впервые книга «Год 2440» вышла в 1770 г. Она переиздавалась неоднократно—в 1772, 1774, 1775, 1785, 1786, 1791 и 1802 годах.

Мерсье вновь вернулся к «Утопии» в 1791 г. Наконец в 1802 г. в годы консульства, когда революция осталась в прошлом, когда идеалы «Утопии» казалось были осуществлены, Мерсье вновь издает «Год 2440». Исчезли все старые эпитафии, исчез знаменитый эпитаграф Лейбница: «Настоящее беременно будущим». Появился новый эпитаграф: «Безграничная радость состоит в том, чтобы добиваться общественного благоденствия». Автор называет себя «бывший депутат Конвента и Законодательного корпуса, член Национального института Франции».

Мерсье не отличается излишней скромностью. Он доказывает в новом предисловии, что его утопия не только провозгласила, но и приготовила французскую революцию. Больше того, он добавляет: «Я являюсь подлинным пророком революции, я говорю это без излишнего честолюбия». Впрочем, Мерсье тут же добавляет, что он имеет в виду «революцию 1789 года», а не «*другие революции*», которые последовали за нею.

Революция плебейских масс ему враждебна, для него неприемлема; он враг подобных революций. «Только не эти революции я предсказывал»,—категорически замечает Мерсье. Не без сервизма он превозносит Бонапарта. Для него свобода—это царство закона и конституции, именно эту свободу пытались разрубить топором якобинизм и бабувизм.

Таков жизненный путь Мерсье от первых его литературных выступлений в шестидесятых годах XVIII в. до 1814 г.—года его смерти.

Мерсье грезил в молодости о Париже будущего. Ему предстояло в зрелые годы описать Париж Людовика XVI. Кошмар будней сменил радость мечты.

3

Герой мещанской драмы

«...Les théâtres deviendront un cours d'institutions politiques et morales et les poètes ne seront plus seulement des hommes de génie, mais des hommes d'Etats...»¹

Луи-Себастьян Мерсье родился 6 июня 1740 г. в Париже. Его отец, Жан-Луи Мерсье был торговцем и ремесленником. Он имел дело с полированными изделиями из золота и серебра. Луи-Себастьян гордился тем, что профессия его отца была близка профессии Демосфена. Отец принадлежал к богатым ремесленникам, к тому сословию, которое дало Франции Шардена—сына столяра, Грёза—сына кровельщика, Дидро—сына

¹ Театры превратятся в курсы политических и моральных учреждений, а поэты не будут больше только людьми гениальными, но станут людьми государственными.

ножовщика и Мольера—сына королевского драпировщика.

Мать Мерсье была дочерью мастера каменщика. Среда важиточных мелких буржуа наложила свой отпечаток на способности будущего драматурга и романиста. Луи-Себастьян в молодости имел только одного друга — брата Шарля. Это был скромный содержатель гостиницы, в 1789 г. выступивший в роли секретаря литературного общества. Дружба эта длилась долго, вплоть до смерти.

Школа, в которой воспитывался Луи-Себастьян, знаменитая школа Quatre-Nation, имела смешанный состав. Дети благородных обучались здесь вместе с детьми разночинцев. Преобладала классическая словесность. Мерсье писал: «Декады Тита Ливия настолько заполнили мое сознание во время школьной учебы, что впоследствии необходимо было много времени для того, чтобы мне стать гражданином своей страны». В семнадцать лет, в 1757 г., Мерсье впервые посетил французский театр. Он являлся в театр первым и уходил оттуда последним. Школьники с особым энтузиазмом встречали спектакль Вольтера «Брут». Они покидали спектакли французского театра, чтобы в знаменитом кафе «Прокоп» вести дискуссии о смысле и задачах искусства. Одновременно здесь раздавались крамольные речи. Людовик XV третировался, как невежда, так как он не любил ни поэзии, ни Вольтера, ни Фридриха II. Этот выдуманный «король-просветитель» привлекал всеобщие симпатии зеленой молодежи. Литературные вкусы Мерсье были вкусами его поколения, которое плакало вместе с Расином и смеялось вместе с Мольером. Наибольшее впечатление на Мерсье в молодости произвели книги Жан-Жака Руссо и в первую очередь роман «Новая Элоиза». Мерсье

вспоминал, что для него эта книга в молодости казалась шедевром. В 1765 г., нуждаясь в работе, в поисках заработка, молодой поэт решил отправиться в Россию. Ему отказали в паспорте. Поэтому оставалось теперь только одно—литературная карьера.

О настроении молодого Мерсье в 1764 г. говорят следующие строки из его ранней работы «Discours sur la lecture» (1764 г.): «Скрупулезные поиски истины морально невозможны. Одни и те же факты разными авторами изображаются так, что они теряют свою достоверность. Я смею утверждать, что не историческая правда является наиболее существенным; то, что меня интересует больше всего, это возможность узнать с полной точностью не то, о чем думает человек, а то, о чем он может думать при тех или других обстоятельствах. С этой точки зрения размышления историка для меня более существенны, чем факты, которые он устанавливает».

Автобиографический интерес имеет изданная им в июле 1766 г. пьеса «История Ивербена—арабского поэта». Герой пьесы, подобно всем поэтам, мечтал только о поэзии. Отец убеждал его покинуть невыгодную и мучительную профессию, но сын отказался следовать воле отца. Все шло хорошо, стихи Ивербена привлекли вскоре общее внимание, его объявили талантом; он написал трагедию, которая сделала его знаменитым. Но враги не давали ему покоя. Они изобразили его успех как показатель декаданса искусства. Прошло немного времени, неудачи следовали за удачами. Изменились вкусы публики, поэзия Ивербена перестала быть модой, он стал работать только на издателей и вести тяжелую, мучительную жизнь. Ивербену пришлось бежать. Он удалился в изгнание, в страну, где царствовал «просвещенный государь»,—по всем видимостям,

Мерсье имел в виду Пруссию и Фридриха II,—но и здесь поэт не испытывал долго радости жизни. Так закатилась звезда поэта.

Однако печаль и сентиментализм молодого мечтателя, в духе XVII в., не мешали ему проявлять энтузиазм, любовь к людям, веру в счастье и усовершенствование человека. В 1792 г. Мерсье писал, что наибольшим горем для разумного существа является отсутствие веры в усовершенствование человеческой природы. «Мною всегда в жизни руководила та мысль, что человек рожден не для рабства, не для предрассудков, а для того, чтобы подняться на высоту добродетели».

В поисках славы Мерсье, подобно всем своим современникам—литераторам, ищет возможности выйти победителем на конкурсе Академии, предложившей в 1766 г. желающим дать ответ на тему: «*О горестях войны и преимуществах мира*». В своей работе Мерсье защищает тезу, характерную для либерализма кануна революции. «Война,—пишет он,—только несчастный случай, но отнюдь не соответствует естественному положению человеческих дел». Веря в прогресс, он верил и в мир между людьми. В 1767 г. Мерсье, верный ученик Жан-Жака, выступил с романом *L'homme sauvage*. Он приходит к выводу, что жизнь дикарей морально стоит выше, чем жизнь цивилизованных. Впрочем, рецензент этой книги в июне 1784 г. в журнале «Невшатель» с полным основанием утверждал, что роман Мерсье был посвящен не дикарю, а «европейцу, который пытается сделать все, чтобы стать дикарем». Увлечение подобными темами продолжалось, однако, недолго. Сам Мерсье рассказал нам в «Картинах Парижа», что беспредельное увлечение Руссо было увлечением ранней молодости. «В 18 лет,—говорит он,—я вместе с Руссо жил в лесу, одинокий, рассчитывая

только на свои собственные силы, без господ и без рабов. Я не страшился тогда голода, и добрый аппетит вознаграждал меня за лишения». Но позднее, в годы зрелости, когда ему исполнилось 27 лет, когда вслед за жизненными неудачами он познал прелесть цивилизации, система Жан-Жака показалась ему мало пригодной. Так начался поворот от руссоизма в его чистом виде к буржуазной философии просветителей.

В конце июня 1770 г. Руссо вернулся в Париж. Трудно установить день, в который Мерсье с душевным трепетом отправился к нему в гости. Не подлежит, однако, сомнению, что вплоть до 1773 г., когда появился его новый опыт о драматическом искусстве, Мерсье чувствовал близость к своему учителю. Правда, Жан-Жак в первой беседе поразил его своей невероятной мнительностью. Руссо показался ему маньяком. Но это продолжалось недолго. Вскоре они нашли общий язык и проводили время в интересных беседах. В одной специфической области Мерсье, однако, решительно разошелся со своим учителем. Речь идет об оценке просветительской роли театра. Еще в конце 50-х и в начале 60-х годов XVIII в. между д'Аламбером и Руссо начался спор о судьбах женеvского театра. Вольтер пытался всеми силами помочь женеvской буржуазной интеллигенции вступить на путь нового развития, порвать пути кальвинистической нетерпимости. В 1755 г., в VII томе «Энциклопедии» д'Аламбер высмеял кальвинистов. Руссо выступил на защиту патриархальной невинности Женеvы. Он обратил внимание на то, что д'Аламбер обвинял женеvцев в их нелюбви к театру. Философ-энциклопедист предлагал воздействовать на молодежь организацией театральных предприятий. Руссо ополчился на эту мысль д'Аламбера. Он убеждал женеvскую демократию, что только консер-

ватизм и сохранение старых устоев может уберечь их демократический строй от разложения. Но, конечно, силы экономического развития оказались более мощными, чем благие пожелания Жан-Жака, и Вольтер с полным основанием спустя некоторое время мог писать д'Аламберу: «Сколько бы Жан-Жак ни писал против театра, все женеvцы толпой сбегаются в него. Город Кальвина становится городом удовольствий и терпимости». Мы знаем, что самому Руссо спустя короткое время, в 1764 г., в знаменитых «Письмах с горы» пришлось отражать удары «умеренной демократии».

Для Дидро не может быть сомнений в огромном просветительном значении театрального зрелища. Он выступает теоретиком так называемой «слезливой комедии», новой буржуазной мещанской драмы. В 1761 г. Дидро дает убийственную критику Буше, этого художника умирающей феодальной Франции. Он писал о нем: «Какие краски! Какое разнообразие! Какое богатство предметов и идей! *У этого человека есть все, кроме истины...* Где вы видели пастухов, одетых с такой элегантностью и роскошью?» Против жеманства, ходульности, любви к трагическим персонажам античных трагедий Дидро выдвигает мысль о необходимости морального искусства. Вместо Буше идеалом Дидро становится Грёз, этот художник-моралист. Сам Дидро написал две слезливые комедии—«Побочный сын» и «Отец семейства»—сентиментальные мелодрамы в духе буржуа XVIII в. Свою задачу в области искусства Дидро формулирует таким образом: «Сделать добродетель приятной, порок ненавистным, смешные стороны резко подчеркнуть—вот намерения всякого честного человека, который берет перо, кисть или резец». Это то, что заставило Бомарше выступить с резкой критикой трагедии, «вечно изображающей на сцене одних только императо-

ров и королей». Бомарше в своих утверждениях шел далеко, он отвергал всякую попытку подменить жизнь французских граждан образцами античного мира. «Какое дело,—спрашивал Бомарше,—мне, мирному подданному монархического государства XVIII в., до афинских и римских происшествий? Могу ли я сильно интересоваться смертью какого-нибудь пелопонесского тирана или принесением в жертву молодой царевны в Авлиде? Все это меня совсем не касается...»

Новую буржуазную драму создал во Франции Дидро, а еще больше Нивель де-ля-Шоссе. Плеханов в своей статье «Французская драматическая литература XVIII века» дал нам исчерпывающую характеристику буржуазной драмы как апологии уравновешенности, умеренности и аккуратности. Он показал нам, что переход от жеманства Буше к моральной пропаганде Грёва, от античных героев к мещанской мелодраме свидетельствовал о том, что буржуазия в половине XVIII в. вступила на путь *оппозиции* существующей культуре, но мещанская драма не была образцом *революционного* буржуазного искусства. Таким искусство стало только в годы революции, когда на место Грёва пришел Давид, когда античные сюжеты снова стали средством выражения не *распада* феодальной культуры, а *героики* ведущего кровавую борьбу за свое существование нового класса. Неудивительно, если Мерсье, один из создателей мещанской драмы XVIII в., мог пользоваться популярностью до революции, а после революции оставался только свидетелем пройденной стадии развития буржуазии.

Еще в утопии «Год 2440» Мерсье провозгласил задачу театра—быть школой добродетели и гражданского долга. В своем драматическом творчестве он до конца остался верен этой идее. Театр был для него могучим

орудием философской пропаганды. В этом случае он никак не мог разделить мнения Руссо и его отрицание театра. Он, поэт мелкой буржуазии, боролся со взглядами Вольтера на Шекспира. Мерсье был одним из тех, кто пропагандировал во Франции великого драматурга буржуазной юности Англии. В 1773 г. анонимно вышла книга Мерсье «О театре, или новый опыт драматического искусства». Мерсье хотел разъяснить свои взгляды в новом произведении с внушительным названием: «Философский опыт о некоторых писателях французского, немецкого, английского и испанского театров, с обзором наиболее знаменитых из писателей, с указанием на необходимость реформы современной системы французского театра». Но—увы!—это произведение погубило! Он вернулся из Невшателя в Париж и написал, чтобы ему выслали рукопись, но по дороге она пропала, и нам остается удовлетвориться его трудом «Новое исследование о французской трагедии», в котором было воспроизведено все то, что Мерсье писал в своем «Опыте».

Мы не ставим себе целью дать подробный анализ или даже краткую характеристику драматических произведений Мерсье. Он написал десятки пьес. Мы хотим только привести несколько образцов для того, чтобы Мерсье-драматург восполнил наше представление о Мерсье-очеркисте и политике. Среди 40 пьес, написанных им за время от 1769 г. до 1797 г. заметное место занимают пьесы, посвященные социальной проблеме, которой он уделял столько внимания в своей «Утопии» и в «Картинах Парижа». В 1772 г. Мерсье написал пьесу «Нищий», в 1779 г.—«Два парижанина и крестьянин», в 1782 г.—«Истребление лиги», в которой превозносит гражданскую войну. В 1795 г. он пишет драму «Тимон Афинский». Мы не говорим уже о доброй дю-

жине пьес, оставшихся от него в рукописях, и о пьесах, до сих пор не разысканных биографами Мерсье. Мерсье утверждал как-то, что его литературное наследство включает 45 пьес. Каждая из них изображает страсти, возмущение несправедливостью, беззаконием или восхищение добродетелью. Несправедливость и предрассудки в отношениях между сословиями и их удаление с помощью брака, торжество добродетели в труде—вот содержание мещанских драм Мерсье.

В одной из своих драм—«Тачка 'уксусника»—Мерсье показал, как разорившийся негоциант отказал дать свое согласие на брак дочери и заставил ее выйти замуж за сына богатого уксусника. Критики возмущались выбранным Мерсье сюжетом. Они говорили: «Герой драмы—уксусник! Какой позор!» Но демократ Мерсье не брезгал подобными темами. Он охотно готов был бы согласиться с предложением одного из своих критиков использовать как тему своих пьес все ремесла Франции, чтобы изобразить «мешок угольщика и кадку каменщика». В своем стремлении *морализировать* Мерсье-драматург в ряде пьес изгоняет в пьесах любовь как сюжет драматических коллизий. Он возмущается тем, что любовь занимала слишком много места в драматическом искусстве феодальной Франции. «Писатели,—говорил он,—до сих пор оставляли в стороне всю массу страстей, которые имеют столько же оснований быть предметом драматического творчества, как и вздохи влюбленных». В поэтической форме Мерсье излагает свои политические взгляды в пьесе «Девертир».

Мерсье пытается в своем драматическом искусстве оставаться верным принципам реализма. Пьеса «Ничий» поднимает социальную проблему о вражде между богатыми и бедными, проблему, которой Мерсье уде-

лял много внимания. Театр изображает жилище бедняка, конуру почти без мебели. Зимний холод проникает через разбитое окно, заклеенное бумагой. Собственник дома запретил разводить огонь, опасаясь пожара. Здесь протекает жизнь ткача Жозефа и его сестры Шарлотты. Мерсье использует пьесу, чтобы призвать богачей к милосердию, а бедняков к повинению. Бедняк Жозеф по ходу пьесы восклицает: «Я нищ, потому что существует излишне много богатых».

Некоторые из пьес Мерсье подвергались жестоким преследованиям со стороны полиции. Так запрещена была его пьеса «Жан Генюэр» (1772 г.). Пьеса изображала, говоря словами Гримма, «редкую птицу—гуманного прелата». Таким путем Мерсье хотел подчеркнуть паразитизм остальных и вызвал гнев правительства Людовика XV.

Особое место среди его драматических произведений занимает пьеса «La Destruction de la Ligue» (1762).

Борьба Лиги была эпохой, когда споры решались железом. Мерсье в предисловии к пьесе, излагая историю Лиги, утверждает, что государство, достигнув предела разложения, вынуждено прибегнуть к гражданской войне. Мир—великое благо для народа—в этом случае может быть только результатом гражданской войны. Мерсье добавляет: «Подобная война происходит из необходимости и суровой непреклонности. Бесспорные права нарушены, священная война становится легальной, потому что нет других средств для того, чтобы исправить зло. Подобную гражданскую войну я называю священной, предпринимаемой в интересах государства». Он ссылается на исторические примеры Англии, Голландии и Швейцарии. Но характерно, что все его рассуждения остаются чисто теоретическими размышлениями. Практически французам,

современникам, Мерсье не рекомендует, как мы видели, прибегать к революции, убежденный в том, что всякая попытка вооруженного восстания народа приведет его к гибели.

Мы уделили в этой главе мало внимания личной биографии Мерсье; она мало известна. Впрочем, Мерсье принадлежал к людям, чья биография—это их книги.

4

«Новый Париж» жирондиста Мерсье

«...Non, ce n'est point là ma prophétie...»¹

Наступил великий 1789 год. Пришла революция, о которой, казалось, мечтал Мерсье еще в 1771 г. В этом он хочет нас уверить, когда в предисловии к изданию «Год 2440» эпохи консульства (1802) утверждает, что его «Утопия» «провозгласила и приготовила французскую революцию». Мы знаем, что Мерсье даже называл себя пророком этой революции, причем, он подчеркивал, что в ходе революции возникли и приобрели силу «другие революции», для него неприемлемые. Он спешит нас предупредить: «Нет, о них я не пророчествовал». Если Беклар много сделал для того, чтобы описать жизнь Мерсье предреволюционной эпохи, то до сих пор, насколько нам известно, нет ни одной работы, которая занялась бы изложением событий жизни Мерсье в годы революции. Впрочем, это неудивительно. То, что мы знаем о нем в эти годы, не представляет особого интереса. Перед нами закат мелкобуржуазного писателя, нисходящая линия его развития. Не одного-

¹ Нет, о них я не пророчествовал.

Мерсье постигла эта судьба. Многие из просветителей с ужасом встретили революцию и в первые же дни отказались от нее. Так поступил знаменитый аббат Рейналь, уже в 1790 г. убеждавший Национальное собрание, что оно перешло «пределы разума». Мерсье обнаружил несколько большую выдержку, он шел с революцией до 1792 г. включительно. Мерсье вступил в ряды Жиронды и как жирондист проделал вместе со всей французской буржуазией путь от революции 10 августа 1792 г. к империи Наполеона.

В 1789 г. вышла его пьеса «Карл II, король Англии», в 1792 г. — «Старик и его три сына», наконец, в 1795 г. — «Тимон Афинский». Мы не будем анализировать содержание этих пьес; каждая из них отражает его политические настроения и убеждения на том или другом этапе революции. Он превозносит Генеральные Штаты в 1789 г., он декламирует и с ненавистью встречает всякую попытку плебейских масс сказать свое слово по поводу распределения богатства во Франции в 1795 г. В подражание «Тимону Афинскому» Шекспира он рассуждает о вреде и пользе золота. В июне 1791 г. вышла его книга: «Жан-Жак Руссо, рассматриваемый как один из первых творцов революции». Назначение труда определено самим Мерсье: «Франция делегировала своих представителей в Генеральные Штаты, а литераторы посылают свои произведения». Мерсье высоко ставит писательский труд. Он думает, что книги просветителей создали революцию и гарантируют ее успешное протекание. Эта книга — апология Жан-Жака. Она не обратила на себя внимания потому, что подобная тема не была редкостью в те дни. Мерсье мог сказать только одно, говоря о смерти философа: «Природа создала его, а затем разбила модель». В 1792 г. Мерсье вступил в близкое соприкосновение с депутатами Жиронды.

Он принимает участие в журнале Карра «*Annales patriotiques*»; он работает в газете жирондистов «*Chronique de mois*».

В Конвент Мерсье был избран от департамента Сены и Уазы и занял в революционном собрании свое место среди Жиронды. В решающие дни наш писатель был на правом крыле собрания; когда в январе 1793 г. обсуждался вопрос о казни короля, Мерсье был среди тех, кто голосовал за обращение к народу. Он предлагал сохранить Людовика XVI заложником во Франции до окончательного заключения мира.

Вскоре Мерсье исчез из Конвента вместе с жирондистами. Мы не знаем подробностей его биографии в самые боевые годы революции. После 9 Термидора он был среди термидорьянцев, в годы Директории—среди буржуа-реакционеров, которые мстили плебейским массам за их активность и революционную инициативу. Две книги могут послужить для нас источником биографических сведений об отношении Мерсье к революции. Первая из них вышла в 1801 г.,—замечательный словарь новых слов и понятий, введенных во французский язык революцией. Словарь «*Néologie, ou vocabulaire de mots nouveaux, á renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles*» составлен Мерсье. Это настольная энциклопедия прошедших революционных лет. Нас завел бы далеко анализ работ Мерсье. На эту книгу ссылается Лафарг в своем исследовании о языке французской революции.

В 1797 г. в семи томах вышла книга Мерсье «Новый Париж». Мерсье мечтал о славе времен «Картин Парижа», но это было безнадежно. Если сборник очерков 1781—1788 гг. «*Tableau de Paris*» произвел фурор в Европе, то это было потому, что талантливый очеркист одновременно выступил в роли радикального пи-

сателя. «Nouveau Paris»—это сборник контрреволюционных статей, в которых жирондист сводит счеты с французской революционной демократией и в первую очередь с бабувистами. Не только политически, но и в художественном отношении новая книга стоит гораздо ниже всего того, что до сих пор писал Мерсье. Сам Мерсье вынужден признать, что «Nouveau Paris» не может претендовать на славу «Tableau de Paris», так как «и модель и художник» изменились за годы бури и натиска.

Не имеет смысла излагать главу за главой сотни очерков контрреволюционных размышлений о прошедших годах великого переворота. Нас интересует только один момент в книге Мерсье о новом Париже. Дело в том, что в буржуазной исторической литературе привыкли утверждать, что восстание Бабефа не привлекло к себе внимания, что оно было мало заметным эпизодом в истории революции эпохи Директории. Книга Мерсье доказывает противоположное. Она убеждает нас, что заговор Бабефа как итог революционного движения плебейских масс эпохи Конвента был воспринят вождями буржуазной республики как серьезная социальная опасность. Об этом в своей книге неоднократно пишет Мерсье, доказывая, какое решающее значение в судьбе Франции имел бабувизм. «Париж—город войны»—так определяет Мерсье столицу Франции и революции. В этом городе гражданской войны, в его предместьях особым успехом пользовались идеи крайних уравнивателей, идеи тех, кто стремился покончить с богатыми таким же образом, как было покончено с дворянами. Мерсье решительно поднимает знамя *модернизма*, знамя умеренных революционеров, защитников буржуазной республики. Умеренные с восторгом встретили арест Бабефа и Друэ. Этому торжественному со-

бытию Мерсье посвятил специальную главу—220-ю в пятом томе книги «Новый Париж». Восстание Бабефа для него—событие первостепенной важности.

Вскоре Мерсье становится академиком. Он занимает в *Ecole centrale* кафедру истории, пользуется правом профессора, чтобы в лекциях обрушиться на сенсуалистов—Локка и Кондильяка. Он называет их не «идеологами», а «идиологами», Мерсье доказывает, что земля плоска, что солнце совершает свой путь вокруг земли; он убеждает своих слушателей в том, что концерт лягушек в болоте приятнее концерта соловья в саду. Впрочем, Мерсье все еще продолжает превозносить картины Грёза, ругает Академию и академиков, но не перестает изводить их своими докладами. С особым возмущением академики вспоминали его доклад о Катоне Утическом, прочитанный 3 июля 1799 г.

Наполеон, говоря словами Маркса, «завершил терроризм, поставив на место перманентной революции перманентную войну». Наполеон «признал буржуазную основу общества и взял ее под свое покровительство»: он царствовал и управлял Францией именем и во имя буржуазии. В эти годы Мерсье свел свою «социальную философию» к пропаганде филантропии—«*Charité*» (1803). Вот все, что осталось от его «уравнительной теории» в годы Империи.

В предисловии к утопии «Год 2440», в издании эпохи Консульства, Мерсье солидаризуется с Бонапартом. Впрочем, эти симпатии к Наполеону продолжают недолго. Мы не знаем причины, почему Мерсье решил перейти в оппозицию наполеоновскому режиму. В эпоху Империи он изображал из себя либерала, считая режим Наполеона режимом «организованной сабли». Наполеоновские министры и полиция относились к нему, как к чудаку. Совари угрожал посадить его в Бисетр.

Впрочем, сам Мерсье говорил о себе: «Я живу теперь только для того, чтобы знать, чем все это кончится». Он не переставал писать. В 1808 г. Мерсье издал сатиру против Расина и Буало. После него остался еще законченный «курс литературы».

25 августа 1814 г. кончилась жизнь плодовитого писателя французской мелкой буржуазии. Впрочем «великий книгопроизводитель Франции» — *«Le plus grand livrier de France»* был мертв уже в 1789 году.

Ц. Ф р и д л я н д.

КАРТИНЫ ПАРИЖА

ТОМ ПЕРВЫЙ

Предисловие

Я буду говорить о Париже, но не о его зданиях, соборах, памятниках, достопримечательностях и тому подобном. Обо всем этом уже достаточно написано. Я буду говорить об общественных и частных нравах, о господствующих идеях, о современном настроении умов,—обо всем, что меня поразило в этом причудливом собрании обычаев, порою безрассудных, порою мудрых, но всегда изменчивых. Я буду говорить также о его необъятной величине, о его чудовищных богатствах и его скандальной роскоши. Он выкачивает, он вбирает в себя и деньги и людей; он поглощает и пожирает другие города,—*quaerens quiet devoret**.

Я исследовал все классы населения и не пренебрег даже предметами наиболее далекими от горделивого довольства, дабы путем противопоставлений как можно лучше выявить нравственный облик этой гигантской столицы.

Многие ее жители чувствуют себя как бы чужестранцами в собственном городе; эта книга их, быть может, чему-нибудь научит или, во всяком случае, покажет им в более ярком и ясном освещении то, к чему они пригляделись и что перестали замечать; ибо мы далеко не лучше знаем то, что видим ежедневно.

Если кто-нибудь рассчитывает найти в этой книге *топографическое* описание площадей и улиц или историю давно минувших событий, — он обманется в своих ожиданиях. Меня интересовал нравственный характер столицы и его быстро меняющиеся оттенки; зато у книгопродавца Монтара — издателя королевы — имеется словарь, в четырех огромных томах, снабженный цензорским разрешением и королевской привилегией; в этом словаре не забыты исторические данные, касающиеся замков, коллегий и даже незначительнейших тушиков. Если бы в один прекрасный день монарху пришла фантазия продать свою столицу, этот объемистый словарь мог бы, думается, послужить каталогом или описью.

Я же не составлял ни *каталога*, ни *описи*, — я делал наброски так, как мне хотелось; я старался разнообразить свои *Картины* насколько мог. Я изображал их в различных обликах. И вот они в том виде, в каком выходили из-под моего пера, по мере того как мои глаза и мое разумение соединяли воедино отдельные части.

Читатель сам исправит то, что писатель плохо разглядел или неудачно набросал, и сравнение, быть может, пробудит в нем тайное

желание еще раз посмотреть данный предмет и сравнить его с его изображением на картине.

Останется сказать еще гораздо больше того, что сказал я, и сделать гораздо больше наблюдений, нежели сделано мною; но ведь одни только сумасшедшие или злые позволяют себе высказывать все, что им известно, или все, что ими заучено.

Будь у меня не один, а сто ртов, и сто языков, и тот железный голос, которым говорят Гомер и Вергилий,—все равно мне, само собой разумеется, было бы невозможно изобразить все контрасты великого города, контрасты, выступающие при сопоставлении особенно резко. Когда говорят про Париж, что это вселенная *в миниатюре*, то этим еще не говорят ничего. Нужно его видеть, исходить вдоль и поперек, осмотреть все, что в нем есть, изучить ум и глупость его жителей, их изнеженность и их непреодолимую болтовню; нужно, наконец, наблюдать всю эту смесь мелких обычаев и привычек сегодняшнего или вчерашнего дня, из которых образуются частные законы, находящиеся в постоянном противоречии с законами общими.

Вообразите себе тысячу человек, совершающих вместе путешествие; если бы каждый из них был наблюдателем, то каждый написал бы книгу впечатлений, совершенно отличную от остальных; и все же еще не мало интересного и меткого осталось бы сказать тому, кто отправился бы в то же путешествие после них.

Я умышленно подчеркнул некоторые злоупотребления. В настоящее время более чем

когда-либо заботятся об их искоренении. Изобличить их—значит подготовить их гибель. Некоторые из них были уничтожены, пока я писал эти заметки. Я с радостью отмечу это; но они цвели еще слишком недавно, чтобы сказанное мною могло показаться уже устаревшим.

Вопреки нашим страстным желаниям, чтобы все остатки варварства преобразились и облагородились и чтобы добро — запоздалый плод знаний—пришло на смену долгому периоду многочисленных заблуждений, в этом городе все еще коренятся те низкие и узкие взгляды, которые были внедрены в него веками невежества. Он не может от них сразу освободиться, ибо, если можно так выразиться, при отливке его были использованы и все его отбросы.

Город, только что созидающийся и едва выходящий из рук просвещенного правительства; легче поддается обработке и усовершенствованию, чем древние города с их несовершенными и запутанными законами, с религиозными преданиями, подвергаемыми осмеянию, и с гражданскими обычаями, которые постоянно нарушаются. Бесчисленные злоупотребления держатся там особенно крепко потому, что та небольшая группа граждан, в руках которых сосредоточены богатство и власть, гонит прочь все здоровые, новые мысли, все созидающие принципы и остается глуха к голосу общества. Тщетно нападают на твердую лжи, — она стоит на прочном основании. Пытаются исправить уже сделанное, но это труднее, чем строить вновь. Предпринимают некоторые изменения, но они не вяжутся с целым, которое по-

прежнему остается порочным. Прекраснейшие рассуждения запечатлеваются в книгах, в жизни же малейшее добро встречает непреодолимые трудности. Все мелкие частные интересы, цепенеющие в противозаконном обладании богатствами, борются со всеобщим благом, у которого часто бывает всего только какой-нибудь один защитник. Счастливы поэтому города, которые, как и отдельные личности, не приняли еще вполне законченного, определенного облика. Только они и могут рассчитывать на получение единых, глубоких и мудрых законов.

Я должен предупредить, что, работая над этим произведением, я держал в руках лишь кисть *художника* и что в нем почти нет размышлений *философа*. Было бы легко сделать из этой книги сатиру; каждая глава могла бы быть направлена против кого-нибудь, но я от этого воздержался. Сатира, направленная против тех или иных личностей, является злом, потому что она никогда не исправляет, не выводит никогда на прямую дорогу, а только раздражает и ожесточает. Что касается меня, то я зарисовал только общие картины, и даже любовь к общественному благу не могла отвлечь меня в сторону от намеченного мною пути.

Мне доставляло удовольствие писать эти *Картины* с живых людей. О прошлых веках уже достаточно написано,—меня занимает современное мне поколение и образ *моего* века, который мне гораздо ближе, чем туманная история финикийян и египтян. То, что меня окружает, имеет особые права на мое внимание.

Я должен жить среди себе подобных, а не разгуливать по Спарте, Риму и Афинам. Представители античного мира—превосходные модели для кисти художника, согласен; но они являются предметом простого любопытства. Мой современник, мой соотечественник—вот кого мне нужно знать в совершенстве, так как с ним мне приходится общаться, а потому малейшие оттенки его характера получают в моих глазах особую ценность.

Если бы в конце каждого столетия беспристрастный, здравомыслящий писатель давал общую картину того, что его окружало, точно изображал бы нравы и обычаи, какими он их видел, то это составило бы занятную галерею для сравнения; мы нашли бы в ней тысячу еще неизвестных нам мелких подробностей; от этого могли бы выиграть и законодательство и нравы. Но человек обычно пренебрегает тем, что находится перед его глазами,—он любит возвращаться мыслью к давнопрошедшим векам; он стремится разгадать ненужные факты, исчезнувшие навсегда обычаи,—занятие, не дающее ему удовлетворительных результатов, а порождающее только бесконечные праздные споры,—и теряется в них.

Смею думать, что через сто лет вернуться к моим *Картинам Парижа* и не из-за их живописных достоинств, а потому, что мой наблюдения, каковы бы они ни были, должны будут слиться с наблюдениями века, который последует за нашим и извлечет для себя пользу как из нашего безрассудства, так и из нашей мудрости. Вот почему знание окружаю-

щего народа всегда будет крайне важно для каждого писателя, который поставит себе задачей высказать несколько полезных истин, способных исправить ошибки его времени. С своей стороны, могу сказать, что это единственная слава, на которую я рассчитываю.

Если, разыскивая по всей столице материал для своих набросков, я встречал чаще ужасающую нищету, чем честный достаток; видел больше печали и тревоги, чем радости и веселья, которое некогда приписывалось парижанам, — пусть меня не укоряют за преобладающий грустный колорит; моя кисть была всегда правдива. И, быть может, она зажжет огонь рвения в сердцах будущих правителей и вызовет великодушное сочувствие высоких, деятельных душ. Я не написал ни одной строки без этой сладостной уверенности, а если бы она меня покинула, — не стал бы больше писать.

В каждой патриотической идее (мне хочется этому верить) заключается невидимый зародыш, который можно сравнить с семенами растений; их долгое время топчут ноги прохожих, но со временем они все же прорастают, развиваются и выходят на поверхность земли.

Я знаю, что порой добро порождает зло; знаю, что некоторые заблуждения неизбежны, что город с многочисленным и развращенным населением должен считать себя счастливым, если при недостатке добродетелей в нем все же не наблюдается и слишком много крупных преступлений, и что в постоянном столкновении внутренних затаенных страстей даже внешнее спокойствие значит уже много. Повторяю, что

моей задачей было только *описывать*, а не *судить*.

Из своих частных наблюдений я вывел заключение, что человек представляет собой животное, способное подвергаться самым разнообразным и удивительным изменениям; что парижский образ жизни столь же в порядке вещей, как и кочевая жизнь африканских и американских дикарей; что охота на пространстве двухсот лье в округности и легонькие арии комической оперы одинаково просты и естественны; что в действиях человека не существует никаких противоречий, ибо он распространяет власть своего ума и своих прихотей на все протяжении пробегаемого им пути; отсюда вытекает то бесконечное разнообразие форм, которое совершенно видоизменяет человека в зависимости от места, обстоятельств и времени. А потому изысканная роскошь дворцов наших Крассов* должна удивлять нас не больше, чем красные и синие полосы, которыми дикари украшают свое тело.

Но если счастье, в чем я не сомневаюсь, чаще всего меркнет от завистливых сравнений, то должно признать, что быть счастливым в Париже почти невозможно, так как кичливые утехы богачей здесь слишком на виду у бедняков, которые имеют полное основание горько вздыхать, видя всю эту разорительную роскошь и зная, что она никогда не будет их уделом. Парижский бедняк в этом отношении гораздо несчастнее крестьянина: я сказал бы, что из всех живущих на земле это наименее приспособленный к сво-

им нуждам человек. Он боится уступить требованиям природы, а когда уступает,—его дети рождаются *на чердаках*. И не существует ли в таком случае явного противоречия между *рождением и нищетой*? Способности бедняка приглушены, его дни ненадежны. Зрелища, искусства, приятное отдохновение, вид неба и природы—все это для него не существует. В Париже ничем не возмещается различие в условиях существования; у одних здесь голова кружится от опьяняющих удовольствий, у других—от мук отчаяния.

Вы живете в среднем достатке? В таком случае вы можете себя чувствовать хорошо всюду, за исключением Парижа; здесь вы будете бедны. В столице человека обуревают страсти, неведомые в другом месте. Зрелище наслаждений влечет к наслаждениям и вас. Актеры, играющие на этой громадной и изменчивой сцене, заставляют играть и вас. Не может быть больше речи о спокойствии; желания становятся острее; излишества превращаются в потребности, и те, что даны нам природой, имеют над нами несравненно менее власти, чем те, которые навязывает нам общественное мнение.

Итак, тот, кто не хочет испытать нищеты и идущих за нею следом еще более горьких унижений, кого не могут не ранить презрительные взгляды надменных богачей,— тот пусть удалится, пусть бежит, пусть никогда не приближается к столице!

Quærens quem deore

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. Общее впечатление

В Париже человеку, умеющему размышлять, нет надобности выходить за городские стены, чтобы познакомиться с людьми других стран: он может узнать весь человеческий род, изучая людей, копошащихся, подобно муравьям в муравейнике, в этой колоссальной столице. Здесь вы найдете азиатов, лежащих целыми днями на гудах каменных плит; лапландцев, прозябающих в тесных лачугах; японцев, распарывающих друг другу животы при малейшей ссоре; эскимосов, не имеющих никакого понятия о своем веке; белых негров* и квакеров, носящих шпагу*. Вы найдете здесь нравы, обычаи и характеры народов отдаленнейших стран: химика, поклоняющегося огню, любознательно-идолопоклонника*, скупающего статуи, бродягу-араба, ежедневно шатающегося взад и вперед по городскому валу, в то время как праздничный индеец и готтентот проводят дни в лавках, на улицах и в кофейнях. Здесь вот живет доб-

рый персианин, снабжающий бедных лекарствами, а на одной с ним площадке—ростовщик-людоед. Наконец, вы встретите здесь браминов и факиров, ежедневно занимающихся мучительно трудными упражнениями, и гренландцев, у которых нет ни алтарей, ни храмов. А все рассказы об античном сладострастном Вавилоне претворяются здесь каждый вечер в жизнь в храме, посвященном Гармонии.

Говорят, что для усовершенствования того или другого таланта нужно подышать воздухом Парижа. И действительно, тому, кто не жывал в этой столице, редко удавалось особенно отличиться в своем искусстве. Парижский воздух, если не ошибаюсь, совершенно особый воздух. Сколько веществ растворяется в таком маленьком пространстве! Париж—это своего рода громадный тигель, в котором перемешивается мясо, фрукты, растительные масла, вина, перец, корица, сахар, кофе, продукты самых отдаленных стран, а желудки людей—это печи, разлагающие все эти ингредиенты. Каждая мельчайшая частица, испаряясь, соединяется с воздухом, которым здесь дышат. Сколько дыму! Сколько пламени! Какой поток паров и испарений! Как глубоко должна быть здесь пропитана почва солями, поделенными природой между четырьмя странами света! И не естественно ли, что изю всех соков, соединенных в густую жидкость, рекой льющуюся во всех домах, наполняющую целые улицы (как, например, улицу Ломбардцев), в атмосферу постушают разжиженные частицы, которые именно здесь сильнее, чем где-либо, раздражают волокна

тканей? Возможно, что отсюда и возникло чувство особой живости и легкости, присущее парижанину, и свойственные ему ветреность и игривость ума... А если не эти живые частицы сообщают его мозгу вибрацию, порождающую мысли, то разве глаза его, беспрестанно поражаемые видом несметного количества всевозможных искусств, ремесел, работ, занятий, не раскрываются с малых лет и не научаются созерцать в таком возрасте, когда в другом месте не созерцают еще ничего? В Париже все чувства человека поминутно чем-нибудь возбуждаются. Здесь разрушают, полируют, шлифуют, формуют; металлы обрабатываются и принимают самые разнообразные формы; молот работает без усталости; тигель все время раскален; цепкий напильник всегда в действии; они сплющивают, расплавляют, разрывают вещества, соединяют, перемешивают их. Может ли ум парижанина оставаться неподвижным и холодным, когда из каждой лавки, мимо которой он проходит, до него доносится громкий голос науки, переделывающей природу, когда голос этот выводит его из летаргического сна?.. Повсюду наука призывает вас и говорит: *Смотрите!* Огонь, вода, воздух работают в кузницах, в дубильных мастерских, в пекарнях; уголь, сера, селитра видоизменяют формы предметов и их названия, и все эти разнообразные переработки—непосредственные создания человеческого ума—наводят на размышления даже самые глупые головы.

Вы слишком нетерпеливы, чтобы посвятить себя практической работе? В таком случае не

хотите ли познакомиться с теорией? Профессора всех наук уже взошли на кафедру и ожидают вас,—все, начиная с того, что рассекает трупы в Хирургической академии, и кончая тем, что в Королевском коллеже разбирает стих Вергилия. Вы любите мораль? Театры покажут вам разнообразнейшие картины человеческой жизни. Вы расположены воспринять чуда гармонии? Если не опера, так колокола, звучащие в воздухе, пробуждают музыкальный слух. Вы художник? Пестрые одежды населения, разнообразие лиц, редчайшие модели всегда готовы пленить вашу кисть. Вы легкомысленны? Полюбуйтесь искусными руками продавщицы в модном магазине, с сосредоточенным видом наряжающей куклу, которой предстоит перенести последние моды на далекий север вплоть до Северной Америки. Вы любите размышлять о торговле? Вот алмазчик, который в одно утро продает на пятьдесят тысяч эку бриллиантов, в то время как его сосед, бакалейный торговец, продает товара на сто эку в день по мелочам, часто не превышающим трех-четырех су; оба они торговцы, степень же приносимой ими пользы весьма различна.

Нет, невозможно человеку, имеющему глаза, ограничиваться только зрением и не размышлять. Обряд крещения, прерывающий отпевание; один и тот же священник, идущий венчать молодую чету непосредственно после прочтения отходной умирающему; нотариус, говорящий брачующимся о смерти в самый день их нежного союза,—предусмотрительность закона, забота-



Вид Парижа при Людовике XVI
С гравюры Берто по рисунку Л'Эспинаса

щегося о двух влюбленных сердцах, которые сами не предвидят ничего; обеспечение жизни детей, еще не родившихся на свет; игривая веселость собравшихся гостей во время обсуждения самых важных вопросов,—все это достойно внимания наблюдателя.

Вас останавливает, перерезав вам дорогу и чуть вас не раздавив, карета; нищий в рубище протягивает руку к позолоченному экипажу, в глубине которого сидит толстый человек. За стеклами окон он производит впечатление слепого и глухого; ему грозит апоплексический удар; через какие-нибудь десять дней он будет зарыт в землю, и после него останется два-три миллиона франков алчным наследникам, которые будут смеяться над его кончиной. А он отказал сейчас в пустяшном подаении несчастному, умолявшему его таким трогательным голосом!

Сколько красноречивых картин останавливает взор на каждом углу, на каждом перекрестке! Какая галерея ярких образов, полных резких контрастов и поражающих всякого, кто умеет видеть и слышать!

Удивительное скопление в одном месте восьмисот тысяч человек, из которых двести тысяч обжор и мотов, приводит к первому размышлению на политические темы. Герцог платит за хлеб не дороже носильщика, который съедает хлеба втрое больше его. Как не удивляться невероятному порядку, царящему в таком смешении вещей! Он дает понятие о том, что могут сделать мудрые законы, как медленно они устанавливались,

какую сложную и вместе с тем простую машину представляет собой бдительная полиция. А одновременно с этим вашему взгляду открываются и способы, которыми можно эту последнюю усовершенствовать, ничем не стесняя благородную и драгоценную свободу—самое дорогое достояние гражданина.

Если вы любитель путешествий, вы можете во время завтрака в каком-нибудь хорошем ресторане далеко унести воображением. Китай и Япония поставляют фарфор, в котором дымится ароматный азиатский чай. Ложкой, добытой в Перуанских рудниках, вы берете сахар, который вырабатывают в Америке несчастные негры, переселенные из Африки; вы сидите на блестящих тканях, вывезенных из Индии, за которую три великих державы вели между собой долгую и ожесточенную войну*; а если вы хотите получить те или иные сведения об этих распрях, то, протянув руку, можете взять газету и прочитать в ней краткую историю последних событий во всех четырех странах света. Там говорится о конклаве и о сражении, о задушенном визире и о новом академике. Наконец, все—вплоть до обезьяны и попугая, находящихся в ресторане, — говорит вам о чудесах мореплавания и об усиленной деятельности человека.

Выглянув из окна, вы увидите человека, который шьет сапоги, чтобы купить себе хлеба, и другого, который шьет платье, чтобы купить себе сапоги; затем третьего, который, имея и сапоги и платье, хлопочет о приобретении картины. Вы увидите булочника и аптекаря, акушера и могильщика, кузнеца и ювелира,

работающих для того, чтобы самим отправиться последовательно к булочнику, аптекарю, акушеру и виноторговцу.

2. Чердаки

Прежде всего поговорим о любопытнейшей части Парижа — о *чердаках*. Подобно тому как в человеческой машине верх содержит благороднейшую часть человека, — его мыслящий орган, точно так же в этой столице гений, ловкость, прилежание, добродетель занимают самую верхнюю область. Там в безмолвии зреет художник; там поэт слагает свои первые стихи; там живут бедные и трудолюбивые дети науки, неутомимые созерцатели чудес природы, делающие полезные открытия и поучающие весь мир; там обдумываются все шедевры искусств; там сочиняют пастьерское послание для епископа, речь для прокурора, книгу для будущего министра, проект, который должен будет изменить лицо государства, театральную пьесу, которая восхитит всех. Спросите Дидро* — хотел бы он бросить свое жилище и переехать в Лувр? Послушайте, что он вам ответит. Почти нет ни одного знаменитого человека, который не жил бы в начале своей карьеры на чердаке. Я видел там автора *Эмиля**, — бедного, гордого и довольного. Спускаясь оттуда, писатели нередко теряют весь свой пыл; они сожалеют о мыслях, которые владели ими в те времена, когда они видели в окно только верхушки труб. Грёз, Фрагонар*,

Верне* созрели на чердаках, и это не только не заставляет их краснеть, а, наоборот, именно это-то и дает им права на славу.

Пусть богач вабирается по высоким лестницам в 'эти жилища, чтобы принести туда несколько крупинок золота и извлечь для себя порядочную выгоду из работ молодых, еще неизвестных художников, теснимых жизнью. Богач полезен, хоть им и руководит скупость, хоть он и хочет воспользоваться нищетой, гнетущей труженика; но раз уж он совершил такое восхождение, пусть постучится и в соседнюю дверь... Осмелится ли он войти туда? Там его окружают все ужасы нищеты; они затронут все его чувства. Он увидит голых детей, сидящих без хлеба; женщину, которая, несмотря на материнскую любовь, отнимает у них часть их пищи; увидит несчастного труженика, который не в состоянии заработать на пропитание благодаря беспощадному налогу. Еда несчастного фальсифицирована: он не ест почти ничего в том виде, как оно выходит из рук природы. Вопль бедняги раздается под сводами прохудившихся крыш и напоминает пустой звук соседних колоколов, который потрясает воздух, а затем постепенно замирает; бедняк чахнет от изнурительной болезни в ожидании дня, когда перед ним раскроются двери больницы, чтобы поглотить его.

Под утро, когда он просыпается, чтобы снова приняться за тяжелый и неблагодарный труд,—он слышит шум возвращающейся колесницы счастья, от которой дрожит весь дом. Богатый развратник, сосед несчастного

по дому, но сердцем удаленный от него на тысячи лье, устав от наслаждений, ложится спать в тот час, когда бедняк с трудом отрыгается от сна. Богач проиграл или выиграл на одной карте столько, что этого хватило бы на жизнь целой семьи; но ему и в голову не приходит мысль помочь своему ближнему.

Писатель часто живет среди подобных паразитических противоречий, и оттого-то и становится он таким пылким и чувствительным. Он близко видел нищету огромного большинства населения того города, который слывет *прекрасным и тонущим в изобилии*, и впечатление от виденного глубоко таится в его сердце. Будь он счастлив,—тысячи трогательных, патристических идей не пришли бы ему в голову. Являясь оратором большинства, а следовательно, оратором несчастных, он должен защищать их интересы; но может ли защищать их тот, кто не чувствовал несчастья ближнего, иначе говоря—кто никогда не разделял его?

3. Необъятность столицы

С политической точки зрения Париж слишком велик: глава несоразмерна с государственным организмом. Но в настоящее время было бы опаснее срезать нарост, чем оставить его как он есть: некоторые болезни, раз укоренившись, становятся неизлечимыми.

Большие города по вкусу монархическому правительству, а потому оно делает все, чтобы

собрать в них как можно больше народу; крупных землевладельцев оно привлекает роскошью и всевозможными развлечениями, а толпу загоняет подобно тому, как загоняют баранов в огороженное пастбище, чтобы сторожевым овчаркам было меньше беготни и чтобы легче было подчинить всех единому закону. В общем Париж представляет собой пучину, в которой исчезает человеческий род; здесь его держат под замком; уйти отсюда можно только через ворота, охраняемые бдительными глазами Аргуса. Простые деревянные заставы, вызывающие больше уважения, чем охраняемые пушками каменные стены, останавливают подводы с необходимейшими съестными припасами и обкладывают их налогом, который всецело ложится на бедняка, так как если последний и лишен всяких удовольствий, то не избавлен от потребности в питании. Заставить город голодать зависит всецело от короля; своих добрых, верных подданных он держит в клетке, и, если бы они навлекли на себя его неудовольствие, ему достаточно было бы отказать им в корме; тогда, прежде чем сломать решотки своей тюрьмы, три четверти из них перегрызли бы друг другу горло или умерли бы от голода.

Всемирно надо жить—это основной закон существования. Я вижу, что столица процветает, но за счет всей остальной страны! Эти шестизэтажные дома, населенные сверху до низу, вбирают в себя урожай полей и виноградников, растянувшихся на пятьдесят лье кругом; все эти лакеи, шуты, аббаты, все эти

праздношатающиеся не приносят пользы ни государству, ни обществу, и тем не менее всем им нужно существовать, как то будет доказано мною в главе о законодательстве, озаглавленной: *О человеческом желудке*. Существуют политические недуги, которые нужно терпеть, пока не найдено против них верное средство. То же самое можно сказать и относительно размеров столицы. Нельзя вернуть земледелию всех, кто живет в меблированных комнатах и на чердаках. У них ничего нет,—нет даже рук, настолько они изнурены; можно ли остановить у застав всех въезжающих? Не трогайте же этого громадного нароста, раз нельзя удалить его, не подвергнув опасности весь государственный организм; к тому же... Но не будем забегать вперед в своем повествовании. Этот город всегда был любезен правительству, глава которого настолько же непропорционально велика, насколько непропорциональна столица по отношению ко всему королевству.

4. Лицо большого города

Вы хотите иметь представление о внешности Парижа? Поднимитесь в таком случае на башню Собора богородицы. Город кругл, как тыква. Штукатурка, то черная, то белая, составляющая две трети его строительного материала, указывает на то, что город выстроен из мела, а также на то, что он стоит на известковой почве. Дым, вечно поднимающийся из его бесчислен-

ных труб, скрывает от нас остроконечные верхи колоколен. Точно облака образуются над бесчисленными зданиями, и испарения города являются, таким образом, как бы ощутимыми на глаз.

Река, протекающая через Париж, разрезает его на две почти равные части, но за последние несколько лет новые здания растут преимущественно в его северной половине.

Я обойду молчанием как топографическое положение города, так и внешний вид его зданий, памятников и всякого рода диковин, потому что придаю больше значения духу и характеру его жителей, чем всем перечням, которые можно найти в *Этрен Миньон*. Я изучаю нравственный облик города; для того же чтобы познакомиться со всем остальным—нужны только глаза.

Отмечу лишь, что парижский климат отличается крайним непостоянством и что он не столько холодный, сколько сырой. Вода Сены слегка послабляющая, а поговорка гласит, что *Сена течет из бедра ангела*. Кожа у здешних жителей мягкая и дряблая, а плотность атмосферы смягчает цвет лица, так что яркий румянец здесь—редкость.

Самым здоровым кварталом является предместье Сен-Жак, где живет бедный люд, а самым нездоровым—так называемый *город*.

Почему этот великолепный город не расположен на том месте, где стоит Тур? Там он оказался бы помимо всего еще и в самом центре королевства. Прекрасное небо Турени

гораздо более подходило бы парижскому населению, а положение на берегу Луары дало бы столице неисчислимые преимущества, которых у нее сейчас нет и которые она не сможет приобрести ни трудом, ни богатством.

Окрестности Парижа разнообразны, прелестны, очаровательны; там культура усовершенствовала природу, но не задушила ее. Таких садов, аллей, прогулок не встретишь нигде, как только здесь, в непосредственной близости к городу. На четыре лье в окружности все дышит изобилием, и тот, кто здесь вкладывает свой труд в землю, не может жаловаться на судьбу.

И в то же время никто на восемь-десять лье в окружности не имеет права сделать ни единого ружейного выстрела. *Королевские уголья* и земли принцев присвоили себе все права на охоту. Произвольные законы, касающиеся этой области, носят печать строгости, чтобы не сказать—жестокости, представляющей резкий контраст с прочими законами королевства. Застрелить куропатку считается преступлением, которое можно искупить лишь каторгой. Смотрители охоты преследуют тех, кто охотится на охраняемых ими землях, с таким же ожесточением, с каким конная жандармерия преследует воров и убийц. Случается, что браконьеров убивают, и—о, ужас!—эти убийства остаются безнаказанными! Осмелюсь ли прибавить, что иногда смотрителей за это даже награждали, и награждал, между прочим, один принц крови, который слывет весьма человеколюбивым.

В отношении охоты* принцы крови жестоки, неумолимы и действуют как настоящие тираны.

5. Каменоломни

Для постройки Парижа приходилось брать камень в его окрестностях, а требовалось его не мало; и естественно поэтому, что по мере роста города его предместья стали строиться на местах прежних каменоломен, и, таким образом, оказывается, что все здания, которые мы видим на поверхности, выстроены за счет крепости почвы; этим объясняются те ужасающие впадины, которые образовались в настоящее время под домами во многих местах города. Эти дома стоят над пустотами. Не требуется особенно сильного толчка для того, чтобы все эти камни, с таким трудом извлеченные из недр на поверхность, снова очутились на прежнем месте. Восемь человек, погребенных в провале глубиною в сто пятьдесят футов, и несколько других, подобных же, но менее известных случаев заставили, наконец, полицию и правительство обратить на это внимание, и в результате во многих кварталах дома были укреплены особыми сваями, подведенными под фундаменты и придавшими последним необходимую прочность.

Все предместье Сен-Жак, улица Арфы и даже улица Турнон расположены над бывшими каменоломнями; там пришлось возвести пилестры, чтобы поддерживать груз домов. Сколько тем рождается для размышления, когда

знакомишься с этим большим городом, который создан и поддерживается целым рядом противоречащих друг другу способов! Все эти башни, колокольни, своды соборов представляют собой как бы символы, говорящие глазам наблюдателя: *Того, что вы видите над собой, — нет у вас под ногами.*

6. Что случилось с феодальным государством?

Дворянство, жившее двести лет тому назад в своих замках, противилось переезду в город, и чего только ни делали во Франции, чтобы заставить дворян покинуть наконец башни своих замков, где они зачастую не считались с произвольными королевскими распоряжениями, так как в своих владениях пользовались вполне независимым положением. Но, с тех пор как милости самодержца стали раздаваться только в определенных присутственных местах, с тех пор как образовался единый притягательный центр, где должно было сосредоточиться все находящееся кругом, пришлось покинуть древние замки. Они превратились в развалины, а с ними вместе погибло и могущество их владельцев. Дворян ослепили великолепием, присутствием королевским дворам. С целью смягчить их нравы, стали устраиваться пышные празднества; женщинам, которые до тех пор жили уединенно в заботах о домашнем хозяйстве, льстило внимание, которое стали им оказывать; их кокетство, их врожденное тщеславие были удовлетворены; они стали блистать у трона

благодаря своим чарам. Их рабам пришлось сопровождать своих повелительниц в столицу; здесь женщины сделались царицами общества, законодательницами мод и развлечений и равнодушно смотрели на унижения, которым подвергались их отцы, мужья и сыновья; только бы им самим веселиться в вихре придворной жизни! Пустые затеи они превратили в дела первостепенной важности; они создали туалеты, этикет, моды, украшения, утонченные способы выражать благоволение, мелочные условности, — словом, всячески содействовали полному порабощению. А мужчинам, направляемым и руководимым ими, — возможно, даже без их ведома — ничего другого не оставалось, как протягивать алчные руки к тому, кто раздает милости и деньги. Искусство навивать состояния сделалось искусством царедворцев. Монарх извлек выгоды из этих стремлений дворянства, столь полезных для усиления его власти. Он вырвал из рук народа все золото, которое мог захватить, с тем, чтобы раздавать его своим придворным, превращенным в рабских слуг.

Таким образом, наследственные богатства старинной знати стали превращаться в Париже в бриллианты, кружева, серебряную посуду, роскошные экипажи. Упадок земледелия стал ощутителен. Трон окружен теперь большим блеском, благоденствие же государства от этого пострадало. Но если возникновение больших городов нанесло значительный ущерб стране, — некоторые отдельные личности оказались обладателями редкостных преимуществ;

они получили возможность наслаждаться всеми видами искусств, всеми удобствами, всеми благами жизни, исполнением малейших своих прихотей—словом, всем, что может украсить жизнь, смягчить посылаемые природой горести, упрочить радость, здоровье и счастье... Речь идет о немногих отдельных личностях,—народ же в целом...

7. Отчизна истинного философа

Философ чувствует себя особенно хорошо именно в больших городах (что не мешает ему их бранить), потому что здесь ему удобнее, чем где-либо, скрывать незначительность своих средств; потому что здесь ему не придется краснеть за это; потому что он чувствует себя свободнее, затерявшись в толпе; потому что в существующем здесь смешении сословий он находит больше равенства; потому что здесь он может выбрать себе круг знакомых, избегая глухих и назойливых людей, от которых не уйдешь в маленьких местечках.

Здесь он находит к тому же больше поводов для размышлений; картинами повседневной жизни он пополняет запас своих наблюдений; разнообразие окружающего дает наиболее подходящую пищу его уму; он осудит безумие тех, кто презирает деревенские удовольствия, но в то же время сам будет участником их безумств.

В восемнадцать лет, когда я был преисполнен сил, здоровья и смелости, я очень увлекался

системой Жан-Жака Руссо. Я мысленно бродил по лесам в полном одиночестве без наставника и без рабов, заботясь сам обо всем необходимом для существования. Жолуди, коренья и травы не казались мне плохой пищей; исключительный аппетит делал их все одинаково вкусными. Холода меня не пугали: мне казалось, что я презрел бы все ужасы Канады и Гренландии; жар крови заставлял меня сбрасывать с себя одеяло. Мысленно я говорил себе: там я не чувствовал бы себя заключенным в узкий круг формальностей, придирок, мелочности, хитрой и изменчивой политики. Свободно следуя своим склонностям, я подчинялся бы им, не нарушая законов, и был бы счастлив, не задевая своим счастьем ни скупости, ни гордости других людей.

Но когда первый пыл молодости стал остывать, когда я к двадцати семи годам свыкся с болезнями, с людьми, а главное—с книгами; когда у меня появились некоторые планы, радости и горести; когда я сам узнал лишения и наслаждения; когда мое воображение ослабло оттого, что я его обогатил и в то же время изнежил искусством,—тогда я нашел систему Жан-Жака Руссо менее приятной. Я понял, что гораздо удобнее приобретать хлеб за серебряную монетку, чем делать пешком несколько десятков лье, охотясь за дичью. Я почувствовал тогда благодарность и к тому, кто шьет мне платье, и к тому, кто отвозит меня в деревню, и к повару, который с избытком утоляет мой голод; я был благодарен автору театральной пьесы, заставляющей меня плакать; архитектору, построившему дом, где я живу и где жи-

мою так тепло; я был благодарен всем, кто обучает меня тысяче незнакомых мне дотоле вещей.

Я увидел тогда общество в другом свете и сказал себе, что в Париже меньше порабощения и нищеты, чем в диком состоянии, даже для самых несчастных, которые как-никак пользуются или могут пользоваться благодеяниями науки, и что, во всяком случае, середины тут быть не может: нужно быть или человеком, проводящим дни на лоне природы, или же жить в Париже в хорошем обществе, другими словами—в том, где вращаюсь я; так как каждый называет *хорошим* то общество, которое он сам себе выбрал... Так я думал. Подождите, читатель, в конце книги вы увидите, продолжаю ли я по-прежнему так думать...

8. О беседе

Как свободно играют в Париже мнениями людей! Сколько приговоров выносятся в течение ужина! Как смело высказываются суждения, касающиеся метафизики, морали, литературы и политики! Про одного и того же человека, за одним и тем же столом справа говорят, что это орел; слева—что это гусак. Один и тот же принцип одни провозглашают неоспоримым, другие—вздорным. Крайности сходятся, и одни и те же слова в разных устах имеют различное значение.

А с какою легкостью переходят с одной темы на другую, и какое множество предметов об-

суждается в несколько часов! Нужно сознаться, что в Париже искусство беседы доведено до такого совершенства, о каком не имеют понятия в остальном мире. Каждое слово похоже на легкий и в то же время глубокий удар весла. Подолгу на одной теме не останавливаются, но здесь владеют способом придавать самым различным темам общий колорит, благодаря которому любой разговор охватывает самые разнообразные идеи. Все *за* и *против* обсуждаются с необыкновенной быстротой. Это очень утонченное удовольствие; оно доступно только просвещенному обществу, установившему целый ряд тонких и точно соблюдаемых правил. Человек, не обладающий нужным для этого тактом, — хотя бы и не лишенный ума, — остается таким же безмолвным, как если бы он был глух.

Нельзя уловить, каким образом разговор мгновенно переходит с разбора новой комедии к обсуждению дел инсургентов*, как удается одновременно говорить и о новой моде, и о Бостоне, и о Дерю*, и о Франклине*. Связь между этими темами совершенно неуловима, но для глаз внимательного наблюдателя она существует, и как ни мало общего имеют между собой эти темы, — все же это *общее* представляет собой нечто безусловно реальное; если вы рождены, чтобы мыслить, — вы не можете не заметить, что все между собою связано, все соприкасается и что нужно иметь в голове великое множество разнообразнейших идей, чтобы родить одну хорошую. В области морали, как и в физике, светоотражающие предметы освещают друг друга взаимно.

Нет ничего приятнее, если можно так выразиться, прогулки среди мыслей окружающих людей. Тогда видишь, как часто платье человека говорит больше, чем сам человек; как иной отвечает не на вашу мысль, а на свою собственную, и отвечает вам от этого только лучше. Жест, заменяющий слово, бывает порой замечательно выразителен. На помощь недостатку памяти и начитанности приходит тысяча частных мелочей, и общество, в котором выращаетесь, лучше любой книги обучит вас знанию людей и мира.

9. Новые Афины

Париж представляет собой древние Афины: прежде желали заслужить похвалы афинян, в наши дни добиваются одобрения столицы Франции. Александр, сражаясь с Пором, воскликнул*: *Сколько трудов надо положить, чтобы заслужить вашу похвалу, о афиняне!* Что же за народ были эти афиняне, которые внушали людям, находившимся в глубине Азии, желание привлечь к себе их внимание? Либо Александр был безумцем, страдавшим чрезмерным честолюбием, либо Афины были первым городом в мире.

Три человека чаще других занимали собой в мое время внимание беседующих парижан: прусский король*, Вольтер и Жан-Жак Руссо. Из них первый приобрел себе невероятное множество горячих и верных поклонников благодаря своим победам, своему законодательству

и своим талантам. Признаюсь, что я сам являюсь его почитателем и что после Цезаря не знаю никого, кто соединял бы в себе столько качеств.

Таким образом, действительные заслуги не ускользают от народа, хотя его обычно и обвиняют в легкомыслии; он умеет быть постоянен в своем уважении; он умеет отличать людей, заслуживающих поклонения. Какой пример тому, кто захочет заслужить такое же одобрение! Парижанин вежлив и внимателен ко всем коронованным лицам, но чувства восхищения и уважения он хранит для монарха, действительно достойного императорского трона. Парижане уже указывают на несколько других царственных имен*, заслуживающих славы, но только время может дать их нарождающейся известности ту зрелость, которая обеспечит ей мощь и продолжительность.

10. Наслаждения

Богатый горожанин, восстав от сна, находит на парижских рынках все, что стотысячное население могло собрать в угоду его вкусам на пространстве пятидесяти лье в округности. Ему остается только выбирать. Всего в изобилии, и за несколько серебряных монет он сможет есть и превосходную рыбу, и свежие устрицы, и фазана, и каплуна, и ананас,—самую разнообразную снедь, возвращенную на противоположных концах страны. Ради него виноградарь воздерживается от благодетельного.

сока, бережно храня его для незнакомого потребителя; ради него ловкие, заботливые руки подрезывают спалеры плодовых деревьев. Пожелает ли усладить свою приятную праздность, — художник несет ему свои картины; спектакли тешат его музыкой, драмами, своей блестящей публикой. Нужно быть рожденным для скуки, чтобы не уметь разнообразить своих развлечений. Существуют *мастера* чувственных наслаждений, умеющие украшать кубок сладострастия и изощрять утехы, и без того уже признанные восхитительными.

11. Опасности

Но горе молодому и неискушенному юноше, сбежавшему из провинции и под предлогом усовершенствования в каком-нибудь искусстве осмелившемуся явиться без наставника и без друзей в этот город соблазнов! Сети разврата, присвоившего себе имя сладострастия, опутают его со всех сторон. Вместо нежной любви его встретит здесь ее призрак; ухищрения алчности заменят голос сердца и пламя чувств; все наслаждения здесь продажны и обманчивы. Пусть молодой человек, оставивший дома отца, мать, возлюбленную, почтет себя счастливым, если, окунувшись в эту беспорядочную толпу, — потеряет только здоровье и, избежав полного разрушения сил, не увеличит собой сонмище искалеченных душ, лишенных силы и бодрости и послушных одним только бессознательным инстинктам. Итак, все должно вознаграждаться,

и за приобретение новых или редкостных знаний приходится дорого расплачиваться, когда желаешь вкусить от *древа науки*.

Можно было бы написать весьма нравоучительную пьесу под заглавием: *Провинциальный отец*. Несчастный отец, обольщенный обманчивыми надеждами, слабо сопротивляется желаниям сына и отпускает его в столицу, пленившись мыслью о его быстром обогащении. Сын уезжает с сердцем, преисполненным сыновних добродетелей, но зараза подстерегает его, и скоро злосчастный отец не узнаёт того, кто был ему так мил. Сын научится насмеяться над добродетелями, которые отец его особенно ценит; он забудет или порвет все узы, связывающие его с родительским домом, когда познакомится с городом, где эти узы так тонки, что почти уже не существуют, и где над ними только смеются.

12. Преимущества

Именно в Париже можно выйти на дорогу, которую в течение многих лет вы тщетно стали бы искать в провинции. Справедливо говорят, что судьба слепа; ибо благодаря простой рекомендации нередко выдвигаются быстрее, чем самым усердным трудом. Иногда все зависит от первого дома, в который попадешь.

О юноша! Дари свои ласки Фортуне, пока лицо твое еще свежо! Она—женщина, ей мила ранняя пора человеческой жизни; если же будешь медлить,—она не осыплет тебя своими дарами.

Но в храме Фортуны всегда теснится толпа честолюбцев. Они толкаются и мешают друг другу. Нелегко пробить себе путь среди этих приливов и отливов. Едва справишься со множеством препятствий, едва склонишь колена перед алтарем богини, как замечаешь, что борода твоя поседела и настало время отрешиться от всего. Я никогда не делал в этом направлении ни единого шага и потому все так же далек от кумира; а теперь стремиться к нему мне уже слишком поздно!

13. Утонченный ум

Возможно, что в столице действительно существует избыток того, что зовется умом. Здесь всему находят оправдание—даже пороку. Неужели наша хитрость, другими словами—утонченность страстей и искусство находить им оправдание, так же могущественны, как и способность мыслить? Учит ли нас наш усовершенствованный разум совершенствовать также и порок? Не пользуемся ли мы искусной логикой, чтобы замаскировать наше коварство и все усиливающуюся алчность наших вкусов? Не делаются ли они привлекательнее, деспотичнее благодаря всем этим тонкостям? Как! Значит, знание может быть пропитано тонким ядом? Я боюсь углубляться в этот вопрос. Нет! Истинное знание всегда совершенно. Существует ложное знание, и оно-то и возбуждает в нас алчность, но наряду с ним даже в самые развращенные века существовало знание целомудренное.

14. Для кого же искусства?—Увы!

В то время как воображение ищет, изобретает и постепенно истощается в деятельном, непрерывном полете; в то время как рассудок размышляет, вычисляет, а проникательный ум все совершенствует... И для чего же? Для того, чтобы бездельники снисходительно наслаждались всеми искусствами, стоившими стольких трудов?!

Это наводит на очень грустные мысли. Как! Все делается для изнеженных глаз, для удовольствия сладострастного лентяя? Как! Только для того, чтобы вывести его из летаргического сна и скуки, благородные дети искусства дарят миру свои восхитительные произведения?!

15. Бедняку—сума

Все должности, чины, службы, места—как гражданские, так и военные и духовные—даются тем, у кого есть деньги; отсюда—расстояние, отделяющее богача от остальных граждан и увеличивающееся с каждым днем, в то время как нищета становится еще невыносимее от зрелища все возрастающей роскоши, мозолящей глаза бедняку. Разгорается ненависть, и государство оказывается расколотым на два класса людей: на алчных и бесчувственных и на недовольных и ропчущих. Законодатель, который нашел бы способ раздробить поместья, разделить и размельчить состояния, оказал

бы громадную услугу государству и населению. Такова плодотворная мысль Монтескьё*, облеченная им в столь удачную форму: *Повсюду, где два человека могут жить удобно, не стесняя друг друга,—между ними создается союз.*

Богатства, накопленные отдельными лицами, порождают роскошь, столь же опасную для того, кто ею пользуется, как и для того, кто ей завидует. Те же богатства, но распределенные более равномерно, дали бы вместо роскоши—этой разрушительной отравы—ту зажиточность, которая считается матерью труда и источником семейных добродетелей. Каждое государство, в котором благосостояние граждан находится почти на одинаковом уровне, наслаждается спокойствием и счастьем и производит впечатление сплоченного целого. Такова в наши дни Швейцария. Во всяком другом государстве заложены начала раздора и несогласия. Один продается, другой его покупает, и оба унижают себя. Я имею в виду не то равенство, которое является несбыточной мечтой; но огромные состояния вредят торговле и правильным денежным оборотам. Все деньги лежат на одной стороне, и жизненный сок, вместо того чтобы питать все ветви дерева, пропадает зря. Сколько талантов меркнет из-за недостатка в деньгах! Если считать эти последние за плодородные семена, то более трех четвертей населения лишены их и прозябают всю жизнь, не будучи в силах развить свои способности.

Самое большое для меня удовольствие—это видеть, как наследник какого-нибудь милли-

онера растрчивает в несколько лет несметное состояние, накопленное скупым и черствым отцом: ибо если бы сын был таким же скупым, как отец, то его потомок в третьем поколении обладал бы состоянием в десять раз большим, чем прадед, а двадцать таких людей захватили бы в свои руки богатства всей страны. Источниками всех политических недугов являются именно эти несметные богатства, сосредоточенные в руках нескольких отдельных лиц. Эта пагубная неравномерность порождает двойной ряд преступлений: одни из них вызваны богатством, другие—нищетой. Она влечет за собой междоусобицу, имеющую много общего с гражданской войной; она внушает одним чувство ненависти, особенно острое в силу своей затаенности, а другим—невыносимую гордость, переходящую в жестокость. Каждому государству, законы которого поощряют эту несправедливую несоразмерность, предстоит пополнить свои уголовные кодексы. Там, где многочисленны дворцы, приходится строить обширные тюрьмы, и наоборот: каждое государство, внимательно следящее за разделом наследств, за тем, чтобы питательный сок получал доступ ко всем ветвям дерева, будет иметь дело с гораздо меньшим числом преступлений. Римский закон, запрещавший гражданам владеть более чем пятьюстами десятинами, был очень мудрым законом. И если бы у нас был издан закон, требующий, чтобы по смерти каждого богатого землевладельца было расследовано, каким способом он нажил состояние, и если бы этот закон предписывал раздачу

бедным сумм, которые будут признаны превышающими законную прибыль,—такой закон, при его кажущейся химеричности, был бы тем не менее превосходен.

16. Недостаток в денежных знаках

Монтескье сказал: *Все идет хорошо, когда деньги и вещи настолько соответствуют друг другу, что, имея первые, можно тотчас же получить вторые, и наоборот: если, имея вещи, можно получить за них деньги.* Вот одна из плодотворных истин, над которой должны были бы призадуматься и верховные правители и государственные деятели; но они Монтескье не читают.

Какое множество вещей *не распродано* из-за отсутствия необходимого разнообразия в денежных знаках и как много вещей, которые *назначены к продаже, но никак не продаются!* Одни только поденщики имеют под руками готовые деньги.

На одного покупателя, платящего наличными, приходится пятьдесят других, предлагающих вам векселя. Следовательно,—неименно других разменных знаков, кроме *металлических*, является большим *недочетом*; и как еще далеко до осуществления пожелания Монтескье! Трудно продать вещи, но еще труднее продать себя. Множество людей остается без работы; частные дела идут вяло, и не лучше их—общественные. Все указывает на почти полное отсутствие разменных денежных знаков;

все требуют наличия *банка*, который выпустил бы такие знаки, так как в денежных оборотах замечаются явные заторы. Ощущается настоятельная необходимость в знаках, которые обращались бы наравне со звонкой монетой. Без быстрого обмена жизнь государственного организма хиреет, хиреем и мы сами.

Банковые билеты, или, другими словами, *бумажные деньги*, которые довели бы количество денег до равновесия со множеством нераспроданных товаров,—вот единственное, что сможет удовлетворить бесчисленные нужды столицы, так как изобилие денежных знаков должно отвечать изобилию потребностей; а потребности нас одолевают.

Свет, пролитый на эти обстоятельства,—хотя с ним и не хотят считаться—убеждает нас в том, что такой банк не должен иметь ничего общего с презренными билетами Ло*. Самое его шарлатанство послужит нам наукой; злоупотребление, допущенное Ло, сделает это мероприятие благотворным и полезным. Пусть вспомнят о деятельности, которую оно пробудило, и о кратковременном благоденствии, принесенном им при всем его уродстве. В наши дни, когда общественный разум руководит всеми расчетами и когда в этих расчетах не может произойти ошибки, один только детский страх может препятствовать введению во Франции *бумажных денег*, отсутствие которых не позволяет государству использовать все свои преимущества.

Я знаю, что в этом вопросе нельзя брать пример с Англии, так как всегда будет суще-

ствовать громадная разница между национальным и королевским долгом. Но можно было бы выпустить не государственные билеты типа билетов Ло, а банковские билеты в разумном, умеренном количестве, которые находились бы в обращении под наблюдением правительства; тогда последнее согласилось бы пользоваться общественным богатством, не накладывая рук на самую систему, питающую национальный банк.

Настанет день, когда будут удивляться нашей невнимательности и нашим слепым, упрямым предрассудкам, заставляющим нас пренебрегать наиболее простыми, гибкими и плодотворными средствами для достижения наивысшего процветания государства. Облигации займа не являются *бумажными разменными деньгами*, они составляют полную им противоположность; и королевский заем отнюдь не содействует производству.

17. Серебро

А наряду с этим невероятным недостатком в разменных знаках в Париже находится несметное количество золотых и серебряных вещей и всевозможных драгоценностей. Но все это богатство бездействует и потому в счет не идет.

Прибавьте к этому богатства, заключенные в церквах: там целые горы металла. Храмы и их украшения стоили родине страшно дорого. И как мог превратиться в такую роскошь простой культ, основанный апостолами?!

Подсчитайте также, сколько драгоценного металла поглощается фабриками позументов и шелковых, золотых и серебряных тканей.

В частных домах вы найдете целые пирамиды серебряной посуды. Мы жалуемся на недостаток в денежных знаках, а сами коверкаем свои богатства, превращая их в движимое имущество!

Нельзя начать никакого предприятия, никакого дела, не имея известной суммы звонкой монеты. Ее всячески используют, и в руках частных лиц не остается ничего; драгоценные же металлы, которые у нас имеются, становятся бесплодными, потому что не имеют никакого обращения. Как при таком положении покрыть все чрезвычайные расходы, когда ничего другого не делают, как только пользуются одними и теми же монетами, выкачивая их снова и снова; как можно, иначе говоря, заменить простой и легкий образ действий крайне трудной и утомительной процедурой?

У нас имеются громадные богатства, а мы всегда нуждаемся, потому что не умеем удвоить свое благосостояние, не умеем создать бумажных знаков, которые олицетворяли бы наше металлическое богатство, и это не дает нам возможности ни обрабатывать земли новыми способами, ни совершенствовать искусства, ни увеличивать население, ни добиться уважения соседей.

Если у нас будут только золотые табакерки, золотые игольницы, серебряная посуда, серебряные святые, ангелы и мадонны и не будет бумажных денег, мы очень скоро об-

нищаем; вспомним, что сказал Ла-Фонтен*: *Положите на их место камень: он будет вам столь же полезен.*

Золото и серебро, не находящееся в обращении, то есть не создающее денежных знаков, которые оно могло бы создать, приносит столько же пользы, как если бы оно находилось в недрах рудников. В быстром, оживленном обращении нуждаются не только наши финансы, но еще больше наша торговля.

Вместо всех крупных займов, которые полезны одним только богачам, следовало бы выпустить бумажные деньги, в которых нуждаются низшие классы. Такие деньги открывают дорогу бесчисленным отраслям промышленности, о которых не ведают правительства, не удваивающие своих богатств бумажными деньгами.

18. Веселость

Париж утратил теперь ту веселость, которой он отличался шестьдесят лет тому назад* и которая делала для иностранцев пребывание в нашей столице особенно приятным. В обращении парижан нет прежнего радушия; их лица не улыбаются, как прежде. Какая-то озабоченность сменила былое веселое и непринужденное настроение, свидетельствовавшее о большей простоте нравов, о большей чистосердечности и большей свободе. В обществе теперь уже не веселятся; сердитый вид, язвительный тон говорят о том, что жители столицы заняты мыслями о своих долгах и о способах выпутаться из беды.

Расходы, неразрывно связанные с роскошью и с погоней за излишествами, разорили всех, и все только и делают, что изворачиваются, чтобы как-нибудь покрыть издержки, вызванные широким образом жизни.

Дела, затруднения, заботы, планы—все это написано на лицах. В обществе восемнадцать человек из двадцати заняты измышлением способов найти деньги, и пятнадцать из них не находят ничего.

Смех и веселье порождаются умеренностью желаний, а ее больше не существует; теперь всем свойственна сдержанность, переходящая в сухость, а преобладание рассудка еще больше сушит сердца. Люди хотели бы казаться веселыми и довольными, но неподдельное беспокойство выдает их внутреннюю тревогу. Если еще где и предаются наслаждениям, то только в укромных уголках, вдали от всех, там, где вы одни и где разврат заменяет сладострастие. Там можно порой забыться, но быть счастливым нельзя.

19. Искусственные потребности

Не золото развращает нацию,—оно невинно и чисто в руках народа, живущего в простоте. Золото становится опасным, как только его ценность переходит известные границы из-за увлечения ложными удовольствиями.

Когда видишь, с каким пылом человек бросается в Париже в суетность роскоши, едва только она становится ему доступной, с какой

горячностью хватается он за мнимые наслаждения, без которых наши предки так легко обходились, сколько изощренности вкладывает он в этот новый вид удовольствий, как он им гордится и как презирает все, что не украшено ненужным блеском, делающим людей лишь более алчными и беспокойными,—тогда нельзя заглушить чувства опасения, что он подымет на смех добродетель, разум, умеренность, трезвость, совершенно позабудет о собственном достоинстве и падет ниц перед золотым тельцом. И все это ради наслаждений, которые, отнюдь не являясь необходимостью, в то же время повевают человеком властнее тех, которые свойственны ему от природы.

20. Буржуа

На том же основании, на котором не обнесенную стенами Гаагу называют деревней, можно было бы назвать деревней и Париж, так как вокруг него тоже нет стен.

Париж — всеобщий город: прирожденный парижанин не пользуется здесь большими преимуществами, чем только что переселившийся сюда китаец. Если бы я стал говорить о своих правах парижского гражданина, — я насмешил бы этим всех, вплоть до городских чиновников.

Парижанин начинает с того, что горячится в каком-то исступлении; а на другой день все обращает в смешную сторону, так как всегда ищет повода к шутке.

Вот уже около столетия, как он впал в состояние полной беззаботности относительно близко касающихся его политических вопросов. Это своего рода нравственный яд, который развращает сердце, расслабляет ум и смягчает—как излишнюю резкость—всякое проявление энергии. В Париже бояться всего выдающегося, всего *высокого* в какой бы то ни было области.

Здесь ограничиваются поверхностным зубоскальством надо всем, что кажется нелепым, благотворное же осуждение пороков стало всем ненавистно.

Регент, произведя шестьдесят лет тому назад полную пертурбацию состояний, произвел такую же пертурбацию и в нравах: именно в то время и начали предавать забвению все домашние добродетели.

Буржуа—торгаш, а не коммерсант; его занимают мелкие торговые расчеты, широкие же соображения и планы ему чужды. Он изо всего старается сделать аферу. Надо сказать, однако, что таможенная пошлина действительно страшно угнетает торговлю.

Едва вы ступите на парижскую мостовую, как вам становится ясно, что в законодательстве народ здесь не участвует: никаких удобств для пешеходов; тротуаров не существует. Простой народ производит впечатление обособленной единицы, отделенной от остальных сословий. Богатым и высокопоставленным лицам, имеющим собственные экипажи, предоставляется дикое право давить и калечить людей. Под колесами экипажей ежегодно умирает по сто человек. Равнодушные к несчастным случаям этого рода дока-

зывает, что здесь считают, что все должно служить славе и пышности великих мира сего. Людовик XV говорил: *Будь я начальником полиции, я запретил бы кабриолеты*. Сам же он считал такое запрещение ниже своего достоинства.

Если бы какому-нибудь мирному жителю Альп сказали, что существует город, граждане которого пускают лошадей во весь опор на своих сограждан и что они платятся за это только незначительной денежной суммой и могут на следующий же день начать сначала, он почел бы такого человека за лгуна и постарался бы поскорее изгнать из головы мысль о подобном варварстве.

Народ здесь вял, бледен, низкоросл, невзрачен; с первого же взгляда видно, что это не республиканцы, характер которых далеко не таков, какой присущ подданным монарха; последние изнеженны, сибариты, не обладают сильной волей и находят единственную утеху в обманчивых наслаждениях роскошью. Только республиканцам свойственна та внешняя суровость, тот резкий жест и оживленный взгляд, которые свидетельствуют о душевной бодрости и патриотизме.

Если гражданин не ходит по улице с высоко поднятой головой, если он не готов в любую минуту вступить в кулачный бой,—значит он утратил большую долю своей ценности; ибо государственные добродетели нуждаются в известной доли грубости! Такая грубость может оскорбить изнеженный взгляд, но это не мешает ей быть опорой государств, желающих, чтобы с их силой считались.

Живость и—если на то пошло—известная доля дерзости в характере народа всегда будут ручательством его искренности, честности, преданности. Как только народ перестает быть грубым и шумливым, он становится надменным, тщеславным, развратным, бедным и, следовательно, теряет в цене.

Я предпочитаю видеть его таким, каков он в Лондоне, где он дерется на кулачках и напивается в харчевнях, чем таким, каким вижу его в Париже: озабоченным, беспокойным, дрожащим, разоренным, не осмеливающимся поднять голову, довольствующимся самыми безобразными развратницами и то и дело готовым обанкротиться. Он беспутен, не будучи свободным, расточителен, не имея денег, преисполнен гордости при полном отсутствии смелости, а рабства и нищета накладывают на него свои постыдные цепи.

В Китае господствует палка; население там самое робкое, самое трусливое и самое вороватое во всей вселенной. Что касается населения Парижа, то оно бросается врассыпную, завидев ружейное дуло, заливается слезами перед чиновником полиции и становится на колени перед ее начальниками: для этого сброда начальник полиции—король.

Все эти люди думают, что англичане едят мясо сырым, что в Лондоне только и видишь, как жители топят в Темзе, и что ни один иностранец не может пройти по городу без того, чтобы не быть избитым насмерть.

Все политиканы, прогуливающиеся в саду Тюильри или по Люксембургской аллее, явля-

ются яркими англофобами и постоянно твердят о необходимости высадить в Англии десант, взять Лондон и сжечь его; и как ни смешны их взгляды на англичан,—они ничем не разнятся от взглядов высшего общества.

В Париже мы не можем ни говорить, ни писать и в то же время безмерно увлекаемся свободой американцев, находящихся от нас на расстоянии целой тысячи лье, причем, приветствуя их гражданскую войну*, мы ни разу не задумались о самих себе: потребность говорить увлекает парижанина, и все классы, от высших до самых низших, одинаково находятся под властью постыдных и прискорбных предрассудков.

Парижанин во многих отношениях сильно изменился: живший до начала царствования Людовика XIV совсем не похож на современного. Описания историков, правдивые для той эпохи, когда они писались, неприменимы к нашему времени. Парижанин наших дней обладает умом и познаниями, но у него уже нет ни силы, ни характера, ни воли.

Парижанин обладает редким талантом задавать иностранцу в очень вежливой форме самые неучтивые вопросы; любезно принимать его, чувствуя к нему полное равнодушие; не любя его, оказывать ему всяческие услуги и, презирая его в душе, восхищаться им.

Один танцор, ставивший свое имя непосредственно вслед за именем монарха-законодателя и человека всеобъемлющего ума, говорил: *Я знаю только трех великих людей: Фридриха, Вольтера и себя**. Эта фраза приводилась как

слова знатока людей, раздающего права на славу, и все парижане, вплоть до последнего прохвоста, считают теперь себя вправе указывать славе имена, которые она должна увенчать лаврами.

21. Население столицы

Господин де Бюффон* (я не буду называть его графом Бюффон, так как графов и без того слишком много) утверждает, что прирост парижского населения увеличился за последние сто лет на целую четверть и что этого вполне достаточно. Каждый брачный союз дает, по его словам, в среднем четверых детей; ежегодно заключается от четырех до пяти тысяч браков, а число крещений доходит до восемнадцати, девятнадцати и двадцати тысяч в год. Таким образом, число вступающих в жизнь, повидимому, равняется числу уходящих из нее; этим равновесием нельзя не восхищаться; оно говорит внимательному наблюдателю об определенном плане, соблюдающемся в круговороте жизни и смерти.

В Париже умирает в обыкновенные годы около двадцати тысяч человек, что, по данным того же Бюффона, дает население в семьсот тысяч жителей, если считать тридцать пять живых на одного умершего. Но в особо суровые зимы смертность увеличивается. Так, в 1709 году она возросла до тридцати тысяч, а в 1740—до двадцати четырех.

По тем же наблюдениям, в Париже рождается больше мальчиков, чем девочек, и умирает

больше мужчин, чем женщин, и не только пропорционально рождению детей мужского пола, но и значительно превышая эту пропорцию, так как из каждых десяти лет жизни на долю парижских женщин приходится одним годом больше, чем на долю мужчин. Таким образом, разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин столицы равна одной девятой. Поэтому простой народ называет Париж *раем женщин, чистилищем мужчин и адом лошадей*.

Бывают дни, когда из городских ворот выходит тесными колоннами до трехсот тысяч человек, из которых шестьдесят тысяч—в экипаже или верхом. Это бывает в дни парадов, общественных празднеств и народных гуляний. По прошествии шести часов вся эта несметная толпа рассеивается; каждый возвращается к себе, и площадь, только что запруженная народом до такой степени, что под его натиском были снесены все заграждения, превращается в пустыню: каждый находит себе пристанище—свой угол.

В день гулянья в Лон-Шан в городе не остается ни души, какая бы погода ни была. В этот день принято выставлять на показ всему Парижу свои экипажи, своих лошадей и лакеев. На прогулке не делают таких глубоких поклонов, как в гостиных,—они носят отпечаток легкости, который не в силах перенять ни один самый ловкий иностранец.

После катастрофы, имевшей место десять лет назад на площади Людовика XV, когда погибло от неудачного фейерверка от полу-

торы до тысячи восьмисот человек,—на всех празднествах царит такой порядок, что нельзя в достаточной мере расхвалить бдительность и умение распорядителей.

Видя такое громадное стечение народа, поражающее даже самых привычных к подобным зрелищам людей, уже не удивляешься тому, что один только Париж приносит французскому королю около ста миллионов в год—считая тут все: ввозную пошлину, десятину, подушную подать и все прочие казенные обложения, названия которых могли бы составить целый словарь. Эта устрашающая сумма, которую дает один только город, накапливается ежегодно, и французские монархи не без основания говорят о столице—*наш добрый Париж*: это, действительно, хорошая дойная корова. В царствование Людовика Толстого * ввозная пошлина приносила в Париже тысячу двести ливров в год.

Двор внимательно прислушивается к разговорам парижан. Он называет их *лягушками*. *Что говорят лягушки?*—нередко осведомляются друг у друга царственные особы. Но когда при их появлении на каком-нибудь зрелище или на дороге Сент-Женевьев «лягушки» им аплодируют, они бывают очень довольны. Иногда же «лягушки» карают их молчанием, и по тому, как держат себя парижане, принцы действительно могут судить о том, какого о них мнения народ. Как веселое, так и равнодушное настроение толпы выражается здесь всегда очень ярко. Предполагают, что принцы потому особенно чувствительны к приему, оказываемому им столицей, что смутно чувствуют, что в этом

многолюдстве скрывается и здравый смысл и ум, а также и люди, способные оценить и их самих и их поступки; люди же эти, неведомо как, влияют на суждения черни.

В некоторых случаях полиция нанимает горластых крикунов и расставляет их по городу, чтобы подзадорить население, подобно тому как она подкупает ряженых во время масленичного карнавала. Но подлинные выражения народного одобрения носят всегда характер неподражаемой непосредственности.

В настоящее время заканчиваются работы над десятым планом Парижа; но город все ширит свои границы, которые до сего времени не установлены, да и не могут быть установлены.

Я теряюсь в этом огромном городе и уже не узнаю некоторых новых кварталов: огороды, поставляющие столице овощи, отодвигаются все дальше и дальше и уступают место зданиям. Шайо, Пасси и Отейль уже тесно слились со столицей; еще немного—и к ним присоединится и Севр, и, если через столетие границы Парижа расширятся с одной стороны до Версаля, с другой—до Сен-Дени, а со стороны Пикпюса до Венсена, то получится чисто китайский город.

22. Соседство

Здесь вы очень далеки от своего соседа и о его смерти порой узнаете только из объявлений или потому, что, возвращаясь вечером домой, видите, что он вынесен на порог дома. Два человека, оба пользующиеся громкой из-

вестностью, могут прожить в этом городе целые двадцать пять лет, не зная друг друга и никогда не встречаясь; ваш соперник, ваш враг может всегда оставаться для вас невидимым, так как, прежде чем войти в какой-нибудь дом, вы можете узнать, там он или нет. Никогда не видеть его зависит исключительно от вас; вот почему самые близкие родные, поссорившись, могут, живя на одной и той же улице, считать себя за тысячу лье друг от друга.

Вот что рассказывают по этому поводу о бенедиктинце отце Жаке Мартене*: господин Деланд*, автор *Критической истории философии*, раскритиковал как-то его произведения; отец Мартен, не выносивший критики, разразился бранью по отношению к г-ну Деланду, а так как последний отличался очень мягким, снисходительным и в то же время честным и прямым характером,—одна его знакомая решила попытаться заставить отца Мартена переменить свое мнение о человеке, к которому он относился с такой враждебностью. Под именем Д'Оливье г-н Деланд несколько раз обедал в обществе отца Мартена и однажды, когда он завел разговор о г-не Деланде, отец Мартен воскликнул: *Вы человек большого ума, больших знаний и обладаете редкой правильностью суждений; что же касается Деланда, то это самое невежественное и жалкое существо.* Произошла забавнейшая сцена, и я не сомневаюсь, что она не раз еще повторится среди писателей, относящихся друг к другу с крайней враждебностью из-за каких-нибудь мелких уколов самолюбия.

Однажды Эли-Катрину Фрерону*, которого Франсуа-Мари Аруэ-Вольтер в лицо не знал, предложили отправиться в Ферне и под вымышленным именем познакомиться с великим поэтом. Но Фрерон не решился так подшутить над автором *Шотландки*.

Вольтер, боясь сарказмов Пирона*, всячески избегал встреч с ним; пока он жил в Париже, это ему неизменно удавалось, и встреча, которую ждали и подготавливали многие шутники, так и не состоялась.

Здесь неприязнь не носит того страстного характера, каким она отличается в маленьких городах, потому что в Париже можно избегать своих врагов и соперников, а не видя их, легко о них забываешь.

Злоба здесь так же скоро проходит, как и любовь, и всем вообще страстям—как хорошим, так и дурным—не хватает той глубины, которая делает их или возвышенными, или ужасными.

23. Печные трубы

Пользование огнем,—говорит г-н Бюффон,—очень способствует образованию искусственной температуры, наблюдаемой повсюду, где живет большое количество людей. В Париже в сильные холода градусники в предместье Сент-Оноре показывают на два-три градуса больше, чем в предместье Сен-Марсо, потому что северный ветер смягчается, проносясь над многочисленными трубами.

Потребление дров приняло в Париже ужасающие размеры и угрожает, как говорят, в недалеком будущем дровяным голодом. Тот, кто придумал сплавливать дрова по рекам, заслуживает того, чтобы ему поставили в ратуше памятник; но городские головы предпочитают выставлять там свои собственные изображения— в париках, в жестких, натянутых, коленопреломленных позах. А между тем, не будь этого удачного изобретения, население столицы никогда не достигло бы такой численности.

Сплавные дрова, сложенные в колоссальные поленицы с целые дома вышиной¹, исчезают в течение каких-нибудь трех месяцев. Перед вами многочисленные пирамиды таких дров— квадратные и треугольные; сначала они заслоняют вид на окрестности, но постепенно их вымерят, унесут, распилят, сожгут, и скоро останется только место, где они лежали.

В прежние времена вся домашняя прислуга грелась возле общего очага; в наши дни у горничной своя печка, у воспитателя—своя, у дворецкого—своя и т. д.²

Даже тот, кто придает особое значение вежливости, теперь не стесняется в присутствии дам греть себе руки и спину, став перед камином

¹ «Церковная газета» долго печаталась в недрах одной из таких полениц; типографские рабочие были переодеты в пильщиков и грузчиков, так что полицейские сыщики находились в полном заблуждении.

² Николь * в старости не решался выйти на улицу из боязни быть раздавленным какой-нибудь обрушившейся печной трубой; он трепетал при мысли о множестве высоких труб, венчающих наши крыши.

и заслоня собой, таким образом, огонь и тепло от всех присутствующих. В этой замашке есть нечто оскорбительное.

24. Обоснованные опасения

Когда подумаешь, что в Париже живет около миллиона человек, скученных в одном пункте, и что этот пункт не представляет собой приморского порта, то, действительно, можно испугаться за дальнейшее существование его населения. Когда же к этому присоединится еще мысль о том, что так называемую торговлю (которая по существу есть не что иное, как ограниченный данной местностью непрерывный ажиотаж) со всех сторон стесняют, сжимают, обуздывают, то чувство страха еще более усиливается. Тогда существование этого великолепного города кажется крайне непрочным, так как несколько причин, независимых одна от другой и не нуждающихся в объединении, могут вызвать в нем голод, не говоря уже о разных других политических бедах, которым может подвергнуться Париж.

Нет сомнений в том, что отныне парижанин будет получать хлеб, только пока булочникам будет разрешено иметь муку, и что существование города будет зависеть от владельца вод Сены и Марны *.

Как найти средства помочь множеству нуждающихся, единственным залогом существования которых является развращающая роскошь великих мира сего? Каким образом со-

хранить жизнь этой массе людей, которые стали бы громко жаловаться на голод, едва только прекратились бы некоторые существующие сейчас злоупотребления? Всепожирающая роскошь, губя человеческий род, временно удерживает на краю могилы тех, кого она постепенно истребляет; они умирают не сразу, а мало-по-малу.

В столице можно увидеть людей, которые тратят всю жизнь на изделие детских игрушек; целые армии ремесленников заняты изготовлением лаков, позолоты, всевозможных мелочей женского туалета; сто тысяч рук занимаются днем и ночью приготовлением конфет и разных сластей, а пятьдесят тысяч других с гребнем в руках ждут пробуждения праздных людей, которые прозябают, думая, что живут, и, чтобы чем-нибудь преодолеть овладевающую ими скуку, переодеваются по два раза в день.

25. Политическое лицо истинных парижан

Париж всегда проявлял полнейшее равнодушие к политическим вопросам. Он предоставлял своим королям делать все, что им только заблагорассудится, и одним лишь студентам случалось иногда поднять здесь бунт, так как студенты никогда не пользовались полной свободой, но и не были вполне порабощены. Парижане отстраняют от себя ружья водевилями*; сковывают королевскую власть островами и эпиграммами, а своего монарха то наказывают молчанием, то приветствуют и тем са-

мым отпускают ему грехи. Когда они им недовольны,—они не кричат: *Да здравствует король!*, а когда довольны, наоборот—награждают его радостными возгласами. В этом отношении рынок обладает непогрешимым чутьем. Рынок создает репутацию монархам, и философ, все взвесив и обдумав, к удивлению своему убеждается, что рынок прав.

Парижане, повидимому, инстинктом догадались, что малость свободы не стоит того, чтобы добиваться ее путем долгих размышлений и усилий. Парижанин быстро забывает вчерашние несчастья; он не запоминает своих страданий; у него достаточно веры в самого себя, чтобы не опасаться чрезмерного деспотизма. Он проявил много силы воли, много терпения и смелости во время последней борьбы трона с законом*; осажденные города иногда проявляли значительно меньше храбрости и упорства.

В общем парижанин мягок, честен, вежлив, податлив, но не нужно принимать его легкомыслие за слабость; он добровольно поддается обману, но только до известного предела, и мне кажется, что я достаточно хорошо его знаю, чтобы утверждать, что, если вывести его из себя, то сломить его настойчивость уже не удастся; вспомним Лигу и Фронду. До тех же пор, пока его страдания будут терпимы, он будет мстить только куплетами и острыми словечками; он будет молчать в общественных местах, но возьмет свое в разговорах у себя дома, где ему обеспечена тайна.

Париж живет в полном неведении исторических событий, достойных глубокого размыш-

ления. Город забыл, что в пятнадцатом столетии в нем хозяйничали англичане*; что в нашем веке Мальборо*, прорвавшись сквозь линию войск Виллара* (под Бушеном), проложил себе дорогу к столице и что только случайно счастливый исход одного сражения сохранил столицу в неприкосновенности. Париж имеет такое же смутное представление о Лондоне, как и о Пекине.

26. Совершенные зеваки

Откуда взялось прозвище *зеваки*, которым награждают парижан? Получили ли они его за то, что тузили в спину норманнов*? Перешло ли оно к ним от старинного названия городских ворот Baudaye или Badaye? Или, наконец, дано им за веселый нрав? Какова бы ни была этимология этого слова, им желают, очевидно, сказать, что парижанин, не покидающий своего домашнего очага, смотрит на мир через маленькую щелку, что он восхищается всем чужеземным и что в его восхищении есть доля глупости и нелепости.

Желая посмеяться над невежественностью и беззаботностью некоторых парижан, которые выезжают из дома только в младенчестве, отправляясь не надолго в деревню к кормилице, которые не осмеливаются покинуть привычного им вида на Пон-Нёф и на Самаритен* и считают соседние страны за самые далекие, один писатель лет двадцать тому назад написал маленькую брошюрку, озаглавленную: *Путешест-*

вие морем из Парижа в Сен-Клу и возвращение сухопутным путем из Сен-Клу в Париж*. Привожу из нее маленькую выдержку:

«Парижанин, предпринимая это дальнейшее путешествие, берет с собой весь свой гардероб, запасается провизией, прощается с друзьями и родными. Помолившись всем святым и вверив себя защите своего ангела-хранителя, он занимает место на *галиоте**,—для него это линейный корабль. Ошеломленный быстротой хода, он осведомляется, скоро ли они повстречаются с *Индийской компанией**, принимает прачечные плоты в Шайо за один из восточных портов, считает, что он теперь далеко от родины, с нежностью думает об улице *Телки* и проливает горючие слезы.

«Созерцая *безбрежные моря*, он удивляется, что треска так дорога в Париже; ищет глазами мыс *Доброй Надежды*, а завидя вьющуюся красную полосу дыма над Севским стекольным заводом, восклицает: *А, вот и Везувий, о котором мне говорили!*

«Приехав в Сен-Клу, он идет к обедне, возносит благодарственные моления, описывает своей дорогой мамаше все свои страхи и злоключения, а именно описывает, как дорогой, усевшись на груди только что просмоленных канатов, он прилип к ним своими прекрасными бархатными штанами, да так крепко, что смог подняться, только распростившись со значительным куском этой части туалета. В Сен-Клу он постигает обширность земного шара и начинает понимать, что одухотворенная природа тянется и за пределами Парижа».

Возвращение сухопутным путем написано в том же духе. Изумленный и восхищенный парижанин узнает дорогой, что селедка и треска не ловятся в Сене и что Булонский лес не тот древний лес, где некогда жили друиды*. Прежде он гору *Мон-Валериен** принимал за вершину Голгофы, на которой Иисус Христос пролил свою драгоценную кровь; теперь его вывели из этого заблуждения. Видя несколько колоколен, он выводит мудрое заключение, что находится еще *среди католиков* и что, следовательно, его вера в полной безопасности. Он видит оленя и молодую косулю; это его первый шаг в область *естественной истории*. Он слышит название «*Мадрид*»* и поспешно вопрошает: *Столица Испании?* Ему отвечают, что замок, в котором был заточен в Испании Франциск I*, находится не здесь. Такой ответ удивляет его и задает изрядную работу его умственным способностям.

Он хороший патриот и никогда не отрекается от родины; всем встречным он объявляет, что он *коренной уроженец Парижа*, что его мать торгует шелковыми тканями под вывеской *Золотой Бороды* и что один из его двоюродных братьев—нотариус.

Он возвращается в семью, где его встречают радостными криками; тетки его, ни разу за последние двадцать лет не бывавшие в Тюильри, восхищаются его отвагой и смотрят на него как на одного из самых бесстрашных путешественников.

Такова эта шутка, имевшая в свое время успех, так как в ней описана с природы врожденная глупость истинного парижанина.

Прибавим, что по возвращении к родному очагу ему все еще не хватает многих знаний, так как нельзя же все изучить! Вот почему он не может отличить в поле ячмень от овса и лен от проса.

Я видел честных буржуа, к тому же знакомых с театральными пьесами и хороших *раси-нистов**, которые на основании виденных ими эстампов и статуй твердо верят в существование *сирен, сфинксов, единорогов и феникса*. Они говорили мне: *Мы видели в одной кунстка-мере рога единорогов*. Пришлось им объяснить, что это были останки морской рыбы. Поэтому парижан нужно не обучать уму, а *отучать от глупости*, как говорил Монтень*.

Тот олух, которого разбудили спозаранку, чтобы показать ему *равноденствие, плывущее на облаке*, был парижанином*.

27. Мещаночки

Ухаживать за девушкой на буржуазном языке означает искать ее руки. Молодой человек является в дом ее родителей в воскресенье, после вечерни, и садится играть с ними *в муш-ку**. Он проигрывает, но не ворчит, а просит разрешения придти опять. Это разрешение ему дается в присутствии дочери, которая жеманится и поджимает губки.

В следующее воскресенье, если только погода этому не препятствует, он устраивает небольшую прогулку. Признанный за человека с *намерениями*, он получает право беседовать

со своей будущей половиной, идя на расстоянии пятидесяти шагов впереди родителей. На опушке рощицы происходит торжественное объяснение, ни мало не удивляющее красотку.

Жених всегда безукоризненно завит, всегда в прекраснейшем настроении, и девушка мало-по-малу начинает его любить. К тому же она знает, что для нее замужество—единственный путь к свободе. В присутствии жениха все в доме говорят только о добродетелях, которые с незапамятных времен царят в этой семье.

Но является препятствие. Родители жениха находят ему более выгодную партию, и все его планы рушатся. Девушка уязвлена, но скоро утешается. С ней это случается уже в третий раз, и, подкрепляемая наставлениями матери, она вооружается благородной гордостью.

Появляются другие женихи, но когда дело доходит до контракта, снова возникают затруднения. Между тем девушке наступает уже *двадцать первый год*; колебаться больше нельзя; отцу приходится уступить, так как он знает, что *залежалый товар теряет цену*, не говоря уже о возможности непредвиденных случайностей.

Девушка начинает дуться и первому же, кто ей делает теперь предложение, дает согласие. В течение каких-нибудь трех недель все устраивается. Девушке предстоит удовольствие рассказывать всем, что ей делали предложения по меньшей мере пятеро прекрасных женихов,—она не прибавит, конечно, что четверо из них от нее отказались.

Рассудительные родители находят, что она еще достаточно молода, чтобы наградить семью толпой малышей, которых им придется крепить.

Мать, завидовавшая своей дочери с тех пор, как та выросла, и стремившаяся выдать ее замуж, чтобы поскорее от нее отделаться, но не желающая в то же время терять над ней своей власти, начинает поучать зятя, выставляет свою дочь ветреницей, не унаследовавшей ни одного материнского качества и требующей неослабного наблюдения внимательной матери.

Она предлагает вести их хозяйство. Зять не знает, что Ювенал* сказал: *Если хотите иметь в доме мир, то не позволяйте теще давать вам советы.* Его крайне удивляют возникающие месяца через три раздоры между матерью и дочерью. Муж становится на сторону жены, выпроваживает тещу и рассказывает о своих огорчениях всему околотку. Теща рассказывает в свою очередь. Мнения соседей разделяются.

При появлении на свет второго ребенка происходит примирение; обе стороны проливают слезы; соседи удовлетворены, семейка процветает.

Старая, мать забывает власть, которой она чересчур злоупотребляла, и заключает с дочерью союз против зятя, которого она побаивается, но не любит. Внучата ее очаровательны, умны; но все это, по ее словам, они унаследовали от бабушки и дедушки.

В общем мешаночка должна быть очень сдержанной и добродетельной, чтобы не завидовать

богатству и блеску той или иной куртизанки, которую она видит раздетой в роскошные туалеты. Она не хотела бы быть содержанкой, но порой вздыхает, думая о свободе, которой они пользуются в выборе любовников. Без борьбы нет добродетели, и мещаночка, которая борется и выходит победительницей, заслуживает всеобщего уважения. Надо сказать, что в этом сословии оно ценится женщинами больше, чем во всяком другом.

28. Новобрачная

Клеон встречает Дамиса, обнимает его, душит в объятиях и говорит: «Я счастливейший из смертных: я женюсь на девушке, которая только что вышла из монастыря и, можно сказать, никого еще, кроме меня, не видала. На ее челе печать нежности и доброты. Нельзя быть непосредственней, наивней и скромней. Глаза ее боятся встретиться со взглядами, которые приковывает к себе ее красота. Когда она говорит,—милый румянец заливает ее лицо, и эта застенчивость только усиливает присущее ей очарование, так как я убежден, что она вызвана скромностью, а не недостатком ума. Бедствия, обрушивающиеся на род человеческий, находят в ней отклик: она не может слушать о них спокойно. Как сладостно видеть, как она проливает слезы по поводу несчастий ближних. Нет на свете души более чувствительной, более нежной, более любящей. Она будет жить, дышать только для меня; она с любовью будет



Интимный ужин

С гравюры Эльмана по рисунку Моро младшего

исполнять свой долг, и это сделает меня счастливейшим из мужей».

Клеон женится. Спустя шесть месяцев он опять встречается с Дамисом, но ничего не говорит ему о своей жене. От других же Дамис узнает, что *ангел*, выйдя замуж и не считая больше нужным себя стеснять, заменил скромность—гордостью, застенчивость—дерзостью и если порой еще и краснеет, то лишь от строптивости или досады. Дамис узнает, что у нее в доме своя половина, что она проводит время в обществе маркизы, баронессы и президентши; что она переняла их высокомерный и презрительный тон; что она насмехается над мужем, при малейшем прекословии с его стороны выходит из себя и отзывается о нем как о ревнивце, грубияне и скряге.

Она не встает раньше двух-трех часов полудни, а ложится в шесть утра. Раньше пяти часов дня она не выходит из дома. О ней говорят, что она бывает весела и любезна только за интимными ужинами, когда царит полная непринужденность. Достоверно не знают имени ее любовника, и это особенно удручает мужа. Ему приходится желать, чтобы жена нашла себе такового, так как он мог бы через его посредничество убедить ее относиться разумнее к вещам, от которых зависит благосостояние семьи, то есть самый важный вопрос, поглощающий в наши дни все остальное.

Она разговаривает с мужем только в многолюдном обществе, там она ему улыбается; дома же неделями с ним не разговаривает и не видит его. Все женщины торопятся заявить,

что она ведет вполне благопристойный образ жизни и что муж ее должен считать себя *счастливецем*, имея такую разумную жену.

29. Парижанин в провинции

Покинув Париж и приехав в провинцию, парижанин не переставая рассказывает о столице. Все, что он видит, он сравнивает с привычками и обычаями, существующими в Париже, и находит нелепым все, что отличается от последних. Он желает, чтобы в угоду ему все переменили взгляды. О дворе он говорит так, точно хорошо его знает; о писателях — как о своих приятелях; об обществе — словно именно он и задает ему тон. Он знаком с министрами, с чиновниками, он пользуется у них значительным доверием; имя его известно всем. Все его разговоры сводятся в общем к тому, что нигде, кроме Парижа, нет ни талантов, ни знаний, ни учтивого общества.

Все это он рассказывает взрослым и здравомыслящим людям. Он или считает их за дураков, или мания превозносить себя так его ослепляет, что он не видит, до какой степени легко было бы уличить его в заблуждениях и во лжи. Но он воображает, что возвысит себя в глазах всех, говоря с похвалой только о Париже и о дворе.

Известный стих: *Для провинциальных глаз ее глаза недурны.* парижанин, сам того не зная, применяет ко всему, что находится вне его кругозора; приехав в Бордо и Нант, он говорит: *Гаронна и Луара* для провинциальных рек недурны!*

30. О времени

Некоторые живут весь день,—это мудрецы, мыслящие люди. Другие живут полдня,—это люди деловые. Больше же половины городских жителей живет всего только три-четыре часа в день,—это женщины; они приятно проводят время только по вечерам.

Нужно иметь ум, чтобы не скучать или, по крайней мере, скучать меньше других. Человек, смотрящий здраво на вещи, извлекает пользу из всех уз, накладываемых на него положением или состоянием. Тут он находит пользу для самообразования; там—наслаждается удовольствиями, доставляемыми обществом. В одном месте он хлопочет, осуществляет свои надежды, изощряется в оказании тех или других услуг; в другом—проникается духом соревнования, необходимым для того, чтобы честным трудом накопить себе состояние; в третьем—находит побуждение к развитию, к украшению своего ума; в четвертом—изучает человеческие сердца, наблюдает движущие их пружины. Он извлекает для себя пользу из всех своих открытий; он научается познавать человека.

Но к Парижу можно применить слова Плиния о Риме: *Mirum est quam singulis diebus in urbe ratio aut constet, aut constare videatur, pluribusque iunctis non constet**. «Удивительно, как здесь идет время! Возьмите каждый день в отдельности: не окажется ни одного незаполненного; соедините их все вместе, и вы изумитесь, увидав, до чего они пусты!»

Есть не мало праздных людей, которые с тру-

дом находят чем бы убить время и прибегают ко всевозможным хитростям, чтобы достигнуть этого.

31. Вежливые мошенники.—Воры

Всевозможные мошенники, рассеянные по провинции, отправляются в столицу, как на сцену обширного театра, где они смогут развернуть свой талант, действовать в более широком масштабе и где встретят больше простаков.

Так как они изучили все способы обманывать легкоеверие, то обычно выбирают себе жертву из среды юношей, которые, находясь в периоде увлечения и доверчивого отношения к людям, с открытой душой идут навстречу их искусным приманкам. Они знают, что прежде всего нужно ослепить жертву блеском роскоши, и пользуются поэтому разнообразнейшими внешними эффектами.

Стараясь понять дух различных классов, они одинаково льстят предрассудкам каждого. Самолюбия у них нет. Они меняют речь в зависимости от того, с кем говорят. Они никогда никому не противоречат, всегда покладисты, терпеливы, льстивы; у них *золоченые языки*, как говорят в народе. И народ иногда умеет распознать их лучше, чем представители хорошего общества.

Единственная их цель — приобретение денег; они с первого же взгляда узнают того, у кого они водятся. У них всегда имеется наготове какой-нибудь план, какое-нибудь выгодное предприятие, которое должно увеличить ваше

состояние во сто раз. Коснувшись этой темы, они становятся красноречивы и говорят о вашем будущем богатстве как о чем-то вполне обеспеченном; сами же они, по их словам, всегда преуспевают. В разговоре они кстати ввертывают имена тех или иных должностных лиц. У них всегда в запасе анекдоты, способные возбудить ваше любопытство. Они не злоречивы, ни на кого не клеветают; в их шутках никогда не бывает горечи; все это потому, что их обхождение так же обдуманно, как и их хитрые речи, и потому, что им решительно безразлична чья бы то ни была репутация, а занимают их исключительно лишь кошельки податливых людей.

Один заводит знакомство с игроками, подкупает кого-нибудь из них добровольными проигрышами и, заманив его, обирает с помощью смелых, заранее обдуманных мошеннических приемов.

Другой снимает целый особняк, приобретает красивые экипажи, ходит по лавкам. Вначале он расплачивается безо всяких проволочек, а вскоре заводит разговоры и о заказах для заграницы. Дело быстро налаживается. Ему предлагают всевозможные товары; он этим пользуется, а тем временем потихоньку все распродает. А когда приносят счета,—ищите его! Его и след простыл!

Третий рассказывает об исключительном доверии, которым он якобы пользуется, показывает настоящие или поддельные письма, обещает места и берет деньги взаймы.

А наиболее коварному удастся заручиться планами и проектами, наполовину рассмотрен-

ными, наполовину принятыми должностными лицами, к которым у него иногда бывает доступ. Об этом знают и со всех сторон ссужают его деньгами для ускорения и облегчения тех или иных дел. Он набивает себе карманы и в один прекрасный день спасается в Голландию, где меняет фамилию и широко пользуется всем, что ему удалось наворовать под маской честности и богатства.

Несколько лет тому назад один лицемер, кассир в почтовом управлении, обворовал целый город. Все поплатились своими деньгами, и утешением им послужило только то, что в конце концов они увидели вора в железном ошейнике. Но ему удалось вырваться из цепей; он приобрел себе неподалеку от Льежа великолепное поместье и живет там богатым землевладельцем.

Не так давно один уже клейменный мошенник выдавал себя за *иностранного барона*, ведущего крупное коммерческое предприятие. Он поселился в одном из лучших домов, нанял приказчиков, пригласил к себе купцов и, сделав вид, что пренебрегает всеми их предложениями, потребовал себе более редких и ценных тканей.

На следующий день его сообщник, лакей, отправился к купцам, которых он выпроводил накануне, и, отзываясь в самых хвалебных выражениях о своем господине, принялся рассказывать о его богатстве, о доверии, которым он пользуется, о его громадных связях и уверял, что он может обогатить любую торговую фирму, с которой имеет дела.

Настолько непривычно, чтобы лакей хорошо

отзывались о своих господах, что все прониклись глубоким уважением к поддельному барону и поспешили отнести к нему самые редкие товары. Ему оставалось только выбрать.

После некоторого размышления он заявил, что все это ему вполне подходит, так как он успел получить новые заказы, а все вещи, предназначенные для чужих стран, должны пройти через его руки.

Барышники и барышницы, всегда готовые покровительствовать мошенничеству и замести следы воровства, раскупили за бесценок эти товары; вот каковы были все эти Мадриды, Вены, Лиссабоны, Копенгагены, которыми он уснащал свою речь.

Уличенный в мошенничестве, он был приговорен к девятилетним каторжным работам и к ударам плетью; его заклеямили, предварительно продержав в течение трех дней сряду в железном ошейнике. Его лакей, присутствовавший при исполнении этого приговора, был сослан.

Все эти искусные мошенники, артистически исполняющие всевозможные уловки и хитрости, называют себя *графами, маркизами, баронами* и чаще всего—*кавалерами*. Вот почему человека, живущего без работы и не получающего никаких доходов, принято в насмешку называть *кавалером ордена легкой наживы*.

За этими крупными мошенниками следуют карманные воры, которые проделывают руками то, что другие—языком. Они всегда находят способ или отвлечь ваше внимание каким-нибудь предметом, или привести вас в замеша-

тельство, или заставить вас сделать движение, которое благоприятствовало бы их плану. Проходит секунда, и ловкий вор уже стащил вашу табакерку или часы; вы замечаете это, кричите, а он преспокойно стоит около вас, не выражая никаких признаков волнения: часы или табакерка уже успели перейти в другие руки, а вор громит во всеуслышание отсутствие бдительного надзора в общественных местах!

Когда приходят с обыском к такому субъекту, то находят у него пятьдесят шесть карманных часов, тридцать табакерок, двадцать бонбоньерок—целую лавку! Его привлекают только драгоценные вещи; кражу носовых платков он представляет дрянным мальчишкам, которых сначала не тревожат, а впоследствии вербуют в полицейские шпионы; что же касается взрослого карманного вора, то он является главой шайки, которая действует—не прибегая к насилиям—в партерах театров и особенно у театральных подъездов.

Иногда на улице такой жулик бросается бежать сломя голову прямо вам навстречу, и, чтобы не быть сбитым с ног, вы принимаете его в свои объятия. Он страшно извиняется, вы ему так же вежливо отвечаете, а в этот краткий миг он уже успел выхватить у вас часы и бежит дальше. Вам этого и в голову не могло придти: вор был на вид вполне приличный человек.

Если у вас украли какую-нибудь ценную вещь, — вы обращаетесь в полицейский участок. Существуют различные остроумные способы возврата краденого, и иногда табакерка,



В вестибюле Оперы
С гравюры Мальбета по рисунку Моро младшего

совершив путешествие ввести лё, возвращается обратно в карман своего владельца. Каким образом? Каким?! Но разве я обязан вам рассказывать все дочиста?!

Иногда с вором вступают в любовную сделку: объявляют в газете, что такая-то вещь *потеряна*, и обещают нашедшему *вознаграждение*. Исчезнувшую драгоценную вещь приносят вам на дом, и вы добросовестно выполняете данное вами обещание.

В продаже имеется брошюра, озаглавленная: *Ловкости Парижа, или парижские анекдоты, повествующие о хитростях, к которым прибегают интриганы и некоторые хорошенькие женщины для обмана простаков и иностранцев*. В этой брошюре рассказывается о некоторых приемах, которыми ежедневно пользуются праздность и дерзость для обмана неопытности. Прочтите ее. Пролить яркий свет на все эти темные плутни—значит одновременно и поставить преграды на их пути и дать добрый совет государственным людям, указав им на постыдные способы, к которым прибегают люди в тех случаях, когда им не дают возможности существовать честным трудом.

32. Парикмахеры

Наши предки не предоставляли каждое утро и на довольно продолжительное время своей головы в распоряжение парикмахера, праздного болтуна. Побриться и придать усам—украшению их мужественных лиц—воинственный вид—вот в чем состоял весь их туалет. Но

вот уже два столетия, как мы поддались соблазну подражать женщинам в искусстве завивки волос, искусстве, которое придает нам женоподобную, не свойственную нашей природе внешность.

Где то время, когда какой-нибудь brave малый, нуждаясь в деньгах, расставался со своими усами и отдавал их под залог заимодавцу, вместо того чтобы выдать ему вексель? Не было более надежной закладной! Заимодавец спал спокойно: долг неизменно уплачивался в назначенный срок.

Правда, мы больше не следуем нелепому обычаю прятать голову под искусственными волосами и украшать юное чело громадной копной чужих волос; лысый старческий череп больше не появляется в этом странном уборе; зато страсть к завивке охватила все сословия: рассыльные в лавках, писаря прокуроров и нотариусов, лакеи, повара, поварята — все густо припудривают голову, все устраивают себе прически либо в виде остроконечного пучка, либо в виде многоэтажных локонов, а запах духов и душистой пудры встречает вас как в первой попавшейся на перекрестке лавчонке, так и в квартире столичного щеголя, одетого по последней моде.

Какую это создает пустоту в жизни граждан! Сколько зря потраченного рабочего времени! Сколько мгновений отнимают все эти парикмахеры и парикмахерши у нашего кратковременного существования!

Когда подумаешь, что пудра, которою двести тысяч человек посыпают себе волосы, бе-

рется за счет питания бедняков; что мука, употребляемая для париков судейских и щеголей, на букли офицеров и на колоссальные прически уличных гуляк, могла бы накормить десять тысяч несчастных; что вещество, взятое из пшеничных зерен, которые лишаются тем самым своих питательных частиц, бесплодно гибнет на затылках стольких бездельников, — тогда нельзя не возроптать на моду, заставляющую волосы терять свой природный цвет.

Тысяча двести парикмахеров, объединенных в цех, получивший привилегию еще при Людовике Святом, пользуются услугами приблизительно шести тысяч мальчиков-подмастерьев. Две тысячи других парикмахеров занимаются этим же ремеслом у себя на дому, под страхом попасть в Бисетр*. Шесть тысяч лакеев помимо этой работы не знают никакой другой. Сюда же нужно включить и парикмахерш. Все эти люди существуют только благодаря папильоткам и щипцам. Наши парикмахеры—лакеи с гребенкой в руках и бритвой в кармане—наводнили Европу. Они кипшмя кишат в России и по всей Германии. Эта шайка цырюльников, набивших себе руку, это племя лжецов, интриганов, наглецов, порочных малых, провансальцев и гасконцев по преимуществу, занесла за границу такую порчу нравов, что наделала вреда больше, чем солдатские штыки.

Наши танцоры, наши певички и повара пошли по их стопам и не замедлили подчинить нашим модам и обычаям соседние народы. Вот победители, прославившие повсюду имя Франции и тем самым отомстившие за ее политические

неудачи! Наши соседи могли бы написать целый трактат о вреде, причиняемом их странам нашествием парикмахеров, и о благе, которое получилось бы от решительного и быстрого изгнания этих проходимцев.

33. Разносчики соли

Когда я вижу разносчиков соли, мне вспоминается, что они пользовались некогда привилегией переносить на своих плечах тела усопших королей вплоть до места их погребения в аббатстве Сен-Дени, потому что обладали искусством *разрезать эти тела на части, варить их в воде и затем солить*, что в крайне грубой форме заменяло утраченное искусство бальзамирования; впоследствии это искусство было восстановлено, но далеко не в прежнем совершенстве.

Таким способом были *посолены* и Филипп Длинный и Филипп Валуа—первые короли, обложившие пошлиной предмет первой необходимости, торговля которым до них разрешалась всем. Природа давала нам этот товар даром,—короли стали нам его продавать. В Париже осьмина соли стоит шестьдесят ливров семь су. Сколько слез, сколько крови было пролито в связи с установлением пошлины на соль! Потребовались виселицы и колеса, для того чтобы поддерживать монополию на соль. Сейчас она составляет главное богатство французских монархов, но на границах и внутри королевства она вызывает кровопролитную войну. Никто не же-

лает усматривать преступления в нарушении этого закона; но несчастный налогоплательщик кричит о несправедливости, проклинает жизнь и приходит в полное отчаяние.

Та же самая осьмина соли, за которую вас заставляют платить шестьдесят или шестьдесят один ливр, всюду в других государствах стоит один ливр десять су, и такова и есть ее действительная стоимость. Сколько мыслей родится в голове при таком сопоставлении!

34. Морская рыба

Морская рыба в Париже недешева, несмотря на некоторую сбавку ввозной пошлины,—облегчение, которым мы связаны г-ну Тюрго*. В свежем виде мы рыбы почти не видим. Привозят ее только с берегов Нормандии и Пикардии, так как незасоленная рыба выдерживает лишь очень небольшой переезд—не более тридцати-сорока лье. Запасы, делаемые для двора, поглощают на рынке все самые лучшие сорта, а парижанин должен довольствоваться мелюзгой. Заметьте, что картезианцы, кармелиты, бенедиктинцы, францисканцы и другие постыющиеся монахи в свою очередь тоже набрасываются на рыбу и поддерживают высокие цены, так как платят очень дорого за все, что приходится им по вкусу.

Надо при этом заметить, что ввозная пошлина на рыбу благодаря своему непомерному размеру вредит и казне. Парижанин, желающий полакомиться свежей морской рыбой, вы-

нужден отправляться в Дьешп, и каждый буржуа, как только становится более или менее зажиточным, предпринимает это путешествие, — сначала в единственном числе, а потом везет туда и свою кругленькую супругу. Они приходят в восторг от океана, что вполне естественно; но вскоре им начинает казаться, что они достигли Геркулесовых столбов*, и они спешат возвратиться к своему очагу. От путешествия они в таком восторге, в таком восхищении, что всю жизнь будут ежедневно говорить о нем по вечерам за ужином в присутствии дочерей и изумленной служанки.

35. Налог в пользу бедных

Было представлено несколько проектов всеместного сбора милостыни бедным; но ни один из этих великодушных проектов до сих пор еще не осуществлен. В Париже буржуа вносят на эту надобность — одни по тринадцати су, другие — по двадцати шести, а самые зажиточные — по пятидесяти в год. Какое скудное милосердие!

Было бы гораздо целесообразнее установить значительно более высокий налог; и каждый, мне кажется, платил бы его с удовольствием. Изо всех налогов это самый священный, или, вернее, — это долг, наш первый долг, и можно ли считать, что мы расплатились с нашим долгом по отношению к бедным, внося в их пользу два ливра десять су в год?!

Мне кажется, что милостыню надо собирать под знаменем религии, так как милосердие —

ее первая заповедь. Я думаю, что каждый приход должен был бы заботиться о своих бедных и что ему должно бы быть предоставлено право привлекать к этому делу обеспеченных граждан. В Лондоне оно поставлено очень широко, — милосердие там неисчерпаемо, и помощь, оказываемая бедным, отнюдь не носит, как у нас, отпечатка мелочной скупости. Именно там торжествует трогательная заповедь Евангелия о том, *что все мы дети одного отца и должны помогать друг другу.*

Среди нас есть прекрасные души, души, преисполненные милосердия, но их очень немного по сравнению с живущими на берегах Темзы. Там народ вообще более мягок, более отзывчив на нужды несчастных, чем мы, и нищета утратила там свой отвратительный облик.

Если бы я был министром, — я сделал бы приходских благотворительных орудий благодеятельности. По этому важному вопросу я видел, между прочим, проект г-на Филлона, нотариуса и контролера нотариальных актов в Шаллане (Нижний Пуату). Так как все идеи этого гражданина вполне соответствуют моим, да разрешит он мне отметить это здесь, указав на его проект как на лучший образец этого рода.

36. Уличная орфография

В Париже все торговые вывески, надписи, объявления до крайности безграмотны. Невежество запечатлено здесь золотыми буквами.

Может быть, действительно было бы вполне разумно последовать совету одного из perso-

нажей Мольера* и создать особого цензора, который исправлял бы эти грубые ошибки.

Народ приучился бы относиться к орфографии с уважением, а от этого французский язык только выиграл бы. Безусловно важно, чтобы язык, сделавшийся в Европе господствующим, не подвергался никаким искажениям, особенно в отношении правописания, так как в противном случае народ, являющийся законодателем разговорного языка, может постепенно совершенно его испортить и превратить в жалкий жаргон.

Порча языка начинается с орфографии; а между тем иностранец, встречая всюду вполне грамотные надписи, мог бы во время прогулок по городу поучиться языку; а такого лестного отличия столица народа, язык которого изучают все нации, вполне заслуживает.

Невежественность порождает иногда большие курьезы, служащие забавой парижанам, так как именно пустяки-то их обычно и забавляют. Некий Ледрю нажил себе состояние благодаря вывеске, гласившей: *Ледрю устраивает звонки в кю-де-сак'ах**. Маляр-живописец, восседая на своей лестнице, поставил жирную точку после слова *кю*, а слова *де сак* перенес на следующую строку, что показалось всем очень забавным. Всем хотелось воспользоваться услугами г-на Ледрю, который устраивает звонки *в задю*. И этого было достаточно, чтобы создать Ледрю громкую известность.

Весь Париж ходил также читать надпись на дощечке одного лекаря, неподалеку от площади Мобер: *Такой-то,—окулист для глаз.*

Но что гораздо хуже орфографических оши-

бок или нелепых выражений, — это наглость некоторых проказников, которые испещряют белые стены домов нескромными рисунками и непристойными надписями.

Полиция, требующая удаления с улиц грязи и отбросов, должна была бы также требовать уничтожения всех этих мерзостей, так как мало того, что мусорщики очищают город от нечистот, — нужно, чтобы на глаза наших жен и дочерей не попадались подобные изображения, гораздо более возмутительные, чем плохо выметенная улица. Продавцы эстампов в свою очередь тоже выставляют гравюры определенно непристойного характера, и мы зачем-то начинаем заводить у себя дома, на глазах молодежи, эти развратные картинки. Мы устраним книги, способные воспламенить воображение, а в то же время украшаем комнаты подобного рода неприличными произведениями.

Гуляя по набережной, я увидел картинку, изображающую конькобежцев, а под ней прочел следующие анонимные стихи, которые, по-моему, достойны того, чтобы их запомнить:

Зима стремится их бег на тонкий лед блестящий;
Под ним пучина вод таится глубоко;
Такъв и путь страстей—опасный и манящий.
Скользьте, смертные, скользьте,—но легко!¹

37. Древности

В Риме нельзя сделать шагу без того, чтобы не попать ногами какой-нибудь памятник ста-

¹ Стихи переведены А. А. Соколовой.

рины, вызывающий внимание и уважение, без того, чтобы не увидеть вокруг себя предметов, напоминающих о завоевателях греческого искусства и властителях мира. Не таков Париж: этот город не был создан республикой, не был вылеплен греческим гением; в нем ничто не напоминает красноречивого гения, заботившегося о том, чтобы его произведение внятно говорило взорам граждан и возвышало их души. Шедеврами искусств здесь являются не общественные памятники; здесь шедевры прячутся и мельчают в домах частных лиц. Для тех, кто знает историю, от Сены и Лувра до Тибра и Капитолия—расстояние громадное.

Все древности Парижа носят готический, убогий и жалкий вид. Наше грубое происхождение запечатлено в сохранившихся у нас памятниках: в аббатстве святой Женеьевы вы видите гробницу его основателя Хлодвига. Но нетрудно убедиться в том, что это памятник нового времени и что поэтому он лишен величия; он вовсе не похож на храм Ромула.

Норманны, неоднократно грабя, сжигая и разоряя церковь и аббатство Сен-Жермен-де-Пре, оставили там одни только пустые гробницы с плохо сохранившимися надписями. То, что уцелело от древней скульптуры, свидетельствует о самом возмутительном варварстве; христианская религия никогда, даже в колыбели, не носила жизнерадостного характера; об этом свидетельствуют и эти обломки исчезнувших веков,—странных, несчастных веков, отмеченных всем позором и мраком, свойственным заблуждению и невежеству.

Желающие могут взглянуть на могилы Хильдебера и Ольтроготы, Хильпериха и жены его Фредегунды*. Надписи, сохранившиеся на надгробье Хильпериха, *просят живых не беспокоить его останков*, а оставить их там, где они покоятся: просьба, с которой он обращается, очевидно, к северным разбойникам*, нахлынувшим на королевство и аббатство: *Precor ego Ilpericus non auferantur hinc ossa mea.*

Старинные имена, лишенные величия и блеска; печальные, пустые гробницы; мрачные изображения, не представляющие никакого интереса; грубый и жесткий резец, — вот древности, наполняющие церкви. Гений человека был словно придавлен царящим на земле ужасом, и его дрожащая рука ничего, кроме мрачных, унылых и однообразных образов, начертить не могла. Вспомните развалины Геркуланума и Портичи*; они не носят на себе печати столь мрачного воображения.

Самое интересное в Париже—это остатки того дворца, в котором у римлян до прихода франков были устроены бани; они находятся в одном из владений на улице Арфы под вывеской *Железный Крест*. Эти развалины носят все признаки глубокой древности. Повидимому, дворец был довольно обширен; там жили наши первые короли; туда были сосланы дочери Карла Великого после его смерти, когда Людовик Кроткий*, любитель церковного пения и ненавистник любовных походов, приказал убить их любовников. *Он, вероятно, думал, — наивно говорит отец Даниэль*, — что такой пример устрашит окружающих и что других лю-*

бовников они не найдут; но в этом он ошибся: они у них не переводились.

Древние республики! Ваши обломки свидетельствуют о том, чем вы были. Великолепнейшие памятники монархии не стоят ваших останков, пощажённых самим временем и варварами. Боже! До чего мы ничтожны перед величественными трудами свободного государства!

Археологи очень сожалеют о статуе богини Изиды, которую ввиду ее древности долгое время оставляли нетронутой у главных врат аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Но в 1514 году одна простолюдинка, приняв эту статую за изображение богоматери, пришла возжечь перед ней целый пук свечей; когда об этом узнал настоятель аббатства, он преисполнился благочестивого гнева и велел разбить статую на куски в предупреждение идолопоклонства, а на ее месте воздвиг большой крест, который существует и по сие время.

38. Мой дед

Я часто думаю о своих предках, образ мыслей которых был так отличен от моего, а предрассудки и обычаи тем более. Когда в день святого Людовика я покидаю заседание Французской академии, — мне вспоминается, что тому назад двести лет Париж захлебывался в крови, что на улице Бегизи был заколот адмирал Колиньи*, после того как еще накануне Карл IX, обнимая, уверял его в своей дружбе. Его топтали ногами, топтали человека, которому более, чем кому-

либо, надлежало бы быть участником гражданской войны, дабы обеспечить Лиге успех и придать ей тот вес, то величие, которых ей не хватало. Вот Лувр, из которого тот же Карл IX стрелял в своих подданных*. Убийцы Варфоломеевской ночи были отчаянными католиками, а потому в этот день лучше отправиться в Лувр* послушать насыщенные солью и остроумием остроты и шутки математика Д'Аламбера*; если они слегка и огорчают духовенство, то оно мстит ему при дворе, дурно отзываясь о философах. Но пусть! Философы над этим только смеются; они владеют искусством говорить решительно все тем, кто умеет понимать, а в наши дни понимают и с полслова, и поэтому можно сказать все, что хочешь. Кто первый начинает сердиться, всегда бывает неправ. О дед мой! У нас теперь совсем иные, новые взгляды. Они так далеки от ваших, что, несмотря на весь ваш ум, вы никак не могли бы и заподозрить их существование. Если бы наши внуки могли сказать про нас то же самое! Способностью совершенствоваться обладает только человеческий род, и теперь мы менее невежественны и менее дики, чем во времена Карла IX. Какое большое достижение в такой короткий срок!

39. Берегись! Берегись!

Берегись экипажей! Я вижу врача в черной одежде, едущего в карете; учителя танцев в кабриолете; преподавателя фехтования в дву-

колке; принца крови в экипаже, запряженном шестерней. Он скачет во всю прыть, точно по открытому полю.

Скромная ручная одноколка проскальзывает между двумя каретами и спасается каким-то чудом; она везет женщину, страдающую припадками головокружения: с нею сделалось бы дурно, если бы она сидела в высокой карете. Молодые люди верхом нетерпеливо мчатся к городскому валу и раздражаются, когда толпа пешеходов, которую они забрызгивают грязью, немного замедляет их скачку. Экипажи и кавалькады порождают множество несчастных случаев, к которым полиция проявляет полнейшее равнодушие.

Я был свидетелем катастрофы, происшедшей 28 мая 1770 года из-за скопления экипажей, запрудивших улицу, которая служила единственным выходом колоссальной толпе народа, устремлявшегося на жалкую иллюминацию бульваров. Я сам там едва не погиб. От тысячи двухсот до полуторы тысячи человек умерло на месте или в последующие дни от полученных увечий. Я трижды в разное время бывал сбит с ног, лежал на мостовой и чуть-чуть не попал под колеса экипажей. Вот почему я считаю себя немножко вправе осуждать варварскую роскошь такой езды.

И никакой узды на нее до сих пор нет, несмотря на ежедневные жалобы! Грозные колеса, несущие экипаж богача, не замедляют хода. Они гордо катятся по мостовой, обгаренной кровью несчастных жертв, умирающих в страшных мучениях в ожидании реформы. Но ее ни-

когда не дожидаться, потому что все предрешающие власть имеют собственные [экипажи, а потому презирают жалобы пешеходов!

Отсутствие тротуаров делает все улицы почти одинаково опасными. Когда заболевает лицо, пользующееся известным весом, перед его домом разбрасывают навоз, чтобы заглушить шум колес; в таких случаях нужно особенно беречься, чтобы не быть раздавленным.

В 1776 году на дороге Мениль-Монтан Жан-Жака Руссо* свалил с ног громадный датский дог, бежавший впереди экипажа; Руссо не мог встать на ноги, в то время как владелец экипажа смотрел на него с полнейшим равнодушием. Его подняли и отвели домой крестьяне; он хромал и испытывал сильную боль. Узнав на следующий день, кто был человек, спибленный с ног его собакой, хозяин экипажа послал к нему слугу спросить, что он может для него сделать. *Держать впредь свою собаку на привязи,* — ответил философ и отпустил слугу.

Когда какой-нибудь кучер распотрошит вас живо, в полиции устанавливают, чья здесь вина: большого колеса или маленького, так как кучер ответственен только за последнее, и если вы испустили дух под большим колесом, то ваши наследники никакого денежного возмещения не получают. Существует, между прочим, особый, заранее установленный тариф на руки, ноги и ребра. Что же остается делать? Хорошенько слушать, когда кричат: *Берегись! Берегись!* Но наши юные Фаэтоны* заставляют кричать своих слуг, помещающихся позади экипажей. Сами они спибают вас с ног, а потом их лакеи дерут

глотку, вам же предоставляется самому, если можете, собирать свои косточки.

40. Ручьи

Широкий ручей перерезает иногда улицу пополам, совершенно прекращая сообщение между двумя рядами домов; при каждом ливне приходится воздвигать шаткие мостики. Ничто не забавляет так иностранцев, как вид парижанина в многоэтажном парике, белых чулках и расшитом галунами платье, когда он перепрыгивает через грязный ручей, а потом бежит на цыпочках по мокрым улицам, причем целые потоки воды льются из дождевых труб на его шелковый зонт. Какие только скачки и прыжки ни проделывает, чтобы избежать и грязи под ногами и водяных потоков с крыш, тот, кто задумал пойти из предместья Сен-Жак пообедать в предместье Сент-Оноре. Целые горы грязи, скользкая мостовая, сальные оси экипажей, — сколько препятствий! Но в конце концов он все же достигает цели. На каждом углу улицы он зовет *чистильщика* и отделяется всего-навсего несколькими пятнышками на чулках. Каким же чудом удалось ему так легко отделаться и пересечь с конца в конец самый грязный город в мире? Как мог он пройти по топкой грязи в тонких туфельках? О! Это особый секрет парижан, и я никому не советую пытаться им подражать!

Почему не одеваться соответственно грязи и пыли? Зачем, идя пешком, облекаться в



Переход через сточную канаву во время грозы
С гравюры неизвестного мастера по рисунку Гарнье

платье, которое годится только тому, кто разъезжает в каретах? Почему не сделать тротуаров, как в Лондоне?

41. Вытопка сала

Испарения, выделяющиеся при вытопке сала, густы и ядовиты. Ничто так не портит воздуха, как эти тяжелые пары. Помимо неприятного запаха, они очень вредны и для здоровья; многочисленные салотопенные заводы, находящиеся в черте города, приносят жителям громадное зло. Государственному прокурору следовало бы обратить на этот вопрос серьезное внимание, так как заводы эти часто подвергают прилегающие кварталы пожарам и превращают в яд самое необходимое для человеческой жизни вещество.

Следовало бы перенести все эти заводы за городскую черту, в ненаселенные местности, чтобы большие котлы с растапливаемым салом не могли ни отравлять жителей, ни вызывать пожары.

42. Бойни

Они устроены не за пределами города и не на окраинах,—они находятся в самом центре. Кровь ручьями течет по улицам, свертывается у вас под ногами и пачкает вам обувь. Идя по городу, вы вдруг слышите отчаянное жалобное мычанье: это повалили на землю молодого быка, перевязали ему голову веревками, тяжелой ду-

биной разбили ему череп и воткнули в глотку широкой нож. Дымящаяся кровь большими сгустками выходит вместе с жизнью из его тела. Мучительные стоны, рев; трепещущие мускулы, сводимые судорогой; последние усилия, которые он делает, чтобы вырваться и избежать неминуемой смерти,—все это говорит о силе его страданий и о мучительности агонии. Взгляните, как отчаянно трепещет его сердце, как потускнели его страдальческие глаза. О кто в состоянии долго смотреть на это зрелище, кто может слышать жалобные стенания живого существа, приносимого в жертву человеку?!

Окровавленные руки погружаются в еще дымящиеся внутренности и с помощью мехов вздувают тело и придают издохшему животному чудовищную форму. Его туша, рассеченная большим резаком, будет постепенно разделена на маленькие куски и явится одновременно и вывеской и товаром.

Случается, что бык, оглушенный обухом, но устоявший на ногах, рвет веревки и в бешенстве выбегает из страшного вертепа смерти. Он спасается от своих палачей и наносит удары всем встречным как виновникам или соучастникам его смерти. Все в страхе бегут при виде разъяренного животного, которое накануне входило в ворота бойни таким спокойным, медленным шагом. Оно ранит попадающихся ему на пути женщин и детей; что же касается бойцов, бегущих за вырвавшейся из их рук жертвой, то они не менее опасны в своем диком беге, чем само животное, гонимое болью и бешенством.

На всей внешности бойцов лежит печать сви-

репости и кровожадности: голые по локоть руки, вздутая шея, красные глаза, грязные ноги, окровавленный фартук; толстая узловатая дубинка в руках. Они всегда готовы вступить с кем угодно в драку, так как большие до нее охотники. Дабы обуздать их свирепый нрав, их наказывают строже, чем людей других профессий, и опыт показал, что это вполне правильно.

Кровь, которую они проливают, словно воспаляет их лица и их нрав. Все они полны дикого, грубого сладострастия. В маленьких улочках поблизости от бойни, из которой доносится ужасный трупный запах, сидят на тумбах отвратительные проститутки и среди бела дня, на глазах у всех бесстыдно занимаются развратом. Он не соблазнителен: эти накрашенные и облепленные мушками самки, толстые, грубые, безобразные, производят отталкивающее впечатление; взгляд их более жесток, чем взгляд быка. Но они милы кровожадным бойцам, наслаждающимся сладострастием в объятиях этих Пасифай*.

43. Тлетворный воздух

Как только воздух не способствует сохранению здоровья—он убивает. Но здоровье—это то благо, к которому человек наиболее равнодушен. Узкие, плохо расположенные улицы, чересчур высокие дома, мешающие свободному движению воздуха, бойни, рыбные рынки, сточные канавы, кладбища—все это ведет к тому, что воздух постепенно портится, отягчается

грязными частицами и вскоре становится спертым и вредным для здоровья.

Дома непомерной высоты являются причиной того, что жители первых двух этажей пребывают в полумраке даже тогда, когда солнце стоит в зените.

Дома, выстроенные на мостах, помимо присутствующего им безобразного вида, еще и препятствуют свободному передвижению воздуха с одного конца города на другой и мешают ему уносить как испарения Сены, так и миазмы с прилегающих к набережным улиц.

Когда в праздничные или воскресные дни горожанин отправляется подышать чистым деревенским воздухом, он тотчас же по выходе за заставу попадает в атмосферу, зараженную испарениями от отхожих ям и других нечистот, которые тянутся на расстоянии полумили вокруг столицы. Прогулка его отравлена благодаря тому, что не позаботились вывезти городские нечистоты несколько дальше. Красивые бульвары тоже страдают от этого и теряют большую долю своей привлекательности. Никто не заботится о том, чтобы чем-нибудь вознаградить горожанина за его каждодневные труды и за деньги, которые он платит городу.

Известно, что растения не только способствуют поддержанию здорового воздуха, но и очищают его. Вот почему в древности имели обыкновение обсаживать большими деревьями храмы и общественные площади. Отчего бы не взять с этого пример и нам?

Трушный запах дает себя чувствовать почти во всех парижских церквах. Этим объясняется

нежелание многих посещать церкви. Мольбы граждан, их жалобы, постановления парламента—все оказалось тщетным, и трупные испарения продолжают отравлять верующих. Некоторые, однако, утверждают, что за трупный запах ошибочно принимают запах сырости и плесени, исходящий от огромных груд камней. Меня уверяли, что трупы опускают в могилы в первую же ночь после отпевания и что ни один из них не остается в церковных склепах, за исключением тех, которых там замуровывают, а этой чести удостоиваются очень немногие.

Но как бы то ни было, все двадцать тысяч трупов остаются в столице, и когда подумаешь, что на кладбище *Невинных*¹ хоронят покойников в продолжение уже целой тысячи лет и даже не дают земле времени закончить процесс *поглощения* всех этих бранных останков, то возмущенное воображение спешит отвернуться от ужасной картины, которая встает перед ним.

Но, независимо от кладбищ, нужно ли удивляться тому, что воздух здесь так испорчен? Все дома пропитаны здесь зловонием, и их обитатели от этого постоянно больны. В каждом доме можно найти источник гниения; из множества отхожих ям исходят заразные испарения, а производимая по ночам очистка этих ям распространяет заразу по всему кварталу и стоит жизни многим несчастным, о нищете которых можно судить по опасной и отвратительной работе, на которую они идут.

¹ Его только что закрыли; я еще поговорю о нем.

Все эти ямы, зачастую плохо устроенные, пропускают содержащиеся в них вещества в соседние колодцы. Булочники пользуются колодезной водой, и таким образом самый общепотребительный пищевой продукт поневоле оказывается пропитанным этими зловонными и вредными частицами.

Чистильщики выгребных ям, желая избавиться себя от труда вывозить нечистоты за черту города, выливают их на рассвете в сточные канавы и ручьи, и вся эта ужасающая грязь медленно ползет вдоль улиц, направляясь к Сене и заражает ее берега. А по утрам сюда являются водоносы и черпают здесь воду, которую вынуждены пить небрежливые парижане.

Но еще невероятнее то, что трупы, которые крадут или покупают юные хирурги, чтобы упражняться в анатомии, нередко разрезаются на куски и выбрасываются в те же отхожие ямы. Открыв яму, в первую минуту при виде ужасных человеческих обрубков можно подумать, что тут были скрыты следы какого-нибудь преступления. Работа, связанная с извлечением таких находок, независимо от чувства ужаса, который она внушает, становится опасной для отходников, так как вредные испарения не только лишают сознания, но нередко и убивают их. Таким образом, живому человечеству наносится еще большее оскорбление, чем уже не существующему. О восхитительный город! Сколько ужасного, сколько отвратительного скрывается за твоими стенами! Но не будем останавливать дольше внимания читателя

на всех этих страшных картинах, являющихся следствием чрезмерной населенности столицы.

Новейшие блестящие опыты по разложению и соединению элементов воздуха* дали нам ряд полезнейших сведений, неизвестных в древности; и если только правительство пойдет навстречу этим любопытным открытиям (которые обещают нам повлечь за собой в будущем еще новые открытия), то в жизни больших городов станет одним бичом меньше.

Трудно допустить, что беспечность и равнодушие закроют глаза правительства на чудеса химии. Эта наука, освободившись от старых формул, теперь, повидимому, идет навстречу страждущему человечеству и несет ему те действительные лекарства, в оценке которых она сама ошибалась до сих пор.

Что может быть важнее здоровья граждан? Сила будущих поколений, а следовательно сила самого государства, не зависит ли от заботливости городских властей? Но и лучшие учреждения склонны к медлительности и осторожности, потому что добро никогда не делается так просто и быстро, как зло.

В одном из указов Генриха IV отходники названы *мастерами fififi*. Старинные способы, применявшиеся чистильщиками отхожих ям, недавно отменены правительством, и теперь вступили в силу новые правила, проверенные опытом и одобренные Академией наук.

Новый способ очистки не содержит недостатков, свойственных прежним. Теперь с помощью огня устраняют вредные зловонные

испарения, и славное научное учреждение, не побрезговавшее заняться этим вопросом, заслуживает глубокой благодарности.

Работы химиков уменьшили число несчастных случаев, связанных с очисткой отхожих ям и колодцев. В настоящее время открыто много, о чем так долго не имели понятия; теперь известно, что представляют собой мефитические испарения и каким образом можно бороться с их вредным и даже смертоносным действием. Благодеяния химии с каждым днем становятся многочисленнее; благодаря ей мы обрели целый ряд новых средств, крайне интересных и важных для человечества.

Городская администрация стала чаще обращаться за советами к естествоиспытателям. Благодаря им был отменен старый обычай употреблять медную посуду для доставки в Париж молока и изъяты из употребления медные весы, которыми имели обыкновение пользоваться торговцы солью, табаком и фруктами, ибо малейшее разложение этого металла производит незаметное, но губительное действие на животный организм; пришлось не только разъяснить это народу, но и применять власть, чтобы оградить его от заболеваний.

По совету тех же химиков полиция запретила виноторговцам употреблять у себя в лавках свинцовые стойки и столы, так как беспрестанно проливаемое на них вино легко вызывает окисление и отравляет организм. Теперь этому старому обычаю положен, к счастью, конец. Как видите, я одинаково говорю как о дурном, так и о хорошем.

Ремесло отходников сделалось свободно только со времени издания нового закона. Прежде им мог заниматься не всякий. Кто бы мог это подумать?!

Разумеется, нет закона, который мог бы принудить людей—даже преступников—спускаться ежедневно в отхожие ямы, дышать там испорченным воздухом, со всех сторон быть окруженным зловонными, ядовитыми испарениями, которые подтачивают, иссушают, гложут людей и преждевременно придают их лицам мертвенную бледность. И вот то, что было бы не под силу никакой тирании, никаким притеснениям, сделали без всякого принуждения деньги.

Полиция обратила, наконец, сочувственный взор на этих несчастных, которые в целях борьбы с медленно убивающим их ядом вынуждены прибегать к употреблению чрезмерного количества спиртных напитков. Им нужно одурманиваться, чтобы презирать все эти тлетворные миазмы; постоянные же расходы на водку не дают им возможности выбраться из нищеты, несмотря на труд, который, в сущности, никакие деньги не могут вознаградить.

Эти жертвы общества вместо вполне заслуженной награды получают только мучительную и преждевременную старость. Но полиция взялась загладить чудовищную несправедливость людей: она позаботилась о том, чтобы этим несчастным и их семьям была оказана поддержка и помощь. В случае болезни они теперь всегда найдут место в больнице; во время безработицы они будут получать пропитание и

смогут удовлетворять свои повседневные потребности.

Внимание, оказываемое классу людей, которые пребывают в самом унижительном состоянии, — людей, от которых последний гражданин с презрением отворачивается, заслуживает, конечно, всяческих похвал. Мы видим, что начинают, наконец, овладевать искусством здраво разбираться в различных отраслях управления, ибо разве не счастье для нас, что находятся люди, которые ради денег посвящают себя такой отвратительной работе? И не обязаны ли мы чем-нибудь вознаграждать их из чувства простой справедливости?

44. Ветеринарные ямы

Порядок сдирания шкур с издохших лошадей обратил на себя внимание полиции. Тех, кто приканчивает лошадей, называют *живодерами*, а *живодерством* называется работа по сдиранию шкур и разделке туш. Тех же, кто продает внутренности животных, идущие на выделку струн для различных инструментов, тех самых струн, которые под искусной рукой наших артистов становятся такими благозвучными и чувствительными, — называют *торговцами трябухой*.

Останки лошадей, с которых сняли кожу, обычно валялись и распространяли на смежных участках страшное зловоние, худшее, чем от отхожих мест. Отвратительному зрелищу издохших и ободранных лошадей и других жи-

вотных, их шкур, внутренностей, костей и мяса, которые рвали на части своры голодных собак, положен конец благодаря тому, что теперь в окрестностях города, в расстоянии нескольких миль от Парижа, устроены особые ветеринарные ямы. Таким образом, остатки животных веществ, страшно усиливавшие зловоние, больше не заражают предместий столицы. Мы спешим сообщить об этом; мы видим, что теперь более чем когда-либо заботятся об исправлении недочетов и ошибок. И это дает нам силу продолжать картину, где, как на полотнах Рембрандта, преобладают темные краски. Но в этом виноваты не мы: виноват сам сюжет.

45. Сила привычки

Если меня спросят, как же можно жить в этом грязном логовище всевозможных пороков и болезней, нагроможденных друг на друга; в атмосфере, отравленной множеством гнилостных испарений; среди скотобоен, кладбищ, больниц, сточных канав, ручьев урины и груд кала; среди красилен, кожевенных и дубильных мастерских; среди непрекращающегося дыма от сжигаемых в несметном количестве дров и угля; среди частиц мышьяка, серы и смолы, беспрерывно выделяемых мастерскими, обрабатывающими медь и прочие металлы,—если меня спросят, как могут люди жить в этой бездонной яме, где тяжелый и зловонный воздух так густ, что его видишь простым глазом и чувствуешь за три льё в окружности, где он не

может свободно двигаться, а лишь крутится в лабиринте домов; если меня спросят, наконец, как могут люди добровольно гнить в этих тюрьмах, между тем как даже прирученные и выдрессированные животные, если бы их только выпустили, стремительно ринулись бы, руководимые простым инстинктом, прочь из города на поиски воздуха, зелени и простора полей, напоенных ароматом цветов,—я отвечу, что *привычка* роднит парижан и с влажными туманами, и с глеворными испарениями, и со смрадной грязью.

А кроме того, опера, комедия, балы, зрелища и распутницы вознаграждают их за потерю здоровья. Что из того, что жидкости, текущие в наших венах, сгущаются, свертываются и образуют заторы, раз это не мешает любоваться танцами Вестр-Аллара*? Не нужно ни сил, ни отваги, чтобы пройти расстояние, отделяющее одно зрелище от другого.

Парижане не особенно стремятся быть в общении с небесным сводом и его красотами. Любоваться небом—удел крестьянина; парижанин же смотрит на солнце без восхищения и без благодарности, почти так же, как на лакея, который освещает ему путь.

Жить при свете свечей считается даже признаком благоденствия: хорошо проводят время и собираются друг у друга только при свечах,—богатые люди не в ладах с солнцем. День не создан для того, чтобы освещать их удовольствия: в его свете нет *благородства*. Парижане—это сборище мертвецов, живущих в герметически закупоренных гостиных, при свете факелов.

46. Утопленники.—Угар

Требуется не мало времени, чтобы завести порядок даже в наименее сложных областях полицейского управления. Кто поверит, что всего еще лет двадцать назад всякий раз, когда вытаскивали из воды утопленника, вместо того чтобы немедленно оказать ему соответствующую помощь, его оставляли по пояс в воде до прибытия *пристава* и составления *протокола*? До этого никто не смел прикоснуться к нему; приставленный часовой всех грубо отстранял. Невежественность доходила до того, что утопленника подвешивали за ноги, вниз головой, руководясь ложной мыслью, что в таком положении из него скорее выйдет вода. И, разумеется, ни один утопленник не избегал смерти.

В конце концов пришли к убеждению, что вместо *пристава* целесообразнее звать *врача*. Первым человеколюбивым мероприятием по отношению к утопленникам мы обязаны городскому управлению; это побудило полицию обратит внимание и на других несчастных. Итак, мы видим, что только путем примера совершенствуются различные отрасли общественного управления. Был предпринят целый ряд более или менее благодетельных, хотя и запоздалых мер, вырвавших многих граждан из объятий смерти и вернувших их семьям.

Прибор для окуривания, а также для растирания и вдувания воздуха занимает первое место в деле оказания помощи извлеченным из воды,— помощи, без которой утопленники, несомненно,

гибли бы. Дополнительными средствами служат камфарный спирт и летучий щелочной фтор, употребляемый в качестве возбуждающего средства и вводимый в ноздри с помощью комочков бумаги.

Из ста тридцати восьми человек, тонувших в Париже, девяносто два обязаны возвращению к жизни этим новым приспособлениям, сменившим прежние нелепые и варварские способы. Введение этих новых мероприятий свидетельствует о том, что о сохранении жизни граждан стали заботиться лишь с очень недавнего времени; но, как бы то ни было, все же мы устыдились своего равнодушия.

Каждый тонувший до сего времени неизбежно погибал; его спасению препятствовали вдобавок и возмутительные узаконения: лодочник, спасший жизнь упавшему в воду, не получал в награду ни гроша, а в то же время, в силу какого-то странного противоречия, его вознаграждали за извлечение из воды трупа! Отсюда вытекала жестокая медлительность лодочников в деле предупреждения окончательной гибели тонущего. Одиннадцать лет тому назад мы первые подняли голос против подобных злоупотреблений в *Две тысячи четыреста сороковом году** и с затаенной радостью убедились в том, что наши жалобы услышаны.

В настоящее время расходы по оказанию помощи тонущим возложены на полицию, и всем, кто прямо или косвенно содействует возвращению их к жизни, выдается вознаграждение. Сколько времени—повторяю—требуется для того, чтобы внушить народу самые про-

стые понятия о разумных и человеческих поступках!

Еще более частым бедствием, как в самом Париже, так и в его предместьях, являются случаи смерти от угара. Помимо всех прочих горьких, неисчерпаемых мук, вызываемых крайней нищетой, смерть от угара—нередкое явление в семьях несчастных, у которых нет денег на покупку дров. Нужно сказать, что в Париже не мало граждан живет в темных каморках без печей; это-то дало мне повод сказать в первой главе, озаглавленной *Общее впечатление*, что в этом городе можно встретить *лапландцев, прозябающих в тесных лачугах*. Эти несчастные вынуждены во время зимних холодов разводить огонь посреди комнаты, причем в потолке не бывает, конечно, никакого отверстия, вроде того, какое делают у себя дикари. И нередко они вместе с детьми задыхаются от угара во время сна. От таких неожиданных несчастных случаев никто не застрахован, ибо соседства бедняка достаточно, чтобы убить богача. Можно подумать, что один другому мстит.

Один опытный врач считает, что в подобных случаях прибегать к летучему щелочному фтору, весьма распространенному средству, опасно, так как при угаре в голове пострадавшего и без того бывает сильный жар, а от раздражения жар может только усилиться. Поэтому он советует многократное растирание подошв; этим способом он возвратил жизнь многим угоревшим.

Нельзя ли подвергнуть каменный уголь обработке, которая лишила бы его смертоносных частиц? Над этой задачей теперь трудятся, и

я не сомневаюсь в том, что правительство ждет только окончания опытов, чтобы их обнародовать.

Почему бы не награждать медалью каждого, кто в минуту острой опасности помог спасению жизни гражданина? Наибольшая награда будет, конечно, у него в сердце, но родина останется у него в долгу и должна выразить чем-нибудь свою благодарность за то, что он вырвал одного из ее сынов из объятий смерти.

Пока не были достаточно исследованы случаи отравления угольным газом, пока не были открыты различные целительные средства, большинство задохнувшихся бывало, в сущности, — страшно подумать! — погребено живо! Как необходима человеку наука, раз только одна она спасает от страшной опасности и отходников, и чистильщиков колодцев, и могильщиков, и каменщиков, производящих раскопки, и вообще всех, чьи работы так полезны обществу и кому общество так обязано!

Разве равнодушие, с которым относились до сих пор к их судьбе, не являлось общественным преступлением? Теперь установлено, что угоревшему не следует пускать кровь, что опрыскивание лица холодной водой и несколько ложечек уксуса возвращают его к жизни. Известно также, что жаровня пылающих угольев очищает отравленное ядовитыми газами помещение; что труба, прилаженная к печке, высасывает заразный воздух; что с помощью нескольких лопат негашеной извести можно обезвредить смертоносные испарения отхожих мест.

Отеческое внимание правительства напра-

влено к тому, чтобы дать народу основные знания в этой области; с этой целью недавно выпущено особое наставление, и теперь все будут знать, что эти мнимые *умершие*—не настоящие мертвецы; будут знать, какими способами можно вернуть к жизни утопленника или угоревшего, и скоро все вполне освоится с новыми средствами, исключительная простота которых обеспечивает их успешность.

Эти правила составлены по распоряжению г-на Ленуара*, главного начальника полиции. Они написаны в форме, доступной пониманию народа; их раздают городским и сельским священникам, чтобы они распространяли в народе способы борьбы с ужасными и частыми последствиями *мефитизма* (новое слово, означающее—*ядовитые испарения*). Духовенство не откажется, конечно, сообщать деревенским жителям об этих важных открытиях, так как если первая заповедь заключается в делах милосердия и человеколюбия, то высшее торжество религии не заключается ли в заботе о сохранении рода человеческого? И почему бы всем этим простым средствам, могущим вернуть обществу доброго отца семейства, не быть преподанными непосредственно вслед за чтением евангельских истин? Что может быть почтеннее для пастыря, как не соединение спасения *тела* со спасением *души*?

47. Меблированные комнаты

Боярин поселяется в мансарде около Пале-Рояля; москвитянин платит чудовищные день-

ги за низенькие антресоли; польский староста и швейцарец занимают вдвоем одну комнату.

Меблированные комнаты грязны. Ничто так не удручает бедного иностранца, как вид грязных кроватей, окон, сквозь которые свищет ветер, полусгнивших обоев, лестниц, покрытых всякими нечистотами. Вообще говоря, парижанин живет в грязи; об удобствах путешественников никто как следует не заботится. А между тем кто только ни путешествует! Англичанину и голландцу, для которых чистота является одной из главных прелестей жизни, приходится спать в постелях, населенных весьма неприятными существами, а ветер свободно разгуливает по их комнатам. Естественно, что они торопятся покинуть город, где оскорблены их лучшие чувства, и увозят с собой деньги, которые могли бы оставить здесь.

Меблированные комнаты являются убежищем от кредиторов: каждый, кто должен по векселю, не предусматривающему в случае неплатежа арест, и кто не является купцом,—обуздывает алчность судебных приставов тем, что уходит из меблированной комнаты, чтобы разгуливать без всякого риска, и говорит, как Биас: *Omnia mea mecum porto**.

Живя в меблированных комнатах, вы лично не платите подушной подати; ее платит за вас содержатель комнат, а следовательно, платите и вы, так как он сообщает ваше имя в полицию, а полиция хорошо знает свое дело.

Арест частных лиц производится в меблированных комнатах гораздо проще, чем во всяком другом месте, и в таких случаях

привлекают меньше внимания. Когда по приказу правительства кого-нибудь задерживают, полицейский заявляет во всеуслышанье, что арестует вора, а так как человек этот постоянного местожительства не имеет, то такому за явлению верят, и об арестованном очень скоро забывают.

Были годы, когда в Париже насчитывали до ста тысяч иностранцев, и все они жили по мебелированным комнатам. В настоящее время число их значительно уменьшилось. Цены на комнаты крайне разнообразны: за помещение в четыре комнаты вблизи Пале-Рояля вы заплатите в шесть раз дороже, чем за такое же около Люксембургского дворца.

Несчастные создания, которые останавливают вас при выходе из театра и преследуют потом дорогой, живут по мебелированным комнатам, за которые они платят вдвое дороже, чем честные женщины; эта непосильная плата им очень тяжела. Выйти же из грустных условий, в которых они находятся, они могут лишь благодаря какому-нибудь особо счастливому, редкому случаю.

Сдавать мебелированные комнаты внаймы проституткам запрещено, но без них по крайней мере половина комнат пустовала бы. Содержателями этих грязных притонов в большинстве случаев являются парикмахеры и виноторговцы. Они наживают большие деньги, требуют, чтобы им платили вперед, всячески притесняют эти жалкие существа и нередко шпионят за ними.

48. Извозчики

Несчастные клячи, везущие разваливающиеся кареты, красовались когда-то в королевских конюшнях и принадлежали принцам крови, которые гордились ими.

Эти лошади, уволенные в отставку еще до наступления старости, теперь трудятся под кнутом самых безжалостных мучителей. Некогда благородные животные, горячие и нервные, возившие великолепные тяжелые экипажи с такой легкостью, словно это самый незначительный груз,—теперь несчастнейшие животные в мире, мокрые от дождя и пота, усталые, измученные ежедневной восемнадцатичасовой ездой.

Порой эти безобразные, еле двигающиеся кареты служат убежищем какой-нибудь девушке, вырвавшейся на минутку от своих аргусов и легко выпрыгивающей в экипаж, где она может, не будучи никем замеченной, поговорить наедине со своим возлюбленным.

Ничто так не возмущает иностранца, побывавшего в Лондоне, Амстердаме и Брюсселе, как вид этих извозчиков и их еле живых кляч.

По утрам, натошак, извозчики—народ довольно сносный. К полдню они становятся требовательнее. По вечерам же с ними совсем невозможно иметь дело. Происходящие нередко драки разбираются в полицейских участках, и дела решаются обычно в пользу кучера. Чем пьянее бывают кучера, тем сильнее они бьют лошадей; когда они окончательно теряют рассудок,—они везут быстрее всего.

Несколько лет тому назад был поднят во-

прос о какой-то реформе в этом промысле, и извозчики, в числе тысячи восьмисот человек, с лошадьми и экипажами отправились в Шуази, где находился в то время король, чтобы подать ему прошение. Двор был крайне удивлен, увидав в долине такое множество пустых карет и пролеток. Появление же их владельцев, явившихся сложить свои смиренные просьбы к подножию трона, вызвало некоторое беспокойство. Извозчиков поспешили спровадить с тем, с чем они явились, причем четырех представителей их цеха посадили в тюрьму, а главного оратора вместе с прошением отправили в Бисетр*.

Одно из самых обычных явлений во время езды—это перелом колес и пасов у карет; ездок встает с расшибленным носом или вывихнутой рукой, зато от уплаты за провоз его избавляют.

В Версаль и по всем дорогам, где существуют почтовые конторы, извозчики имеют право ехать, только уплатив за *особое* разрешение. Едва выехав за черту города, они предъявляют вам свои условия, не считаясь с существующим тарифом, причем одни проявляют при этом чрезвычайную мягкость и сговорчивость, другие же—безграничное нахальство. В таких случаях лучше успокоить их несколькими лишними су, чем идти жаловаться на них или расправляться с ними самому; так и поступают все благоразумные люди.

Если вы забыли в карете какую-нибудь вещь, вы идете в контору, заявляете об этом (каждая карета имеет свой номер), и в большинстве случаев вещь вам возвращается.

Удобство и общественная безопасность тре-

бовали бы, чтобы извозчицьи экипажи были менее грязны, прочнее, лучше снаряжены; но недостаток и дороговизна фуража и значительный налог (двадцать су в день) за право колесить по мостовым тормозят даже самые насущные реформы.

49. Водоносы

В Париже воду покупают. Общественных фонтанов так мало и они содержатся так плохо, что приходится пользоваться рекой; нет ни одного буржуазного дома, который был бы в изобилии снабжен водой. Двадцать тысяч водоносов с утра до вечера разносят по два полных ведра во все этажи, с первого до седьмого, а иногда и выше. Цена за них—шесть лиаров* или два су. Здоровый, сильный водонос совершает около тридцати таких путешествий в день.

Когда река становится мутной,—пьют мутную воду; глотают неведомо что, но тем не менее пьют. На непривычных людей вода Сены действует послабляюще. Иностранцам почти никогда не удается избежать легкого поноса, но этого не случалось бы, если бы они в виде меры предосторожности вливали в каждые полштофа воды по ложке хорошего белого уксуса.

«...Здесь видели одетого в грубые и тяжелые одежды водоноса—человека, который сложил с себя ордена, полученные им за заслуги перед родиной, и в поисках за пропитанием занялся этим тяжелым и ненавистным ему ремеслом.

Он умер несколько лет тому назад от холода и нищеты в кругу своих грубых товарищей по работе; его судьба осталась неизвестной тем, с кем сравнила его нищета; он открыл свою тайну только священнику, принявшему его последний вздох» (см. *Бабийяр*,* т. I, стр. 75).

50. Мост Пон-Нёф

Пон-Нёф* для Парижа то же, что сердце для человеческого организма: это центр движения и деятельности. Прилив и отлив горожан и иностранцев на этом мосту так велик, что для того, чтобы встретить нужных людей, достаточно прогуливаться здесь ежедневно в течение какого-нибудь часа.

Здесь дежурят полицейские шпионы, и если они в продолжение нескольких дней не встречают того, за кем следят, они решительно утверждают, что его нет в Париже. Вид с моста Пон-Рояль красивее, но с Пон-Нёфа он своеобразнее. Здесь парижане и иностранцы любят конную статую Генриха IV и все в один голос признают его за образец доброты и доступности.

Как-то раз один бедняк долго следовал за прохожим, прося у него милостыню; день был праздничный. «Во имя святого Петра,—молил нищий;—во имя святого Иосифа... во имя девы Марии... во имя ее божественного сына... во имя господина». А дойдя до статуи Генриха IV, он сказал: «Во имя Генриха IV!»—«Во имя Генриха IV?! Держи!»—и прохожий дал ему луидор.

Однажды продавец гипсовых медалей нес в руках два медальона, сложенных вместе: впереди Генрих IV, сзади Людовик XIV. «Почем?»—спросили его, указывая на первый. «Шесть франков».—«А другой? Вы его продаете?»—«Я их не разделяю, сударь: без первого мне не продать второго».

В провинции думают, что ночью нельзя перейти Пон-Нёф без риска быть сброшенным в реку. О нападениях Картуша* говорят так, словно этот грабитель до сих пор еще жив. В действительности же этот мост—одно из самых безопасных мест в городе.

Брат Людовика XIII, Гастон Орлеанский*, забавлялся тем, что воровал на этом мосту у прохожих плащи, и память об этом до сих пор еще жива в народе.

В нижней части Пон-Нёфа можно видеть вербовщиков, наборщиков рекрутов, которых называют *продавцами человеческого мяса*. Они набирают людей для полковников, а те перепродают их королю. В прежнее время существовали особые печи, так называемые *кутузки**, в которых вербовщики держали юношей, взятых силой или заманенных хитростью. В этих кутузках они мучили и избивали их. В конце концов эти чудовищные безобразия были пресечены, но употреблять в дело хитрость и обман при вербовке рекрутов разрешается по-прежнему.

Для достижения цели вербовщики пользуются довольно странными средствами: у них имеются девицы, работающие в казармах и помогающие им соблазнять молодых людей, мало-мальски

склонных к распущенности; имеются особые кабаки, в которых они спаивают любителей выпить; а накануне масленицы и дня святого Мартина по улицам носят длинные жерди, увешанные индейками, цыплятами, перепелами и зайчатами, с целью раздражить аппетит тех, кто не поддался соблазну сладострастья.

Бедные простофили, за всю свою жизнь ни разу не видавшие хорошего обеда, не могут устоять от соблазна и меняют свободу на один счастливый день. Потрясая перед ними мешком монет, им кричат: *Кому? Кому?* Всеми этими способами удается, в конце концов, пополнить армию героями, которые создадут славу государству и монарху. Цена героям, которых вербуют в нижней части Пон-Нёфа, — тридцать ливров штука. За особо молодцеватых платят немного дороже. Сыновья ремесленников очень огорчают отцов и матерей своим поступлением в армию, и случается, что родители их выкупают, платя по сто экю за того, кто стоил всего только десять; выкупные деньги идут в пользу полковника и офицеров-вербовщиков.

Вербовщики разгуливают с высоко поднятой головой, со шпагой на боку, и громко заывают проходящих мимо молодых людей. Они хлопают их по плечу, берут под руку и, стараясь сделать свой голос нежным и ласковым, приглашают их к себе. Молодой человек защищается, опускает глаза, краснеет, лицо его выражает смесь смущения и страха, и это невольно останавливает внимание тех, кто видит все это в первый раз.

Все вербовщики имеют в окрестностях города свои *конторы*, над которыми, вместо вывесок, развеваются флаги с гербом. Туда являются расписаться те, кто идет в солдаты добровольно. Один из вербовщиков написал над дверью своей лавочки строку из стихотворения Вольтера, совершенно не отдавая себе отчета в ее силе и значении:

Первый, кто стал королем, был удачливым солдатом*.

Я видел эту четко написанную строку в продолжение шести недель; потом она исчезла, и неизвестно, была ли она понята хоть одним из завербованных.

В давно минувшее время на Пон-Неёфе работал толстый лекарь Тома*, глава целой шайки шарлатанов. Для удовлетворения тех, кто его никогда не видел, привожу его вполне сходный с оригиналом портрет:

«Его можно было узнать издали по гигантскому росту и широкому платью. Стоя в стальной колеснице, он высоко держал голову, украшенную ярким султаном и напоминавшую собой голову Генриха IV. Его мужественный голос был слышен на обоих концах моста, на обоих берегах Сены. Окружавший его народ проявлял к нему полнейшее доверие, и самая безумная зубная боль, казалось, замирала у его ног. Толпа его поклонников, подобно водам потока, непрерывно текущим и всегда пребывающим на одном и том же уровне, казалось, не могла достаточно на него наглядеться. То и дело к нему протягивались руки, прося лекарств, а вдали виднелись фигуры убегающих смущен-

ных докторов, завидовавших его успехам. Чтобы закончить хвалу этому великому человеку, нужно прибавить, что он умер, так и не признав ученых врачей».

Рассказывают, что лет пять тому назад один англичанин побился об заклад, что в течение двух часов будет ходить взад и вперед по Пон-Нёфу, предлагая прохожим новенькие шестиллировые монеты по двадцать четыре су за штуку, и что, несмотря на такую дешовку, его мешок с тысячей франков, который он будет держать в руках, не истощится. Он принялся ходить по мосту, громко выкрикивая: *Кто хочет купить шестифранковые эю за двадцать четыре су штука? Продаю их по такой цене!* Некоторые прохожие, потрогав монеты и пожав плечами, шли своей дорогой, говоря: *Они фальшивые! фальшивые!* Другие улыбались, желая показать, что не поддадутся обману, и даже не давали себе труда остановиться и посмотреть. В конце концов одна простая женщина, смеясь, взяла три монеты, долго разглядывала их и сказала собравшимся вокруг зрителям: *Так и быть, возьму уж три штуки по двадцать четыре су, из любопытства!* Человек с мешком в течение всей своей двухчасовой прогулки не продал больше ни единой монеты и выиграл пари с своего знакомого, который меньше изучал и хуже его знал дух французского народа.

Ступеньки Пон-Нёфа заметно стираются в середине под ногами бесчисленных прохожих. Они становятся скользкими и требуют исправления.

Торговки апельсинами и лимонами сидят

в средней части моста в палатках, придающих ему еще бóльшую живописность, ибо эти фрукты столь же красивы, как и полезны.

51. Пон-Рояль

С моста Пон-Рояль открывается самый красивый вид на город. С одной стороны вы видите Ле-Кур*, дворцы Тюильри и Лувр, с другой— дворец Пале-Бурбон и длинный ряд великолепных особняков. Обе набережные Иль-де-Пале и две другие, окаймляющие реку, много способствуют красоте перспективы.

Если путешественник въезжает в город через мост Пон-де-Нейли, то, по мере приближения к заставе Шайо, его все более и более восхищает развертывающаяся перед ним картина с видом на великолепную площадь Людовика XV, на сад и дворец Тюильри.

Если бы осуществили в конце концов неоднократно уже предполагавшийся план очистки мостов Сен-Мишель, О-Шанж, Нотр-Дам и Мари от старых построек, которыми они так неприятно загромождены, то взор мог бы с наслаждением проникать с одного конца города до другого.

Какой неприятный контраст представляют собой великолепный правый берег реки и левый, до сих пор еще не мощный, вечно грязный и полный нечистот! Он застроен деревянными складами и жалкими домишками, в которых живут подонки населения. Но еще более удивляет то, что эта отвратительная клоака



Модные господа

С гравюры неизвестного мастера по рисунку Сент-Обена

граничит с одной стороны с дворцом Пале-Бурбон, а с другой—с прекрасной набережной Театинцев*.

Галиот, совершающий рейсы в Сен-Клу, отправляется в определенные часы от Пон-Рояля, и дешевизна переезда привлекает туда в воскресные и праздничные дни целые толпы парижан. Рейсы, совершаемые этим судном, не дают особенно высокого представления о мореплавательных талантах сенских матросов, если судить по неловкости, с которой они отчаливают и пристают к берегу. Некоторые парижане, явившиеся на пристань слишком поздно, чтобы воспользоваться галиотом, бросаются очертя голову в частные шлюпки, забывая, что эти хрупкие лодочки могут быть поглощены жалкими водами Сены так же легко, как волнами безбрежного океана. Люди, привыкшие к морским путешествиям, содрогаются при виде подобной неосторожности.

52. Очаровательный вид

Очень приятный вид открывается в хороший весенний день на сады Тюильри, или, вернее, на Елисейские Поля. Два ряда хорошеньких женщин окаймляют большую аллею. Они сидят на садовых стульях одна возле другой, глядят на всех столь же непринужденно, как глядят на них самих, и производят впечатление пестрого цветника. Разнообразие лиц и нарядов, удовольствие от того, что можно и себя показать и на других посмотреть, желание перещеголять

друг друга, скрываемое под маской скромности,—все это придает картине особую прелесть, привлекающую взгляды, и родит в голове тысячу мыслей—и о том, насколько моды умалют или подчеркивают красоту, и о женском кокетстве, и о врожденном желании нравиться, составляющем как их, так и наше счастье.

Фижмы наших матерей, юбки, перерезанные оборками, смешные наплечники, ряд охватывающих обручей, бесчисленные мушки, из которых некоторые были похожи на настоящий пластырь,—все это исчезло, за исключением несоразмерно высоких причесок, нелепость которых смягчается вкусом и изяществом. В общем женщины в настоящее время одеты лучше, чем когда-либо: их наряды соединяют в себе легкость, пристойность, свежесть и грацию. Платья из легких материй обновляются чаще, чем те, на которых блестело серебро и золото; они подражают, так сказать, оттенкам цветов различных времен года. Только искусные руки наших продавщиц и могут с таким изумительным разнообразием превращать газ, батист и ленты во все эти очаровательные наряды. Если бы женщины смогли отказаться от возмущающих глаз белил и румян, они исправили бы дурной вкус своих матерей и наслаждались бы всеми преимуществами, дарованными им природой. Они не нуждаются в бриллиантах и украшениях, свидетельствующих о богатстве и роскоши: бриллианты отвлекают собой часть внимания, которое заслуживает женская красота. Сильнейшее обаяние

красавицы состоит именно в том, что она о нем и не подозревает.

53. Бульвары

Это—великолепное, широкое место для прогулок, опоясывающее весь город. Им могут пользоваться люди всех сословий и состояний; здесь есть все, что может сделать прогулку приятной и увеселительной как для пешеходов, так и для катающихся верхом или в экипаже. Бульвары должны быть отнесены к числу самых выдающихся красот города.

Наименее посещаем Южный бульвар, а между тем он считается самым здоровым и им невозможно вдоволь налюбоваться. Его украшают четыре ряда деревьев, а посредине глубоко проложенное шоссе, шириною в двадцать четыре фута, со склонами, выложенными гравием и булыжником; шоссе тянется в настоящее время на шесть тысяч восемьдесят три туаза*. Подобного рода величественные и полезные сооружения встречаются только в больших и богатых столицах. Этот своеобразный пояс великолепен, но из того, что он опоясывает,—много бедно, жалко и непривлекательно.

54. Наши бабушки

Наши бабушки одевались не так хорошо, как наши жены, зато они хорошо понимали, что именно может способствовать благоден-

ствию семьи. Они реже бывали в обществе. Довольствуясь своим домашним царством, они смотрели на каждую отрасль хозяйства как на нечто крайне важное; оно было источником их радостей и основой их славы. Они поддерживали порядок, гармонию и счастье своей семьи, между тем как их заблуждающиеся дочери тщетно ищут всего этого в блеске и шуме света. Все мелочи, касающиеся стола, дома, хозяйства, давали пищу их способностям, а строгая бережливость поддерживала благоденствие богатых домов, которые в наши дни приходят в упадок. Исполняя эти сложные обязанности, связанные с заботами о домашнем очаге, женщины могли справедливо приравнять свой труд к труду своих мужей. Их дочери, в свою очередь, всячески старались содействовать господству в доме мирных и сладостных добродетелей семейной жизни; и молодой человек, желающий жениться, не боялся остановить свой выбор на девушке, воспитанной подобно ее матери и готовой продолжить род заботливых и трудолюбивых женщин.

Как далеки мы от этих обязанностей, столь простых и столь привлекательных! Правильный и однообразный образ жизни был бы мукой для наших жен; им необходим непрерывный ряд забав и увлечений—словом, все, что связано с показной стороной жизни и с тщеславием. Но они недовольны своей жизнью также и потому, что стремятся быть непременно там, куда природа не желает их допускать. И до тех пор, пока они снова не займут своего места в семье, они нигде не найдут удовлетворения.

Еще одно наблюдение: слуги составляли в те времена часть семьи; с ними обращались менее вежливо, но зато более любовно; они это понимали и становились более чувствительными и благодарными. Хозяева, которым тогда служили лучше, могли полагаться на их преданность, столь редкую в наши дни. Слуг оберегали как от несчастий, так и от пороков, а за послушанье платили благосклонностью и покровительством. В наши дни они переходят из дома в дом, им безразлично, кому бы ни служить; они безо всякого волнения встречают своих прежних господ. Они ходят друг к другу в гости только для того, чтобы поделиться секретами, которые им удалось узнать; это настоящие шпионы; а так как они чувствуют, что, несмотря на то, что им хорошо платят и хорошо их кормят и одевают, их все же презирают, они становятся нашими врагами. В прежнее время их жизнь проходила в труде, была суровой и скудной, но зато с ними считались как с людьми, и слуга умирал, дожив до старости около своего хозяина.

55. О крупных состояниях

В Париже состояния частных лиц доходят до трех-, пяти-, семи- и девятист тысяч ливров дохода в год, а три-четыре состояния дают и того больше. Состояния же, приносящие от ста до полутора ст тысяч ливров ежегодного дохода, — обычное явление.

Золото, — сказал кто-то, — стремится скапливаться и течет к тому, у кого оно уже

есть. Чем больше куча золота, тем быстрее она растет. Первый эю,—сказал Жан-Жак Руссо,*— труднее заработать, чем последний миллион.* Эта истина подтверждается в нашей столице. Что же делают все эти богачи со своим золотом? Что они делают?! Ничего великого, ничего действительно полезного. От праздности эти богатеи превращают пустыки в серьезные занятия, волнуются в поисках мнимых наслаждений и мучаются, устраивая всевозможные развлечения.

Они скорее предпочтут кормить лошадей, чем людей; на предметы ненужной роскоши они тратят деньги, которых хватило бы на усовершенствование всех полезных искусств; они ничего не жертвуют на физические опыты и науки, создающие величие человека и возвышающие его. Если они поддаются какой-нибудь дорожной прихоти, то она всегда мелка, ничтожна, сумасбродна. Часто говорят об их богатствах, но трудно сказать что-нибудь об их благодеяниях. Я оглядываюсь кругом и не вижу ни одного патристического памятника: все идет на домашнюю обстановку и на содержание челяди.

В среде богатых людей считается человеческим, щедрым, услужливым, добрым другом тот, кто в течение трех часов в день занимается выдумыванием новых способов разорения страны и увеличения ее нищеты. Он говорит о справедливости, о человеколюбии, о благотворительности, а проект, который он представляет на следующий день, разорит пятьсот семейств; это будет какой-нибудь новый откуп, какая-нибудь монополия; его губительное золо-

то похитит у бедного труженика то, что он мог бы заработать.

Целая провинция внезапно лишается предметов своего собственного производства. Все исчезает, как по волшебству. И *большим торговым делом* зовется то, что в действительности является лишь следствием алчности. Монополист—человек образованный, он рассуждает об искусствах,—кто же посмеет назвать его *взяточником*?! Правда, вокруг себя он делает кое-какие мелкие благодеяния, но зато сколько зла совершается им на пространстве ста лье в округности! Он далек от интересов государства и существует исключительно лишь для своих любовниц и льстецов.

Другие копят деньги, как скряги, и, черствея в праздности, не расстаются ни с единой крупицей своего золота. Напрасно их молит, заливаясь слезами, нищета; тщетно слышат они рассказы об общественных бедствиях,—они так же нечувствительны к несчастьям отдельных личностей, как и к несчастьям государства в целом.

Предпочесть червонец жизни своего брата, своего ближнего! Называть его бездельником, плутом, лодырем только для того, чтобы избавить себя от необходимости быть милосердным! Скрывать свою скупость под лживыми предложениями, не признаваться самому себе в своей жестокости... О! Можно ли после этого быть достойным имени человека?!

О несчастный, не внемлющий стенаниям нищеты, скажи: в тот день, когда лицо твое будет покрыто саваном и ты будешь лежать

в тесном гробу, —если останется в тебе еще капля чувства, не пожалеешь ли ты тогда о том, что не выделил нескольких крупиц от своих ненужных богатств страждущим братьям? Что останется тебе ото всей этой роскоши? Свинцовый гроб и мраморное изваяние!.. О, пока еще в твоей власти превратить эти крупицы металла в чистые, задушевные радости, научись понимать их, научись их любить! Неужели ты хочешь, чтобы после твоей смерти тебя проклинали, чтобы говорили: он тратил деньги на апельсиновые оранжереи, на бриллианты, на псарню?.. А на людей, на себе подобных?.. Ничего! Так поговорим же хоть о тех, которые кормят ближних обедами. Это, конечно, пустяк, но это все-таки кое-что.

56. Обедающие в гостях

Многие состоятельные люди раза два-три в неделю дают обеды своим друзьям и знакомым; получивши приглашение однажды, вы тем самым приглашены навсегда.

Стол в Париже обходится очень дорого; но в то же время только здесь можно существовать, не имея ни денег, ни работы, ни талантов. Согласен, что подобный образ жизни не особенно похвален, но, с другой стороны, ведь всякому нужно жить. А кто же, как не богат, накормит того, кто обладает хорошим аппетитом?

От восемнадцати до двадцати тысяч человек обедают неизменно по понедельникам — у купца, по вторникам — у судейского и так да-

лее, перебираясь в течение недели с одного этажа на другой. По пятницам они предпочитают обедать у любителей свежей морской рыбы и никогда не обманываются насчет меню. Эта порода людей состоит из приятных говорунов, музыкантов, художников, аббатов, холостяков и прочих.

Они побывали всюду и знают бесчисленное количество народа. Все они не имеют понятия о стоимости хлеба или мяса, и колебания цен на дрова и уголь их совершенно не интересуют. Они платят только водоносам. Ровно в два часа дня они выходят из дома нацудренные и завитые, чтобы занять место за столом, уставленным тонкими кушаньями. Они имеют при себе в виде паспорта несколько веселых рассказов— по одному на каждый дом—и содержание вчерашней газеты.

Они умеют широко пользоваться услугами лакеев, тогда как провинциалам, неловким новичкам, не хватает уменья хорошо поесть, ибо уменье отведать каждого кушанья при помощи нескольких кивков является особого рода искусством. Вечером они отправляются или к какой-нибудь старой ханже, или к подагрику, или к священнику, пользующемуся бенефицией*. Там они ужинают, и им приходится лишь изменить немного свою речь в зависимости от того, с кем они теперь беседуют, да выложить новости, слышанные утром. Итак, не имея ни доходов, ни службы, ни имения, одеваясь в платье, за которое они еще не расплатились с портным, и снимая помесечно скромное жилище, они умудряются жить, и жить в довольно хо-

рошем обществе. Способность запоминать имена людей, с коими они встречаются, некоторый светский лоск и большая гибкость помогают им поддерживать разговор, и никто никогда не сказал бы, видя их довольные, спокойные лица, что, если бы не щедрость и любезность хозяина дома, они остались бы в этот день без обеда. Я сравниваю их с птицами небесными, которые пользуются частью урожая, но ничуть не уменьшают его. Я считаю, что ничто не может быть более почтенно для богачей, как кормить тех, кто приходит к ним в дом; и из всех способов употребления своих богатств этот способ, без сомнения, для громадного большинства является самым приятным. Обычно богатые люди склонны к тщеславию, а потому, удовлетворяя других, они в то же время удовлетворяют и самих себя.

Если бы они устраивали обеды бережливее, без чванства, без пышности, ограничиваясь только необходимым и не допуская никаких излишеств, то это было бы еще лучше и дало бы им возможность или чаще повторять эти обеды, или ставить на стол большее число приборов.

Если бы я был богат, для меня было бы наслаждением давать такие обеды, но меню их состояло бы из простых блюд, и меня радовало бы видеть вокруг себя как можно больше беседующих и кушающих гостей.

В прежние времена таких людей называли *паразитами*. Оскорбительное и глупое название, придуманное скупостью, черствостью и эгоизмом! Вполне естественно, что тот, кто

не имеет своего стола (в Париже стол очень дорог), ищет знакомого, который мог бы пригласить его разделить с ним свой обильный обед. Сочувствие нищете многих честных людей, удовольствие накормить ближнего и подержать его здоровье вызывают в чувствительном человеке желание разделить с ним свою трапезу. Хозяин дома должен быть благодарен тем, кто верит в его доброе сердце настолько, чтобы придти к нему и попросить его уделить ему часть еды, которой у него слишком много и которую он один не мог бы съесть, не причинив себе расстройств желудка.

Земля—это общий стол, накрытый создателем; и как птица, схватывающая на лету зернышко, чтобы унести его в свое гнездо, так и поэт, идущий обедать к откупщику и восхищающий его своим аппетитом,—оба одинаково берут то, на что имеют полное право.

Увы! Мы все только временные гости на земле. Сегодняшние хлеба и плоды принадлежат настоящему поколению, а не тому, которое придет ему на смену. Пусть же это поколение пьет вино, которое созрело на его глазах, и ест овощи, за ростом которых оно наблюдало. Природа в будущем возобновит круг своих благодеяний для других людей. Завтра мы исчезнем; так неужели же мы откажем в обеде нашему брату и бесчеловечно запрем свою дверь, чтобы в одиночестве пожирать свои припасы? Разве бывает аппетит, когда обедаешь один? И не большую ли пользу приносит трапеза, за которой раздаются веселые возгласы и сияют улыбки гостей?

Пусть же имя *паразит*, которое дают честной нищете, имеющей право на стол богачей, навсегда исчезнет из нашей речи как слово оскорбляющее человечество; пусть его никогда больше не произносят, особенно в Париже, где, благодаря' более мягким и человечным нравам, его уже начинают постепенно забывать. Пусть этим словом пользуется только жестокий и злой человек, скрывающийся в уединении из боязни, чтобы его не разгадали, да бедняк, которому самому подстать идти обедать в гости и у которого на столе еды бывает в обрез.

57. Монарх

Король для парижан то же, что модель, стоящая посреди работающих с нее рисовальщиков. В столице каждый старается сделать его портрет. Его зарисовывают, изображают со всех сторон, причем в большинстве случаев портрет получается неудачным и мало похожим на оригинал. Тот, кто стоит от него далеко, замечает одни только главные черты, передаваемые молвой; а голос ее обычно весьма неясен. Тот же, кто подходит близко, видит лишь внешний облик человека; тонкие духовные черты от него ускользают. Послушайте лакея, который раздевает монарха; придворного, сопровождающего его на охоте; солдата, который за него сражается; чиновника, являющегося с прошениями; литератора, который его подкарауливает; философа, который его жалеет; народ, судящий о нем по ценам на продовольствие,—все это будут

отличные друг от друга портреты. Никто не читает в глубине его души; одно только время создает правдивый портрет. И хотя нет никого, кто был бы более на виду, чье сходство, казалось бы, легче всего уловить, тем не менее не остается ли характер Людовика XV для нас и до сих пор все еще неразгаданной тайной?

58. Изменчивость правительства

В Афинах один иностранец, придя в балет, увидел пять масок, пять костюмов и только одного танцора. *А кто же будет,*—спросил он,—*изображать остальных действующих лиц?*—*Один и тот же человек,*—отвечали ему.—*Один и тот же?! Но в таком случае у него в одной теле несколько душ!* Таково французское правительство. Будучи прекраснейшим мимистом, оно изображает все сословия,—оно является последовательно в одежде военного, финансиста, судейского, банкира, священника. В течение трех-четырех месяцев я видел его даже в роли автора, так как оно выпустило около сотни брошюр, и очень скверных, сказать по правде: повидимому, эта роль подходит ему менее других.

Нужно ли удивляться после этого, что в Париже можно встретить множество людей, похожих на Алкивиада*, который был тщеславен, блестящ, способен был *облачаться* во всевозможные характеры, любил показную сторону жизни и все, что притягивает взоры толпы, и предпочитал слыть не столько хорошим гражданином, сколько остроумным человеком?

59. Шпионы

Если бы парижанин не страдал тем врожденным легкомыслием, в котором его упрекают, он сделался бы легкомысленным преднамеренно. На улице он всегда окружен шпионами. Как только два гражданина начинают разговаривать друг с другом на ухо, к ним тотчас же подходит третий и вертится вокруг, чтобы подслушать, что они говорят. Полицейские шпионы— это те же любопытные, с тою только разницей, что каждый из них имеет особые мундиры, которые меняет ежедневно; ничто не может сравниться по быстроте с этими удивительными превращениями.

Тот, кто утром был при шпаге, вечером облачается в рясу. Он является то в образе длинноволосяго приказного, то в образе уличного забияки со шпагой на бедре, а на следующий день, вертя в руках тросточку с золотым набалдашником, будет изображать из себя финансиста, всецело занятого деловыми расчетами. Самые странные перевоплощения ему ровно ничего не стоят. В один и тот же день он и кавалер ордена Сен-Луи*, и парикмахерский подмастерье, настоятель какого-нибудь монастыря, с тонзурой на голове, и поваренок. Он появляется то на пышном балу, то в самом смрадном кабаке. Сегодня у него на пальце бриллиантовое кольцо, завтра на голове грязный парик. Он меняет физиономию почти так же ловко, как и платье, и по этой части мог бы дать добрый совет Превиллю*. Полицейский шпион все видит, все слышит, всюду поспеваает; не знаю,

как только он может обегать в один день все шестнадцать парижских кварталов! Иногда он сидит в углу какой-нибудь кофейни и производит впечатление неповоротливого, скучающего, унылого гражданина, задремавшего в ожидании ужина; в действительности же он все уже успел увидеть и услышать. В другой раз он является в роли оратора, первый вносит смелое предложение, вызывает на откровенность, истолковывает по-своему само ваше молчание, и, независимо от того, скажете ли вы что-нибудь или нет, он уже знает, что вы думаете о том или другом предмете.

Таково орудие, которым пользуются в Париже для выкачивания секретов; а оно оказывает на действия министров больше влияния, чем какие бы то ни было соображения политического порядка.

Шпионаж порвал все узы доверия и дружбы; теперь в разговоре затрагиваются только самые пустяшные вопросы, и правительство, так сказать, диктует гражданам тему, которую они будут развивать вечером в кофейнях и клубах. Если хотят скрыть чью-нибудь смерть, то, сказав на ухо: *Он умер*, прибавляют: *Об этом не говорят впредь до нового распоряжения*.

Народ потерял всякое представление о гражданской и политической власти, и если что и может потешить среди всей этой плачевной невежественности, так это слова одного придурковатого буржуа, который вообразил, что Версаль и Париж должны предписывать законы и давать тон всей Европе, а следовательно и всему миру! Самые невежественные, закорене-

лые предрассудки все еще не могут испариться из старых голов парижан, преисполненных неисправимой глупости. Народ, который ничего другого, кроме *Газет де-Франс**, не читает, естественно думает только по ее указке.

60. Книгоноши

Полицейские шпионы ведут особенно яростную войну с книгоношами—людьми, торгующими единственно хорошими книгами, которые еще можно читать во Франции, и поэтому, конечно, запрещенными.

Книгонош всячески притесняют. Полицейские сыщики яростно преследуют этих несчастных, которые не ведают, что продают, и готовы спрятать под плащ библию, если начальник полиции решит ее запретить. Их сажают в Бастилию за самые пустяшные брошюрки, которые на следующий же день забываются, а иногда присуждают и к железному ошейнику. Этим способом чиновники мстят за маленькие сатиры, которыми отмечают их повышения по службе. До сих пор еще ни один министр не счел нужным отнестись с презрением к подобным выпадам или сделаться неуязвимым, действуя открыто и памятуя, что похвала будет безмолвствовать до тех пор, пока критика не сможет свободно возвысить свой голос.

Лучше бы они наказывали лезть, осаждающую их, если они так боятся пасквилей, в которых всегда содержится известная доля правды; к тому же надо сказать, что общественное



Сельский разносчик
С гравюры Романа по рисунку Сека

мнение строго осуждает клеветника, и несправедливая сатира никогда еще не ходила по рукам более каких-нибудь двух недель: общее презрение всегда карало ее.

Нередко полицейские пристава, на которых возложена обязанность пресекать распространение таких памфлетов, сами широко торгуют ими среди избранных лиц и зарабатывают на этом больше, чем заработало бы тридцать книгонош.

При подобных нападках сами министры стараются обмануть друг друга; они смеются над градом издевательств, которые сыплются на головы их товарищей, и втихомолку поощряют то, что на виду у всех яростно преследуют.

История *Переписки канцлера Мону** (эта книга, высмеяв его, в конце концов выбила его с занимаемых им позиций) могла бы пролить свет на все хитрости и уловки, к которым прибегают честолюбцы на пути богатства и власти.

Из области политики и истории в Париже не печатают ничего, кроме лжи и сатир. Иностранец с жалостью смотрит на все, что столица издает по этим вопросам. Такое положение вещей начинает отражаться и на произведениях другого рода, так как оковы, наложенные на мысль, дают себя чувствовать даже в книгах легкого содержания. Парижские печатные станки должны будут отныне служить только для афиш и пригласительных билетов на свадьбы и похороны. Даже альманахи считаются чем-то очень важным и подвергаются тщательному просмотру и чистке.

Когда я вижу книгу, одобренную правительством, я могу, не раскрыв ее, держать пари, что она содержит в себе всяческую политическую ложь. Государь может, конечно, сказать: *Пусть этот кусочек бумаги стоит тысячу франков*, но он не властен сказать: *Пусть эта ложь превратится в истину*, или: *Да будет эта истина отныне считаться ложью*. Может быть, он это и скажет, но ему никогда не удастся заставить человеческий ум согласиться с этим.

Что достойно восхищения в искусстве книгопечатания, так это то, что превосходные произведения, делающие честь человеческому уму, не пишутся по приказу и ради денег; они—плод свободного творчества и благородного ума, который развивается, невзирая на опасности, и приносит дары человечеству наперекор тиранам. Вот что делает литератора достойным уважения и что обеспечивает ему признательность будущих поколений.

Бедные неграмотные книгоноши, чтобы заработать кусок хлеба, продают, сами того не зная, самые редкостные произведения человеческого гения, служащие делу свободы, и принимают на себя раздражение должностных лиц, которые редко нападают на самого автора из боязни возбудить против себя негодование общества и заслужить всеобщую ненависть.

61. Состав полиции

Полиция—это сборище негодяев—делится на две половины: из одной создаются полицейские

шпионы, сыщики; из другой—стражники и пристава, которых науськивают потом на жуликов, мошенников, воров и прочих, подобно тому как охотник науськивает собак на лисиц и волков.

За шпионами следуют по пятам другие шпионы, которые следят за тем, чтобы первые исполняли свои обязанности. Все они взаимно обвиняют один другого и готовы пожрать друг друга из-за самой гнусной добычи. И вот из этих-то омерзительных подонков человечества рождается общественный порядок! Начальство жестоко расправляется с ними всякий раз, когда они обманывают его бдительность.

Таков замечательный порядок, господствующий в Париже. За человеком, который выдан кем-либо или находится на подозрении, устанавливается такая слежка, что малейший его поступок становится известен, и это продолжается вплоть до его ареста.

Описание примет такого человека дает вполне точный портрет, по которому нельзя не узнать его, и искусство рисовать человеческие лица словом усовершенствовалось до такой степени, что лучший писатель, сколько бы над этим ни думал, не мог бы ничего ни прибавить, ни изменить.

Полицейские Тезеи* все ночи напролет бегают по улицам, очищая город от злоумышленников, и можно сказать, что теперь львы, медведи и тигры по приказу полиции посажены на цепь.

Далее следуют дворцовые шпионы, городские, альковные, уличные, шпионы публичных

женщин, шпионы каламбуристов и остряков, — все они известны под именем полицейских шпионов, или *мушаров* — по фамилии первого шпиона французского двора*.

Даже знатные люди в настоящее время занимаются этим ремеслом; многих из них величают: г-н барон, г-н граф, г-н маркиз.

Было время, при Людовике XV, когда шпионов было так много, что друзья, собравшись вместе, не могли открыть друг другу душу даже по близко их касающимся вопросам. Министерский надзор приставил часовых к дверям всех зал и *подслушивателей* ко всем кабинетам. За наивную откровенность в кругу друзей, которая не должна была проникнуть за пределы домашнего очага, наказывали как за опасный заговор.

Эта гнусная слежка отравляла общественную жизнь, лишала людей самых невинных удовольствий и превращала всех граждан во врагов, которые боялись открыться друг другу.

Каждого, имеющего (хотя бы и по принуждению) какое бы то ни было отношение к полиции в хорошем обществе не принимают, и это, конечно, вполне справедливо.

Не менее четверти всего количества прислуги служит в качестве шпионов, и семейные тайны, которые считают великолепно скрытыми, становятся достоянием заинтересованных лиц.

У министров имеются свои собственные шпионы, независимо от полицейских; они держат их на жалованье; это самые опасные из всех, потому что у них нет такого подозрительного вида и их труднее распознать. Благодаря им министры узнают все, что о них говорят, но

пользы они извлекают из этого мало. Они гораздо больше думают о том, как бы уничтожить своих врагов и преградить дорогу соперникам, чем о том, чтобы прислушиваться к свободным и откровенным предупреждениям толпы. О министрах говорят обыкновенно довольно свободно. С почтением здесь относятся лишь к членам королевского дома.

Но придворные тайны распространяются не через шпионов; они распространяются при помощи некоторых лиц, внушающих полное доверие; так, прекрасно оборудованный корабль дает течь благодаря незаметной, неуловимой щели.

Что придает особый интерес всем вообще дворам и нашему в особенности, это то, что действия правительства покрыты известной долей туманности, которая возбуждает желание проникнуть в скрытое, узнать самую суть дела, подобно тому как всякая машина, даже самая гениальная, возбуждает любопытство только до тех пор, пока не рассмотрены все пружины, приводящие ее в действие. Нас привлекает особенно сильно то, что можно постигнуть лишь с трудом. С течением времени все самые таинственные вещи становятся общеизвестными. Язык неизбежно передает все, что видит глаз, а может быть, даже и то, что он только подозревает.

62. Ночная стража

В ночное время спокойствие Парижа охраняется бдительностью ночных сторожей и

двумя-тремястами полицейскими, которые шныряют по улицам, выискивают подозрительных личностей и следят за ними. И все аресты производятся полицией именно по ночам.

Большие фонари, расставленные тут и там, в свою очередь смущают злоумышленников, так что улицы Парижа столь же безопасны ночью, как и днем, если не считать отдельных случаев, совершенно неизбежных при наличии отчаявшихся людей, которым уж нечего больше терять.

В прежние времена случалось, что ночных сторожей секли,—это входило даже в число развлечений мушкетеров и молодых людей из общества, которые забавлялись тем, что разбивали фонари, стучали в двери мирных граждан и безобразничали в публичных домах, где нередко утаскивали только что вынутый из печки ужин, колотили служанку и рвали мундир на являвшемся на шум полицейском. Но все эти выходки были пресечены с такой строгостью, что о подобных развлечениях нет больше и помину. Молодежь больше уже не слышит неукротимой, и теперь ничто не могло бы послужить извинением буйным выходкам.

А это далеко не пустяшное достижение в жизни столицы. Люди зрелого возраста могут теперь не опасаться выходок кипучей молодости. Один судья сказал как-то, что он желал бы, чтобы к улицам Парижа относились с таким же уважением, как к святилищу. И, говоря так, он был совершенно прав.

Цивилизация в этом отношении дошла почти до совершенства; дерзких, пьяных выходок

теперь уж нечего бояться: помощь всегда близка. Стоит только крикнуть, и в большинстве случаев вам очень быстро будет оказано требуемое содействие.

Педро Жестокий*, любивший, как говорит молва, справедливость, по словам одного испанского историка доказал это следующим образом: он любил бегать по ночам по улицам, и вот однажды, когда он стал шуметь и безобразничать, один из ночных сторожей, приняв его за простого обывателя, изрядно его поколотил. Король убил его. На следующий день судебные власти стали разыскивать убийцу, и одна простая женщина, признавшая короля, указала на него. Судьи в полном составе явились к нему с жалобой, и король, дабы удовлетворить правосудие, приказал снести голову своему мраморному изображению. И до сих пор еще эта обезглавленная статуя красуется на перекрестке, где было совершено убийство!

Картуш приводил в трепет весь Париж в течение довольно долгого времени; но в наши дни никакой главарь воровской шайки, обладай он еще большей дерзостью и ловкостью, никогда не создал бы такой паники.

Непрерывная переписка между судьей и чинами полиции ставит судью в известность обо всем происходящем, и таким путем беспорядки не только наказываются, но и предотвращаются.

Все справки, извещения, проверки направляются в один центр, где сосредоточивается все, что касается общественной безопасности.

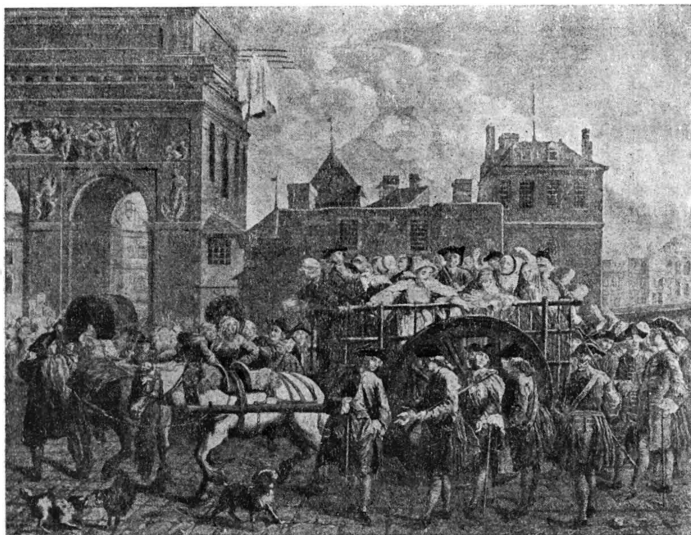
Независимо от этих мероприятий, наличие больших фонарей, как простых, так и

реверберов*, а также различных видов городской полиции предотвратили—как я уже говорил—бесконечное число происшествий.

Меры предосторожности никогда не лишни, в особенности при приближении зимы. Сейчас машина налажена и хорошо работает уже в течение пятидесяти лет; но, как и у всякой машины, у нее бывают временные перебои. Однако если бы она внезапно совсем остановилась, Париж сделался бы жертвой всех ужасов, которые выпадают на долю взятого приступом города.

Ночная охрана столицы состоит приблизительно из полуторы тысячи человек. Можно поступить в этот отряд и состариться в нем, не получив ни одной раны, и сделать на этом поприще такую же блестящую карьеру, какую делает монах, который только пьет, ест и обладает хорошим пищеварением. Все сводится лишь к тому, чтобы выспаться днем, вместо того чтобы отдыхать ночью.

Иногда солдаты, составляющие ночную охрану, безо всякой на то причины дурно обращаются с арестованными, надевают им наручники и действуют при этом с большой жестокостью. Нужно строжайшим образом пресечь подобные злоупотребления и следить за тем, чтобы охранители общественной безопасности относились как можно человечнее к каждому гражданину, который до тех пор пока судья не произнесет над ним приговора, сохраняет все права на людское уважение; ибо он может оказаться невиновным, несмотря на все признаки виновности.



Отправка публичных женщин в Приют
С гравюры Ле-Вассёра по рисунку Жора

63. Начальник полиции

Начальник полиции превратился в важного министра, хотя он и не носит этого звания. Тайное влияние, которым он пользуется, громадно. Он так много знает, что может и причинить большое зло и сделать много добра, запутывая или распутывая по собственному желанию многочисленные нити, находящиеся в его руках. Он то сражает, то спасает, то распространяет мрак, то проливает свет; его могущество столь же неуловимо, сколь велико.

Функции его общеизвестны, но неизвестно, может быть, то, что он занимается также и укрывательством от обыкновенного правосудия множества молодых людей из хороших семей, которые от избытка кипучих страстей совершают кражи, мошенничества и всевозможные низости; он скрывает их от общественного позора, который пал бы и на их ни в чем неповинные семьи, и совершает акт человеколюбия, избавляя несчастных отцов от бесчестия, которому они подверглись бы, так как наши предрассудки на этот счет весьма несправедливы и жестоки.

Распутных юношей заключают в тюрьму или ссылают, но рука палача их не касается; тем самым полиция вырывает у судей виновных, которые заслуживали бы сурового телесного наказания; но так как в подобных случаях молодые люди все же бывают изъяты из общества и возвращаются только после того, как искупят свою вину и исправятся, то общество не имеет основания жаловаться на такую снисходительность.

Нужно, однако, заметить, что повешение применяется почти исключительно к преступникам из простонародья; вор, принадлежащий к подонкам населения и не имеющий ни семьи, ни поддержки, ни защиты, возбуждает к себе тем меньше жалости, чем больше проявлено снисходительности по отношению к другим провинившимся.

Ежемесячно, без особых разговоров, по приказу пристава забирают от трех до четырех сот публичных женщин, из которых одних препровождают в Бисетр* для лечения, других— в Приют* на исправление, причем тем из них, у которых есть хоть немного денег, удается выпутаться из беды.

Ежемесячно в назначенный день все эти созданныя дефилируют перед полицейским судьей, единственным судьей в этом деле. Одни из них делают ему реверансы, другие осыпают его ругательствами, а он только сурово твердит: *В Приют, в Приют!*

Эта часть нашего законодательства далеко не совершенна, — в ней царит большой произвол. Так, например, секретарь начальника полиции единолично определяет как место заключения, так и его срок, обычно более или менее продолжительный. Жалобщиками большей частью выступают ночные стражники, и нельзя не удивляться тому, что один человек распоряжается свободой стольких людей. Позор, которым запятнали себя эти женщины, нисколько не оправдывает такого насилия. Нетрудно было бы взять пример с того, как совершается подобного рода процедура в уголовных процес-

сах, так как и здесь дело идет о лишении свободы. Иногда совершенно невинные девушки, которые только от смущения не ответили на предложенные им вопросы, оказываются в одной партии с этими несчастными.

Начальник полиции проявляет полнейшее самоуправство и по отношению к полицейским шпионам, обвиняемым в нарушении закона или в подаче неверных донесений; но что касается этого сорта людей, то это столь подлая и низкая порода, что вполне естественно, что власть, которой они себя продали, проявляет по отношению к ним самый безграничный деспотизм.

Иначе обстоит дело с теми, кого арестовывают именем полиции; возможно, что они и совершили какие-нибудь мелкие проступки; возможно также, что они имеют врагов среди множества полицейских, шпионов и сыщиков, которым обычно верят на слово. Зоркость судьи легко может быть введена в заблуждение, и следовало бы подвергать более строгой проверке наказания, назначаемые в подобных случаях. Бисетр же поглощает множество людей, которые там только еще больше развращаются и выходят оттуда более озлобленными, чем вошли. Униженные в собственных глазах, они бросаются в еще больший разврат.

Повторяю, что в этой отрасли законодательства у нас царит страшный хаос, похожий на тот, что существует в законах, касающихся арестов неимущих граждан. Но никто и не помышляет об исправлении этих законов, сложившихся на глазах судебного ведомства,

хотя никто не может установить их законность и никому неизвестно, как они возникли и кем утверждены.

Временами деятельность полиции невероятно ослабевает, и только после каких-нибудь особенно громких происшествий вновь приобретает утраченную силу.

Обычно скрывают все скандальные преступления и убийства, которые могут вызвать панику и свидетельствовать о недостаточной бдительности полицейских, приставленных охранять спокойствие столицы.

По приказу полиции самоубийц хоронят непосредственно после осмотра трупа и составления протокола судебным следователем; и хорошо делают, так как, если бы был опубликован перечень всех самоубийств, он оказался бы чудовищно большим.

Несчастные случаи, имеющие место на улицах Парижа,—по вине кучеров, от свалившихся с крыш черепиц или от чего-нибудь подобного—тоже окружаются тайной, так как, если бы все эти бедствия учитывались, они вызвали бы к великолепному городу чувство ужаса и отвращения. Все эти несчастные жертвы общественных работ и чересчур многочисленного населения можно видеть в Огель-Дьё* и в Морне*.

Нужно, впрочем, сказать, что это страшно тяжелая и трудная обязанность—сдерживать такое множество людей, обреченных на голод и видящих, как другие утопают в довольстве; сдерживать вокруг наших дворцов и великолепных домов всю эту толпу несчастных, бледных

и измученных, похожих на призраки людей, в то время как золото, серебро и бриллианты наполняют дворцы, искушая бедняков напасть на них, чтобы утолить гнетущую их нужду.

Сумасбродство и мотовство богачей, вероятно, уменьшают в их глазах несправедливость и позор воровства.

Аудиенция начальника полиции крайне интересна. К нему обращаются с самыми разнообразными жалобами и просьбами. К нему подходят, говорят несколько слов на ухо, он отвечает избитой фразой, потом обходит три залы, принимая прошения. Руки его секретаря с трудом могут их держать. Простонародье занимает последнюю залу и, дрожа от страха, величает начальника *ваша милость*. Просителей низшего разбора выпроваживают очень быстро.

Если бы этот чиновник сообщил какому-нибудь философу все, что он знает, все, что ему говорят и что он видит, и поделился бы с философом некоторыми секретами, известными почти что ему одному, и если бы философ все это записал, то ничего более любопытного и назидательного не могло бы выйти из-под его пера философ удивил бы всех своих собратьев. Но начальник полиции похож на духовника: он выслушивает всех, но никому ничего не сообщает, и многие преступления изумляют его гораздо меньше, чем изумили бы всякого другого. Он столько видит хитростей, мошенничеств, пороков и тайных измен, столько подлости и грязи в человеческих поступках, что ему, естественно, не легко поверить в честность и добродетельность порядочных людей. Он всегда полон

недоверия и сомнений, и, в сущности, у него и не может не выработаться такой именно характер. Ничто не должно казаться ему невозможным после всех изумительных уроков, получаемых им от людей и событий. Да и должность его требует постоянного недоверия и суровости.

64. Пожары.—Пожарные насосы

Из пожаров последнего времени самыми большими были: пожар здания Счетной экспедиции 27 октября 1737 года и два пожара Отель-Дьё—1 августа 1737 года и 30 декабря 1772 года*. Не удалось в точности установить число несчастных жертв, погибших в огне во время этого последнего пожара: *Газет де-Франс* была в то время так лжива! Но говорят, что число жертв было вряд ли меньше тысячи двухсот—тысячи пятисот.

Вспомним также о пожаре моста Понт-о-Шанж* 26 января 1746 года. Семь или восемь девушек-работниц в мастерской церковных облачений были заперты на ключ хозяйкой, ревниво охранявшей их целомудрие, и заживо сгорели. Окна их комнаты были снабжены железными решетками, так что девушки не могли броситься в реку. Это было ужасное зрелище. Все слышали их крики, знали, что они гибнут, и не имели возможности помочь им.

Припомним еще пожар ярмарки Сен-Жермен в 1760 году, пожравшем лучшие во всей Европе постройки этого рода.

Припомним пожар здания Оперы в 1763 году,

давший нам в итоге более красивый и удобный зрительный зал.

Вспомним, наконец, о пожаре Пале* 11 января 1776 года, пожаре, который, возможно, не был простой случайностью. Он напомнил собой пожар большей части зданий того же дворца, случившийся в марте 1618 года. Рассказывают, что тот пожар был делом рук сообщников убийства Генриха IV, надеявшихся сжечь канцелярию, где хранились документы по делу Равайака. Если бы не старанья секретаря, сгорели бы все дела парламента.

Всего только несколько лет, как стали применять пожарные насосы; они оказывают обществу действительную, быструю и даровую помощь. Прежде обывателя, в доме которого произошел пожар, облагали штрафом. К чему же это приводило? Обыватель старался потушить пожар собственными усилиями, не звал никого на помощь; дом скоро начинал пылать, а вслед за ним и весь квартал.

В настоящее время при первом признаке огня можно обратиться непосредственно в пожарное депо, где находятся пожарные насосы и дежурные пожарные в касках и с топорами, а поблизости стоят уже запряженные повозки с резервуарами воды. Штрафов больше не взимают и за оказываемую помощь ровно ничего не берут. Всем этим мерам предосторожности, столь желательным, мудрым и предусмотрительным, мы обязаны г-ну Сартину*.

Гвардейский полк, который раньше был городу только в тягость и приводил своими бесчинствами в ужас все население, нашел

себе, наконец, полезное применение, получив от полковника приказ выходить из казарм при первом же известии об огне, отправляться в числе нескольких отрядов на место пожара и оказывать там необходимое содействие соответственно с характером бедствия.

Солдаты, снабженные всеми нужными для этого орудиями, работают на пожарах с замечательной быстротой и ловкостью. Со дня выхода этого приказа пожары лишь в редких случаях наносят серьезный ущерб.

Это нововведение доказывает, что есть возможность постепенно усовершенствовать одну за другой все отрасли городского управления, раз пожарное дело, столь несовершенное всего еще двадцать лет назад, вызывает теперь всеобщее восхищение и благодарность.

65. Реверберы

Вот уже шестнадцать лет, как не существуют больше простые фонари. Их заменили реверберы. В былые времена в городе было восемь тысяч фонарей; в них горели скверно всаженные салвные свечи, задувавшиеся ветром и оплывавшие. Они плохо освещали улицы, давая слабый, колеблющийся, неверный свет, пересекаемый изменчивыми, жуткими тенями. В наши дни нашли лучший и более простой способ освещать город. Огни тысячи двухсот реверберов льют теперь ровный, яркий и продолжительный свет.

Зачем же скупость вмешивается в это полезное нововведение?! В лунные ночи освещение

столицы реверберами прекращается; но дело в том, что до появления луны на улицах царит непроглядная тьма, а когда луна начинает всходить над горизонтом, многоэтажные дома преграждают путь ее свету, и он становится бесполезным. То же получается и после захода луны; в это время Париж окончательно погружается в самые опаснейшие потемки.

Масло для реверберов выделяется из кишек животных; варят его на острове *Лебедей*.

Каждые двадцать лет домовладельцы обязаны платить довольно значительную сумму за очистку мостовых от грязи, а также и за фонари. Налог намного превышает затраты, идущие на это в течение всех двадцати лет, и является добавкой к прочим притеснениям, претерпеваемым добрым парижанином.

Грязь парижских мостовых содержит в себе частицы железа, отделяемые колесами экипажей, и приобретает от этого черный цвет; вода же, текущая из кухонь, делает ее к тому же еще и зловонной. Для иностранцев этот запах невыносим благодаря большому количеству серы и азотистых солей, содержащихся в грязи; добавим, что грязь эта, попав на платье, выедает материю.

Грязь и всевозможные нечистоты сваливают в бочки и выливают в соседние поля; горе тому, кто живет близ этих зловонных свалок! Очистка города сдается подрядчикам с торгов.

Когда выпадает снег, когда нужно его убирать, очищать канавы от ледышек и когда нечистоты становятся крепкими, как камень, так что приходится предварительно откалывать

их от мостовых, работа по вывозке этих от-
вердевших веществ становится делом нелегким.
Через какие-нибудь три дня улицы сделались бы
совершенно непроходимыми, и граждане оказа-
лись бы запертыми в своих домах, если бы не
полиция, удваивающая в этих случаях свою
бдительность и рвение; при этом надо сказать,
что некоторые улицы чистятся так хорошо, что
трудно понять, почему другие пребывают в пол-
ном забросе.

66. Вывески

В настоящее время вывески прибывают на
стены домов и лавок, тогда как прежде их ве-
шали на длинных железных крюках, и, всякий
раз когда дул сильный ветер, вывески вместе
с крюками грозили свалиться и задавить про-
хожих.

В ветреные дни вывески скрипели, колоти-
лись одна о другую и производили такой жалоб-
ный, нестройный звон, о котором не имеют пред-
ставления те, кто его никогда не слышал. Кроме
того, по ночам они бросали на улицу широкие
тени, сводившие на-нет слабый свет фонарей.

Большинство вывесок бывало громадных раз-
меров, с выпуклыми надписями и изображения-
ми; обычно на них красовались какие-то вели-
каны, на которых взирал самый низкорослый в
Европе народ. На одной вывеске красовался
эфес шпаги, величиною в шесть футов, сапог
с бочку величиною, шпора с экипажное колесо,
перчатка такого размера, что в каждом ее пальце

поместилось бы по трехлетнему ребенку; чудовищные головы и руки, держащие рапиры, заполняли улицы во всю ширину.

В настоящее время город не щетинится более всеми этими грубыми отростками и являет взорам, если можно так выразиться, гладкое, вымытое, выбритое лицо. И этим разумным нововведением он обязан *господину Антуану-Ремону-Жану-Гальберу-Габриэлю де-Сартину, который из начальника полиции сделался морским министром.*

67. Крытые рынки

Единственное в своем роде зрелище представляет собой весной и летом, в ранние утренние часы, цветочный и фруктовый рынок. Вы изумлены, восхищены,—это самое интересное, что есть в Париже. Флора и Помона* протягивают здесь друг другу руки; лучшего храма они никогда не имели. Здесь осень вновь возрождает богатства весны, здесь три времени года соединяются в одно.

Самые лучшие персики растут в окрестностях Парижа; благодаря заботам, которые уделяются их выращиванию, они приобретают восхитительный вкус.

Букетик фиалок в середине зимы стоит два луидора, и находятся женщины, которые украшают ими свои платья!

Полчетверика раннего зеленого горошка продается иногда за сто экю; его покупает какой-нибудь откупщик; но по крайней мере на этот

раз такие деньги получит огородник в награду за свои труды и заботы, и я предпочитаю, чтобы они попали в его руки, чем к какому-нибудь золотых дел мастеру.

Если бы запасы, доставляемые на рынки, задержались в пути хотя бы на один день, — стоимость провизии удвоилась бы, а на третий день в городе начался бы голод.

Съестные припасы вздоржали чудовищным образом; это — следствие роскоши, существующей за столом богачей: они все тащат себе, так что беднякам приходится оспаривать друг у друга всякую дрянь, а благодаря конкуренции жалкие остатки продаются почти по той же цене, по какой было продано все самое лучшее.

Теперь за обедами всюду требуется большое разнообразие блюд — разные *антре* и *антрме**, и не съедается и четверти того, что подается к столу. Все эти дорогие кушанья съедаются челядью. Лакей питается гораздо лучше, чем какой-нибудь мелкий буржуа. Этот не решается даже и подступить к свежей рыбе; он вдыхает ее аромат и ограничивается этим. Лакеи же вельмож и прелатов по горло сыты самой изысканной пищей.

Когда метр-д'отели наполняют свои большие корзины всем, что им требуется, — являются служанки и начинают нагружать свои фартуки. При этом вечно происходят споры. За все, что продается по частям, платится втрое дороже; каждое маленькое хозяйство соперничает с соседним. Рыночные торговки диктуют законы; кто хочет обедать, вынужден платить ту цену,

которую они спрашивают. Поэтому нет на свете народа, который питался бы хуже низших классов парижан.

За обедом—суп и вареное мясо; вечером—рагу из говядины с петрушкой или бёф а-ла-мод. По воскресеньям—или задняя баранья нога или лопатка; рыбы почти никогда не бывает, овощи—крайне редко, потому что приготовление их обходится дорого,—вот обычная еда парижанина; так живет больше трех четвертей обитателей города, пребыванию в котором столь завидуют провинциалы, питающиеся у себя дома далеко не так скудно.

Чем беднее данный класс, тем труднее ему питаться. Существуют бедные семьи, в которых сервелатная колбаса, купленная за три су, составляет всю еду, потому что ничего лучшего их средства им не позволяют. Нужно сказать, что эта вредная для желудка колбаса продается на рынке по восемнадцати су за фунт, и ни один самый богатый вельможа не платит такой относительно высокой цены за кушанья, составляющие его обед.

Парижане в течение нескольких лет забавлялись смелыми выражениями и руганью рыночных торговки и подражали их тону. Особенно отличался в этой области Ваде*, но на смену этим шуткам вскоре явились каламбуры и затмили все. Теперь о Ваде* больше уже не вспоминают. Говорят только о маркизе де*** и о Жанно*. Я был свидетелем того, как меркла слава автора *Разбитой трубки**, и теперь дрожу за славу автора *Графини Тасион**.

68. Базары

Парижские базары грязны, отвратительны. Они представляют собой сплошной хаос, в котором все продовольственные припасы нагромождены в полнейшем беспорядке. Несколько навесов не в состоянии защитить провизию от дурной погоды; во время дождя вода с крыш льется или капает в корзины с яйцами, овощами, фруктами, маслом и прочим.

Прилегающая к базарам местность совершенно непроходима; самые же площади очень малы и тесны, и экипажи грозят раздавить вас, пока вы торгуетесь с крестьянами. Иногда в ручьях воды, текущей по базарной площади, можно увидеть фрукты, принесенные крестьянами; иногда в этой грязной воде плавают морские рыбы.

Шум и говор здесь так сильны, что нужно обладать сверхчеловеческим голосом, чтобы быть услышанным. Вавилонское столпотворение не являло большей сумятицы!

Двадцать пять лет тому назад было выстроено склад для разных сортов муки с целью немного разгрузить рынки, но он очень мал и годился бы для какого-нибудь третьестепенного городка, но никак не соответствует колоссальному потреблению столицы. Поэтому мешки с мукой нередко лежат под дождем. Какой-то общий отпечаток скупости лежит на всех современных постройках и мешает созданию чего-либо величественного.

Рыбные ряды распространяют зловоние. В греческих республиках рыбным торговцам не



Рыночная площадь в Париже
С гравюры Альяме по рисунку Жора

разрешали продавать свой товар сидя. Греция желала, чтобы ее граждане ели рыбу в свежем виде и по дешевой цене. Рыбные же ряды Парижа продают товар только тогда, когда он начинает портиться; и закрываются нередко очень поздно, в зависимости от желания хозяев. Во всем мире никто, кроме парижанина, не станет есть то, что так отвратительно пахнет. Когда же его в этом упрекают,—он говорит: *Не знаешь, чего бы поесть, а ужинать ведь надо.* И ужинает полупротухшей рыбой, а потом болеет.

69. Набережная де-ла-Валле

Люди, особенно чувствительные или заботящиеся о своем здоровье, никогда не должны есть в Париже голубей, купленных на набережной де-ла-Валле. Представьте себе,—осмелюсь ли сказать?—что в зобы всех голубей, не проданных в течение дня, торговцы вдувают ртом журавлиный горох. Потом, когда голубей режут, из них вынимают этот горох, наполовину уже переваренный, и тем же способом вдувают в горло тех, которые будут зарезаны через день. Представьте же себе сколько гнилостных и вредных частиц может попасть в мясо голубей в том случае, если дыхание торговца заражено какой-нибудь болезнью! О! Никогда, на каком бы великолепном серебряном блюде это мясо ни подавалось, не забывайте о мерзком способе, которым кормят голубей на набережной де-ла-Валле!

И этот способ практикуется на глазах всех, и все едят потом за столом этих голубей!

Простите меня, читатель, за нарисованную мной отвратительную картину, но я предпочел оскорбить на миг вашу чувствительность, чем лишить вас полезного совета.

Вся дичь и домашняя птица свозится на набережную де-ла-Валле. На этом рынке существуют специальные чиновники, так же как и на рынке свежей морской рыбы. С болтающейся на животе записной книжкой, с пером под париком, они записывают каждого маленького дрозда, и каждый крольчонок снабжается формальным свидетельством о смерти с обозначением дня и числа. Учреждение этих новых должностей—изумительное нововведение; чиновники находятся на королевской службе. Вы можете съесть зайца только по окончании торжественной процедуры, лежащей на обязанности специально приставленного к этому делу чиновника!

Любопытное зрелище представляют собою накануне дня святого Мартина, в крещенье и на масленице мешанки, являющиеся самолично торговаться за каждого гуся, за каждую индейку и старую курицу, которую именуют пуляркой! Хозяйки возвращаются домой с высоко поднятой головой, с провизией в руках; купленную птицу они ощипывают на пороге своего дома, чтобы все соседи знали, что на следующий день у них за обедом не будет ни бёфа а-ла-мод, ни бараньей лопатки; это удовлетворяет их гордость еще более, чем их аппетит.

По дешевой цене домашнюю птицу можно купить только тогда, когда король находится в Фонтенебло. Придворные поставщики не опустошают в эти дни Парижа: все крупные потребители находятся при дворе, и тогда народу бывает легче осилить покупку цыпленка.

70. Табль-д'оты

Иностранцы их не выносят, но обедать им больше негде. Приходится сидеть за столом в обществе двенадцати незнакомцев, и вежливому и застенчивому человеку иногда не удастся доесть обеда, за который он заплатил собственные деньги.

Середину стола—там, где красуются так называемые основные блюда—занимают завсегдагаи, которые, завладев этим важным пунктом, уж не теряют времени на болтовню. Вооруженные неутомимыми челюстями они начинают все пожирать по первому знаку. Их толстые языки, неспособные к быстрым речам, умеют зато очень быстро препровождать в желудок самые большие и лучшие куски. Эти атлеты, похожие на Милона Кротонского*, опустошают стол, и нельзя не проклинать их подобно тому, как Санчо-Панса проклинал своего коварного врача.

Беда тому, кто жует медленно! Сидя между этими жадными и проворными бакланами, он за обедом будет голодать. Тщетно будет он обращаться за помощью к прислуживающим лакеям: стол будет опустошен раньше, чем ему

удастся добиться, чтобы ему что-нибудь подали. Уши лакеев, привычные к частым просьбам, не боятся криков и угроз. Нужно уметь быстро есть. Это самое важное, так как заставить лакеев исполнять ваши приказания—невозможно.

Когда все эти коршуны, пожрав порции соседей, наполнят свои емкие внутренности со свойственной им беззастенчивостью и жадностью, они из едоков превращаются в отчаянных, безжалостных говорунов и наполняют своим твяканьем закоптелые от табачного дыма своды столовой; при этом путаница сюжетов и речей соответствует нелепости выражений и непристойности разговоров. В довершение всего будет чудом, если вы выйдете из столовой, не унеся на своем платье нескольких пятен от кушаний, передававшихся к месту назначения грубыми и неловкими руками.

Существуют еще особые виды харчевен, называемые *Ноевыми ковчегами*, где кормят за двадцать два су. Здесь обедают малосостоятельные люди; отсюда они отправляются на прогулку или в театр и хвастаются знакомым, что обедали в хорошем ресторане. Точно стыдно есть дешевый обед, когда человек небогат!

71. Кофейни

Насчитывают от шестисот до семисот кофеен. Они являются обычным убежищем праздных людей и приютом бедняков, которые зимою греются там и благодаря этому обхо-

дятся у себя дома без дров. В некоторых кофейнях устраиваются *академические салоны*, где разбирают театральные пьесы, распределяют их по разрядам и оценивают их достоинства. Начинающие поэты шумят там особенно громко, так же как и все, кого свистки вынудили бросить избранную карьеру. Они бывают обычно настроены на сатирический лад: ведь самыми беспощадными критиками являются именно непризнанные авторы.

Там образуются партии *за* и *против* того или другого произведения; главари этих партий любят нагонять на всех страх и готовы с утра до вечера разносить писателя, которого невзлюбили. Нередко они его вовсе не понимают, но это не мешает им громить его; а литераторам приходится спокойно сносить все эти нападки.

В большинстве кофейен болтовня носит еще более скучный характер. Говорят исключительно о газетных известиях. Доверчивость парижан в этом отношении безгранична: они глотают все, что им преподносят, и, несмотря на то, что были обмануты уже тысячи раз, снова возвращаются к министерским памфлетам.

Случается, что какой-нибудь гражданин является в кофейню в десять часов утра, а уходит из нее в одиннадцать вечера; обедом ему служит чашка кофея с молоком, ужином—чай *баваруаз**, причем находящийся тут же богатый олух, вместо того чтобы накормить бедняка обедом, смеется над ним.

Считается зазорным проводить целые дни в кофейнях, потому что это свидетельствует об

отсутствии знакомых и о том, что человек не принят в хорошем обществе а; между тем кофейни, где собирались бы образованные и приятные люди и где царили бы непринужденность и веселье, были бы предпочтительнее наших клубов, в которых нередко бывает очень скучно.

Наши предки ходили в трактиры и, по слухам, поддерживали этим свое хорошее настроение; мы же только изредка позволяем себе заходить в кофейни. Черная вода, которую там пьют, вреднее благородного вина, которым опьянялись наши отцы: тоска и язвительность царят в этих словно замороженных помещениях, и мрачное настроение посетителей проявляется во всем. Не новый ли напиток причиной такой перемены?

Кофей, который там пьют, невкусен и пережжен; лимонад вреден для здоровья, ликеры настоены на спирту. Но добродушный парижанин, судящий обо всем по внешности, все пьет, все глотает, все пожирает.

В каждой кофейне есть свой оратор; в некоторых из них, в предместьях, председательствуют подмастерья портных и сапожников. А что ж тут плохого? Нужно, чтобы самолюбие каждого было удовлетворено.

За содержательницами кофеен всегда ухаживают; они всегда окружены мужчинами и должны быть особенно добродетельны, чтобы противостоять искушениям.

Все они большие кокетки; но кокетство составляет, повидимому, необходимую принадлежность их ремесла.

72. Человек со ста шестьюдесятью миллионами

Я сидел однажды в кофейне рядом с одним русским, который с любопытством расспрашивал меня о Париже. В залу вошел довольно толстый человек в парике. Платье его было немного поношено, галуны потерты. Он занял место в углу и принялся тянуть баваруаз с медлительностью скучающего и праздного человека.

«Видите вы,—спросил я своего соседа,— человека, который сейчас зевает и, вероятно, будет так зевать еще целый час?»—«Да»,— ответил он.—«Так знайте, что он является опорой государства и королевской казны».—«Каким образом?»—«Он дает французскому королю сто шестьдесят миллионов в год на содержание армии, флота и королевского двора. Он взял на откуп пять крупнейших налогов; третьего дня он подписал на них договор с монархом; остальные откупщики являются его агентами, его приказчиками. Все они работают под его началом и от его имени, которое известно во всех концах Франции. Если ему заблагорассудится, он останавливает у застав экипажи принцев; он бывает повсюду, куда только ему вздумается пойти; заставляет представителей буржуазии против воли закупать у него соль; на берегу океана запрещает крестьянке пользоваться в хозяйстве соленой морской водой; накладывает свой штампель на все деловые бумаги*; посылает от своего имени налоговые извещения как самому знатному

вельможе, так и рядовому смертному; пользуется громадным влиянием, так как выигрывает все тяжбы; того, кто его чем-нибудь обидит, ссылают на каторжные работы, а иногда и вешают... На эти случаи у него имеется свое особое судопроизводство и судьи, которые прекрасно его обслуживают. Его всячески оберегают, так как жизнь его служит залогом доверия, оказываемого ему королем. Если бы он отказался платить, — король повелел бы схватить его и заставил бы заплатить силой. Но он платит весьма исправно, и к тому же он вполне бескорыстен. А еще говорят, что акцизные сборы разоряют королевство! Это просто выдумка. Разубедите, пожалуйста, в этом русских, когда придете в Петербург. Этот человек дает королю сто шестьдесят миллионов франков и больше, получая четыре тысячи франков в год; сверх этой суммы он не тратит на себя ни единого су. Это образец самой строгой бережливости. Правда, у него есть немного увлекающиеся подчиненные; правда, они иногда занимаются грабежом и потому оказываются гораздо богаче его. Но это его не смущает: как бы то ни было, все поборы производятся по его указаниям. Скажите, видали ли вы когда-нибудь у себя на родине человека, который собирал бы и приносил вам сто шестьдесят миллионов за вознаграждение в четыре тысячи франков в год? Нужно признаться, что французскому королю служат за дешовую плату и что в лице этого человека он имеет действительно ловкого и верного слугу».

Русский не понимал, что я хочу этим

сказать, и смотрел на меня удивленными глазами. Мне пришлось ему объяснить, кто такой был Никола Сальзар—преемник Лорана Давида и Жана Алятера*; когда же я сказал ему, что раньше он был лакеем, а еще раньше дворником, а теперь подписал с монархом перед лицом всей Европы договор на откупа, то, несмотря на всю свою учтивость, он не мог не рассмеяться прямо в лицо Никола Сальзару.

Тот не обратил на это никакого внимания, тяжело поднялся со стула, долго расплачивался и вышел из кофейни с таким видом, точно не знал, в какую сторону направить свой путь и свое существование, интересы которого так тесно связаны с интересами государства!

73. Прожектёры

Вы входите в другую кофейню; один из посетителей начинает шептать вам на ухо спокойным, сдержанным тоном: «Вы не можете себе представить, сударь, какую неблагодарность проявляет по отношению ко мне правительство и как оно заблуждается насчет своей собственной выгоды! Вот уже тридцать лет, как я забросил личные дела и, запершись в своем кабинете, размышляю, мечтаю, вычисляю. Я составил великолепный проект погашения всех государственных долгов и другой, который должен обогатить короля и обеспечить ему доход *в четыреста миллионов*, потом третий, с помощью которого мы могли бы навсегда покорить Англию (одно имя которой меня возму-

щает) и сделать нашу торговлю самой оживленной в мире, как то и подобает первой нации в Европе. Четвертый проект должен сделать нас хозяевами восточной Индии, и, наконец, последний был придуман мной для того, чтобы с его помощью обуздать действия императора, который рано или поздно сыграет с нами какую-нибудь злую шутку, так как я давно разгадал и его исключительное честолюбие, и его затаенную ненависть к нам. Неоспоримая польза этих проектов поразила всех министров,—никто из них не мог сделать мне ни единого замечания, а *молчание—знак согласия*. Но посмотрите, сколько в этих людях черной неблагодарности: в то время как я, всецело отдавшись этим обширным проектам, требующим затраты всех духовных сил, совершенно позабыл о домашних нуждах, некоторые из моих бдительных заимодавцев засадили меня на целые три года в тюрьму, и тот, кто должен был восстановить славу Франции, не мог добиться от министров ничего, кроме жалкой охранной грамоты. Они ждут моей смерти, чтобы присвоить себе мои идеи, но я заранее протестую против такого возмутительного грабежа: все добро, которое будет сделано в течение следующего столетия, будет моей работой, можете быть в этом уверены. Но вы видите, сударь, к чему приводит патриотизм: к бесславной смерти мученика за родину».

В Париже существует очень много подобных, вполне честных людей,—как экономистов, так и антиэкономистов,—пылких, ревнующих об общей пользе; но, к несчастью, у них чего-то

не хватает в голове, другими словами—они близоруки и не знают ни века, в котором живут, ни людей, с которыми имеют дело. Они еще более невыносимы, чем глупцы, потому что, пользуясь половинчатыми или вовсе неверными знаниями, они берут за основание какую-нибудь совершенно несбыточную мысль и делают из нее ряд ошибочных выводов; один берет за исходную точку нравственные соображения и приписывает им некую физическую силу; другой признает только одну неизменную систему, тогда как политика по самой природе своей изменчива. И каждый из них удивляется, что все идет по-прежнему плохо, несмотря на великолепные планы, которые он создал. Любой механик скажет им, почему все их проекты не что иное, как мечты: да потому, что когда механик хочет сузить реку, устроить плотину, заставить вертеться колесо,—он принимает в расчет и силу толчка, и силу сопротивления, и трение, которое разрушает самую лучшую машину. Чтобы справиться с тем или иным физическим свойством, механик постоянно призывает себе на помощь физическую же силу.

74. Таможня

Таможня под начальством Никола Сальзара представляет собой место, где работают глухие чиновники и краснолицые носильщики, пропитанные винным духом и спотыкающиеся о раскиданные в беспорядке тюки. Здесь бедный

иностранец мечется, не зная, к кому обратиться. Тщетно молит он всех, проходящих мимо, — его не слушают; он вынужден жить целую неделю без чулок и без рубашек. Ему предстоит выкопать свой чемодан или сундук из-под трех-четырёх тысяч наваленных друг на друга ящиков. Можно подумать, что город был охвачен пожаром и что свалили в одну беспорядочную грудку все, что удалось спасти. Приехавшему с трудом удастся признать свою вещь: она изменила свой вид; он получает ее порванной, полураскрытой, покрытой грязью и без адреса. Он проводит весь день, до позднего вечера, на ногах, прежде чем вновь обретет свой чемодан, причем опять рискует потерять его, так как сильный и быстроногий носильщик, взваливающий его себе на плечи, пускается бежать по лабиринту улиц, так что иностранец с трудом поспекает за ним.

Нужно десять раз расписаться и расплатиться в шести конторах, прежде чем получишь свою фуфайку и ночной колпак; весь гардероб подвергается строгому осмотру, и приказчику Никола Сальзара становится известным, сколько у вас штанов.

Такая таможня—смерть торговле. Можно подумать, что ей принадлежат вещи всей вселенной и что она делает милость, возвращая нам ваши собственные чемоданы и баулы.

Путешествовать по Франции—большое удовольствие! Ваш чемодан раскрывают на границе каждой провинции; его выворачивают вверх дном, едва только вы проехали какие-нибудь тридцать лье, и все это для того, чтобы удо-

влетворить ненасытное любопытство Никола́ Сальзара!

75. Королевская казна

Так как в настоящее время все находится в руках короля, то в казну стекаются деньги со всего королевства, а в силу многочисленности податей каждая шестиливровая монета совершает свое путешествие по наклонной плоскости в течение каких-нибудь пяти-шести лет, чтобы неизбежно вновь попасть в казну. Закон притяжения не обладает большей силой, чем этот поток, неуклонно омывающий подножие трона, причем из потока черпают так усердно, что порой он внезапно пересыхает. Туда устремляются вдовьи сбережения и береженный грош поденщика. Сколько было пролито слез, прежде чем образовалась эта громадная золотая река!

Множество казначеев, подобно объемистым ведрам, то и дело погружаемым в колодезь, извлекают из золотой реки деньги, идущие на ведение войны, на флот, на артиллерию, на крепости, на выплачиваемую в ратуше ренту, наконец на все расходы, которые делает король, внимая либо своему разуму, либо своим прихотям.

Быстрота и легкость, с какой правительство изымает крупные суммы из этого потока, составляют резкий контраст с непрерывными и тягостными усилиями стапятидесятитысячной армии чиновников, которые насильственным путем—со шпагой в одной руке и пером в другой—соби-

рают крупинки, составляющие потом эту колоссальную грудку денег,—крупинки, тающие или улетучивающиеся, едва только коснутся этого вместилища.

Оно почти всегда сухо, несмотря на всасывающий и нагнетательный насосы, страшная игра которых доводит государственный организм до состояния полнейшего истощения и слабости.

Пот катится градом со лба Франции; сможет ли она еще долго переносить такое страшное напряжение? Хорошо ли учтены ее действительные силы? Игра, приводящая их в действие, не замедляет темпов, но (выражаясь народным языком, который я очень люблю) *будет ли страна всегда попевать за скрипкой?*

76. Рантье

Так называют тех, кто нажил себе капитал, назначил короля наследником всего своего имущества и продал ему за десять процентов свое потомство, лишив наследства своих братьев, племянников, двоюродных братьев, друзей, а иногда и собственных детей. Рантье не женятся, прозябают в ожидании полочки ренты и каждое утро с радостью убеждаются в том, что еще живы. Раз в шесть месяцев они идут к ближайшему нотариусу, чтобы он засвидетельствовал их квитанцию и подтвердил, что они еще не умерли.

Каждую полочку они немедленно прибавляют к своим капиталам, и эти деньги, вместо

того чтобы питать торговлю и поддерживать промышленность, исчезают в королевских сундуках.

Эти сундуки влекут к себе все, что только могут привлечь; они всегда открыты для пополнения и неустанно вбирают в себя все золото, которое им подносят.

Жажда человека, страдающего водянкой,— как известно, от питья еще усиливается, и больные пьют все больше и больше. Известно, что поварные болезни облегчают ратуше денежные выплаты; что очень выгодно действовать—если можно так выразиться—в согласии со смертью, и бывают времена, когда ее проворная коса срезает больше голов, чем значится в таблицах теории вероятности, составляемых счетчиками, а не финансистами. Государственные казначеи, выплачивающие ренту, знают, какую выгоду приносят трону длительные и сырые зимы, а принцы, в свою очередь испытывающие денежный голод, очень бы хотели подражать монарху, который ни за что не согласится изгнать из своих владений докторов, как это сделал некогда римский сенат*.

Но каким образом разумное правительство могло допустить бесчисленные, невероятные беспорядки, возникшие в связи с пожизненной рентой? Порванные узы родства, получающая пенсию праздность, поощряемое безбрачие, торжество эгоизма, черствость, возведенная в систему и постоянно применяемая на практике,— вот наименьшие бедствия, порожденные рентой. Рентье не видит ничего, кроме ратуши, и лишь бы ее двери были открыты,—

ему дела нет ни до чего окружающего. Он обречен ложно мыслить всю жизнь, потому что желает, чтобы его должник всем обладал, все захватывал бы в свои руки, чтобы тем самым его собственная маленькая рента была ему всегда обеспечена. И не этим ли заманчивым себялюбием и заботами об одних только собственных удовольствиях объясняется то обстоятельство, что теперь не признают ни родных, ни друзей, ни граждан. Дружба, любовь, родство, нежность,—все вы отданы безвозвратно за известный пожизненный процент! Девять-десять процентов, а *после меня хоть потоп!** Вот торжествующая смертоносная аксиома.

Я советовал бы всем рантее отправиться проехать свои проценты куда-нибудь в деревню, на чистый воздух. Столица сокращает годы человеческого существования. Это подтверждается опытом. Здесь ведут образ жизни, нарушающий как распорядок дня и ночи, так и распорядок времен года, и число смертей здесь всегда превышает число рождений. Я советовал бы рантее надуть их царственного должника, удлинив, насколько возможно, свою жизнь; но достигнуть этого они смогут, только покинув столицу.

В Париже число девушек, перешедших возраст, в котором обычно выходят замуж, громадно; они подписали контракт пожизненной ренты, и это мешает им подписать брачный контракт, так как первая мысль, которая приходит в данном случае в голову, это мысль о неизбежной нищете детей, которые родились бы от такого брака.

Контракт на пожизненную ренту обособляет человека и мешает ему выполнять обязанности гражданина.

77. О черном платье

Когда вы в черном,—вы прилично одеты, и в то же время это избавляет вас от следования моде и шитья цветных платьев. Вы благоразумно облеклись в траур, и даже если этот траур будет продолжаться вечно, все равно,—вы в этом платье можете появляться всюду.

Правда, он свидетельствует о недостаточности средств, и в силу этого его носят обычно просители, отставные чиновники, писатели, мелкие рантье, лишенные возможности увеличить свои доходы, и т. п. Они носят его, чтобы обратить на себя внимание, расположить в свою пользу и выпросить пенсию. Эта военная хитрость некоторым удавалась, но было бы крайне неучтиво говорить об этом во всеуслышание.

Придворный траур, объявляемый довольно часто, сберегает деньги добрым гражданам*. Многим людям из общества траур бывает на руку, так как благодаря ему может показаться, что все располагают одинаковыми средствами.

Таким образом, смерть коронованных лиц не огорчает Париж. Их уход из жизни всем приносит некоторую пользу, так как черная одежда прекрасно согласуется с грязью, плохой погодой, бережливостью и неохотой тратить много времени на одеванье. *Я получил наследство от короля!*—вскричал один мой знако-

мый поэт.—*Каким образом?*—*Да потому, что мне пришлось бы истратить весной двадцать пистолей на новое платье, а теперь я их кладу обратно в карман и охотно надену траур по его величеству, оказавшему мне такое благодеяние.*

Забавно видеть какого-нибудь ювелира в трауре по коронованной особе, имя которой он даже не умеет правильно произнести! Но таков обычай, и он уже не кажется смешным даже представителям самых скромных слоев общества. Когда же при дворе объявляют *малый траур*, то те из граждан, которые небогаты или не умеют одеваться, невольно выдают свою бедность, светские же люди красуются во всем блеске и смеются над нищетой, которая только и может облекаться в черное с ног до головы.

В дни *малого траура* театральный зал представляет собой особенно блестящее зрелище: именно тогда женщины и их бриллианты сверкают особенно ярко.

78. Обманщики

Молодые люди, приезжающие с берегов Гаронны, сыновья портных, трактирщиков и т. п. принимают у заставы вымышленные имена, украшают себя плюмажем, именуются дворянами и, при наличии некоторого ума и большой доли дерзости, лгут парижанам самым наглым образом и берут у всех взаймы в ожидании полочки доходов с собственных земель.

Парижский купец часто предпочитает потерпеть убыток, лишь бы распродать товар. Молодым людям не мешают называть себя кавалерами, графами, маркизами и т. п. Все эти маркизы, графы, кавалеры живут в меблированных комнатах, и до тех пор, пока они остаются только самонадеянными фатами и довольствуются тем, что обирают каких-нибудь сумасбродных женщин и старых вдов, полиция не беспокоится и терпит их; при малейшем же мошенничестве их *размаркизируют* и отправляют в Бисетр.

Самый мелкий дворянин при заключении какого бы то ни было договора именует себя *владельцем сенъёром*; писарь пишет все, что ему диктуют; отсюда невероятная легкость присвоения себе чужих имен и титулов.

Новые люди, в свою очередь, ищут возможности подняться на ступеньку повыше; они стараются заставить всех забыть об их происхождении и испытывают яростное желание добиться возведения своих владений в маркизат.

Такое крайнее тщеславие кружит голову несчетному числу людей, и в результате теперь признают за настоящие дворянские семьи только четыре или пять домов; и это вполне разумно, так как из всех предрассудков, от которых мы глупеем, самым бессмысленным и дерзким является предрассудок благородства происхождения (образование и знания ставят всех честных людей на одну доску), и вполне справедливо, что смеются надо всей этой толпой людей, которые хотят, ссылаясь на заслуги предков, подлинных или вымышленных, отделиться от

своих сограждан, более честных, более полезных, более достойных, чем все эти благородные дворяне и дворянчики, какие бы имена они ни носили—присвоенные самочинно или полученные благодаря слепому случаю, при появлении на свет.

79. Праздношатающийся

Обычно это какой-нибудь гасконец, который на свои сто пистолей, пока их не съест, обедает в харчевнях, ужинает чаем *баваруаз* и, преисполненный тщеславия, отправляется на прогулку с таким видом, точно у него десять тысяч годового дохода. Он с утра уходит из своей мебелированной комнаты и до одиннадцати часов вечера бродит по городу. Заходит во все церкви, не будучи набожным; делает визиты людям, которым до него нет никакого дела, и постоянно посещает суд, не имея никакого отношения к разбираемым делам. Он видит все, что делается в городе; присутствует на всех общественных торжествах, не пропускает ни одного занятного зрелища и изнашивает больше башмаков, чем любой шпион или биржевой маклер.

На могиле такого праздношатающегося можно было бы написать в виде эпитафии: *Cursum consummavit* *.

Закон великого Амазиса, египетского царя, предписывал каждому подданному давать ежегодно сведения о том, на какие средства он существует. Если бы такой закон действовал у нас, то нашлось бы не мало людей, которые не знали бы, что ответить.

80. Страна латинская

Латинским кварталом называют тот, где расположены улица Сен-Жак, гора святой Женевиевы и улица Арфы. Там помещаются университетские коллежи, и можно постоянно видеть целые толпы учеников Сорбонны в сутанах, преподавателей с брыжжами вокруг шеи, студентов-юристов и студентов-медиков. В выборе той или другой профессии ими руководит материальная нужда.

Когда Французская комедия находилась в Латинском квартале, состав ее партера был гораздо лучше, чем сейчас; тогда партер умел создавать актеров. Теперь же последние, лишившись полезной для них студенческой критики, портятся, играя перед грубым партером, состоящим исключительно из лавочников с улицы Сент-Оноре, из акцизных и мелких служащих таможи.

Таким образом, совершенствование искусства находится в зависимости от почти неуловимых, никем не замечаемых явлений.

81. Коллежи и прочее

Коллежи и бесплатные рисовальные школы содействуют чрезмерному тяготению молодых людей к занятию искусством, которое им зачастую совершенно чуждо. Это пагубное пристрастие парижских мещан опустошает мастерские ремесленников, несравненно более важные для общества. Рисовальные школы предста-

вляют собою не что иное, как школу маляров и пачкунов. Что же касается общеобразовательных коллегей, то они выпускают в общество толпу писцов, у которых, кроме пера, нет никаких средств к жизни и которые повсюду разносят свою нищету и полную неспособность ко всякому мало-мальски плодотворному труду.

Существующий в настоящее время учебный план крайне несовершенен, и лучший ученик к концу десятилетних занятий получает во всех отраслях науки очень мало знаний. Приходится удивляться наличию молодых литераторов; но эти, конечно, образуются сами собой.

Сотня педантов стремится обучить детей латинскому языку прежде, чем дети изучат свой собственный, тогда как нужно изучать в совершенстве один язык, прежде чем приниматься за другой. Как ошибочны наши методы обучения!

Существует десять общеобразовательных коллегей; в них семь или восемь лет изучают латынь, но из ста учеников девяносто кончают коллеж, не изучив её.

На всех этих преподавателях лежит толстый слой педантизма, который они не в состоянии стряхнуть с себя и который дает себя чувствовать даже и после того, как они порвут со своей профессией. Тон этих людей самый смешной и неприятный изо всех существующих на свете.

Слово *Рим* было первым, коснувшимся моего слуха. Как только я мог приняться за науку, мне стали рассказывать о Ромуле и о его волчице, о Капитолии и о Тибре. Имена Брута, Катона, Сципиона* преследовали меня даже во

сне; мою память загружали наиболее известными посланиями Цицерона*, а одновременно с этим приходивший ко мне по воскресеньям законоучитель в свою очередь говорил мне о Риме как о столице мира, где возвышается папский престол на развалинах императорского трона. Благодаря всему этому я чувствовал себя далеким от Парижа, чуждым его стенам, и мне казалось, что я живу в Риме, которого никогда не видел и, вероятно, никогда не увижу.

Декады Тита Ливия* так заполняли мой ум во все годы учения, что впоследствии потребовалось не мало времени для того, чтобы я снова мог сделаться гражданином своей собственной страны,—до такой степени я чувствовал себя слитым с судьбами древних римлян.

Я был республиканцем и сочувствовал всем защитникам республики; вместе с сенатом воевал я с грозным Аннибалом*; участвовал в разрушении гордого Карфагена, в походе римских военачальников и в победоносном полете их орлов в страну галлов. Я хладнокровно следил за тем, как они покоряли страну, где я родился; мне хотелось писать трагедию о каждом этапе похода Цезаря*, и всего только несколько лет тому назад, благодаря некоему притоку здравого смысла, я превратился во француза и жителя Парижа.

Нельзя сомневаться в том, что изучение латинского языка рождает определенное сочувствие к республикам и желание воскресить величайшую из них, историю которой изучаешь; что, слушая беседы о сенате, о свободе, о вели-

чи римского народа, о его победах, о заслуженной смерти Цезаря*, о кинжале Катона*, не перенесшего гибели законов, очень трудно расстаться с Римом и превратиться в одного из буржуа улицы Нуайе.

И между тем именно здесь, в монархическом государстве, постоянно занимают умы молодых людей столь неподходящими идеями, с которыми им в дальнейшем приходится очень скоро расстаться ради собственной безопасности, карьеры и счастья. Неограниченный монарх платит профессорам за то, что они глубокомысленно переводят и объясняют своим слушателям красноречивые тирады, направленные против власти королей. Это заставляет каждого студента, обладающего долей здравого смысла, когда он попадает потом в Версаль, невольно думать о Тарквинии, о Бруте*, о всех гордых врагах самодержавия. Его бедная голова не знает, как ей во всем этом разобраться, и, если он не глуп и в его жилах не течет рабская кровь, ему нужно не мало времени, чтобы примириться со страной, в которой нет ни трибунов, ни децемвинов, ни сенаторов, ни консулов*.

82. Анатомия

Я всегда возмущался, видя, как профессор коллежа в конце годичного курса по физическим наукам венчает занятия варварским опытом: прибывает к доске за четыре лапы живую собаку, вводит ей в тело, несмотря на ее жалобный вой, скальпель и обнажает ее внутрен-

ности. Профессор берет в руки трепещущее сердце... Должна ли жестокость сопутствовать науке? И разве не могли бы ученики немного поучиться анатомии без того, чтобы предварительно сделаться палачами?

Искусство Уинслоу* обладает до крайности отталкивающими сторонами. Изучающему анатомию приходится входить в сношение с подонками общества и торговаться с могильщиками¹, для того чтобы получать трупы. За неимением денег, студенты сами перелезают ночью через ограду кладбища, воруют погребенное накануне тело, снимают с него саван. Разломав гроб и осквернив могилу, они складывают труп пополам и уносят его в корзине к анатому. Потом, когда тело разрублено, рассечено на части, анатом не знает, как положить его обратно туда, откуда оно было взято, и разбрасывает его по кускам, куда только может: в реку, водосточные трубы, в отхожие ямы. Человеческие кости перемешиваются с костями съеденных животных, и нередко в куче навоза находят обрубки человеческих тел.

Поэтому все, имеющие дело со скальпелем, предпочитают жить в столице благодаря удобствам, существующим здесь для занимающихся анатомией. Трупов тут множество, и они дешевы. В зимние месяцы они дешевле всего, и старший анатом покупает их тогда по десятидвенадцати франков каждый, а потом перепро-

¹ Заметьте, что могильщики никогда не покупают себе дров, а топят досками от гробов, которые они уносят с кладбища. По этой же причине им не приходится тратить на покупку рубашек.

дает своим ученикам по луидору или по десять эку. Есть много общего между кладбищенскими воронами и учениками профессоров хирургии. Отправляясь на даровой урок анатомии, легко можно встретить на черном мраморе—страшно об этом подумать!—своего отца, брата или друга, только что погребенного и еще оплакиваемого.

Так как совершенствование медицины и хирургии зависит от анатомии, не должно ли было бы правительство избавить людей науки от этой тайной и позорной торговли и предупредить вытекающие отсюда безобразные, возмутительные сцены?

Кто поверит, что Уинслоу и Феррен* являются, согласно букве закона, святотатцами, осквернителями могил и что они должны были бы понести суровое наказание? Неужели же вечно будет существовать это противоречие между нашими законами и нашими нравами и обычаями?!

Если бы воскрес какой-нибудь житель древнего мира, как изумился бы он, придя в аудиторию Королевской академии, которой закон запрещает пользоваться трупами! Для древних покойник являлся святыней; его с почестями возлагали на костер, а того, кто осмеливался поднять на него руку, считали за нечестивца. Что сказал бы древний человек, увидев обезображенный, изрезанный на куски труп и молодых хирургов, с руками, оголенными по локоть и запачканными в крови, весело смеющихся во время всех этих ужасных операций!

Отель-Дьё отказывается выдавать трупы,

а потому прибегают к хитрости: их или воруют в Клараре* или покупают в Сальпетриэре* и в Бисетре. Трупы же сифилитиков, умерших от лечения ртутью, служат обыкновенно для публичных трупосечений в анатомическом театре.

Анатомия за последние сорок лет не сделала ни шагу вперед, ни одного мало-мальски значительного открытия. Человеческое тело в настоящее время известно вдоль и поперек, и было бы трудно пойти дальше в этой области, до такой степени основательно произведены все исследования. И несмотря на это, анатомия все еще продолжает оставаться лишь номенклатурой — и только. Остается еще познать самую работу механизма и установить как взаимоотношения его частей, так и принципы жизненных сил. *Hic labor, hoc opus**. Механическое терпение анатома должно уступить место гению, который будет обобщать, вникать, возможно, ошибаться в своих догадках, но который, пристально перебирая всевозможные системы, быть может откроет в конце концов единственную действительно важную истину, которая даст начало всем остальным.

Королевская хирургическая академия* является замечательным архитектурным памятником. Людовик XV, ставивший хирургию выше всех наук, потратил на это здание такие суммы, которым завидовали все остальные науки.

83. Сорбонна

Она* сама смеется над своей теологией и отлично понимает пустоту и нелепость всех своих

тезисов и отлучений. Она пытается утверждать, что Моисей был лучшим натуралистом, чем Бюффон*, но сама этому не верит.

Теология испортила все. Она удвоила страхи человека, вместо того чтобы успокоить их; она сделала его суеверным, вместо того чтобы сделать его разумным.

Сорбонна, естественно, должна была блистать в темные века, потому что тогда ее знания были выше уровня большинства людей. Но и в эпоху знаний она вздумала давать ответы решительно на все, и это породило самые нелепые софизмы. Она исковеркала все науки, желая подчинить себе и мораль, и историю, и физику; она захотела все привести в порядок в качестве законодательницы всех идей, и ее старания породили самые невероятные противоречия.

Получилась бы любопытнейшая книга, если бы собрать все, что Сорбонна говорила и печатала в течение трех столетий. Безрассудство самых невежественных и суеверных народов не давало картины большего безумия; это объясняется тем, что Сорбонна всегда мудрила и желала знать больше того, что знают прочие христианские богословы. Безрассудство боролось с безрассудством; можете себе представить плоды подобного поединка.

Она совершенно исказила бы в человеке способность мыслить, если бы несколько мудрых людей не взялось исправить ее ошибки, насмехаясь над теологией, точно так же как насмеваются над нею в душе и сами члены Сорбонны. Но так как занимаемые ими места очень

доходны, то всевозможные аргументы, тезисы и отлучения пойдут и впредь своим чередом. Если существует много людей, готовых дать убить себя за несколько грошей, то что удивительного в том, что другие безрассудствуют за более высокую плату?

Все, что есть в настоящее время в Сорбонне замечательного, это—мавзолей кардинала Ришельё*, создавшего как Сорбонну, так и Французскую академию*—два учреждения, которые сейчас мыслят почти одинаково и в то же время воюют друг с другом. И все для того, чтобы обратить на себя внимание и существовать.

Мусульманские богословы разумнее наших. По их утверждению, Магомет сказал, что из двенадцати тысяч стихов, заключенных в Алкоруане, всего только четыре тысячи истинных; а потому, когда встречаются какие-нибудь непонятные места, какая-нибудь несообразность, они, вместо того чтобы упрямо оправдывать эти нелепости, относят их в число тех восьми тысяч стихов, которые признаны ложными. Этим способом они избегают споров, которые могли бы привести их в смущение, и, устраняя все противоречия и несовместимости, спасают честь человеческого разума.

Если бы так же поступала Сорбонна, она в своем бреде не породила бы ни старинных тезисов, которые сделали ее всем ненавистной, ни новейших тезисов, благодаря которым она сделалась смешной; но она согласна лучше слыть безрассудной, лишь бы продолжали ей платить.

84. Кладбищенские писцы

Как и теологам, им тоже нужно жить. Они полезнее последних: они являются хранителями сердечных тайн служанок, которые пишут у них свои любовные признания или ответные записочки и шепчут на ухо писцу свои секреты, словно духовнику. И контора скромного писца становится похожей на маленькую исповедальную.

Писец с очками на носу, согревающий дыханием дрожащие руки, продает свое перо, бумагу, сургуч и свой стиль,—все за пять су.

Прошения на имя короля и министров стоят двенадцать су, принимая во внимание, что они должны быть написаны самым лучшим почерком и что их стиль должен быть более возвышен.

Писцы из Шарньез-Инносан* чаще других имеют дело с министрами и принцами: при дворе фигурирует только их почерк.

В начале царствования Фортуна им улыбалась: тогда охотно принимались всякие прошения; их читали и отвечали на них; но внезапно эта переписка между народом и монархом прервалась, и писцы из Шарньез-Инносан, которые уже успели купить себе новые парики и рукавички, опять очутились за пустыми конторками и погрузились в прежнюю нищету.

Не будь тайной любовной переписки, не подверженной никаким переменам,—писцы увеличили бы собой груды скелетов, сваленных над их головами на перегруженных костями чердаках. Слово *перегруженных* в данном случае отнюдь не гипербола: груды костей, поражают



Переселение художника на новую квартиру
С гравюры Дюфло по рисунку Жора

взор. И вот среди этих останков тридцати поколений, источенных червями и успевших превратиться во прах, среди этой зараженной трупным запахом атмосферы, оскорбляющей обоняние, вы видите, как одна покупает себе наряды и ленты, а другая диктует любовную записку.

Регент* составил, если можно так выразиться, свой гарем из белошвеек и продавщиц мод, и их лавки кольцом окружают теперь это обширное и отвратительное кладбище.

85. Предместье Сен-Марсель

В этом квартале проживает парижская чернь, самая бедная, самая беспокойная и самая необузданная. В одном доме предместья Сент-Оноре больше денег, чем во всем предместье Сен-Марсель или Сен-Марсо.

В этом квартале, отдаленном от оживленной части города, прячутся люди, потерявшие состояние, мизантропы, алхимики, маниаки, мелкие рантье с ограниченными средствами и несколько трудолюбивых ученых, которые действительно ищут уединения и хотят жить в полной безвестности, вдали от шумных блестящих кварталов. Никто не станет разыскивать их на этой городской окраине. Если кто сюда и заезжает, то только из любопытства. Ничто вас сюда не привлекает; здесь нет ни единого мало-мальски интересного памятника. Народ, живущий здесь, не имеет ничего общего с парижанами, лощеными обитателями берегов Сены.

Это тот самый квартал, где танцевали на гробе знаменитого диакона Париса*, где ели землю с его могилы, пока наконец не закрыли кладбища.

Дан королем приказ царю небес,
Чтобы тут больше не было чудес!

Восстания и мятежи зарождаются именно здесь, в этом очаге беспросветной нищеты.

В домах тут не бывает часов, и время узнают только по солнцу; здешние жители на три столетия отстали от века в отношении господствующих в наши дни знаний и нравов. Все ссоры становятся здесь общим достоянием, и жена, недовольная своим мужем, говорит об этом на улице, отдает свое дело на суд народа, собирает всех соседей и доводит до всеобщего сведения постыдное поведение *своего мужика*. Спор между супругами завершается обычно кулачной расправой, а к вечеру, когда лицо одного из них в достаточной мере украшено синяками и царапинами, они мирятся.

Нередко кто-нибудь, забравшись под самую крышу, подолгу скрывается здесь от полиции, от глаз целой сотни аргусов, подобно тому как какое-нибудь едва видимое насекомое скрывается от оптических приборов.

Целая семья занимает здесь одну комнату с голыми стенами, с убогими койками, без занавесок, с кухонной посудой, валяющейся рядом с ночными горшками. Вся вместе взятая обстановка не стоит и двадцати экю, и каждые три месяца жильцы этой дыры меняются, так как их прогоняют за неплатеж, и они скитаются, таская за собой свою жалкую обстановку из

одного убежища в другое. В этих жилищах ни на ком не видно кожаной обуви, по лестницам раздается лишь стук деревянных башмаков. Дети бегают голышами и спят вповалку.

По воскресным дням жители этого предместья переключиваются в Вожирар и в его многочисленные кабаки, так как нужно же человеку, хоть изредка забыться от своих огорчений и бед. Особенно много народу бывает в *Салоне Нищих*, где пляшут и кружатся босоногие мужчины и женщины, поднимая такую пыль, что через какой-нибудь час их уже нельзя разглядеть.

Отчаянный шум и гул, зловонный воздух — все гонит вас прочь из этого битком набитого *салона*, где бедный люд вкушает предназначенные ему удовольствия и пьет вино, такое же скверное, как и все остальное.

Предместье Сен-Марсель по воскресным и праздничным дням совершенно пусто, а когда Вожирар бывает чересчур переполнен, народ отправляется в Пти-Жантий, в Поршерон и в Куртий, и на утро перед винными лавками там красуются целыми дюжинами пустые винные боченки. Народ напивается на всю неделю.

В этом предместье он злее, задорнее, горячее и более склонен к бунту, чем в других кварталах. Полиция опасается выводить из себя здешнее население; его щадят, потому что оно способно на всякое насилие.

86. Маре

Здесь* вы по крайней мере опять видите перед собой век Людовика XIII, как в смысле

правов, так и в смысле устарелых идей. Маре по отношению к блестящему Пале-Роялю то же, что Вена по отношению к Лондону. И если здесь не царит нищета, то тут собраны все старые предрассудки. Это убежище людей среднего достатка. Тут можно видеть и старых, угрюмых ворчунов, ненавидящих все новые идеи, и высокомерных советниц, не умеющих читать и тем не менее строго осуждающих авторов, имена которых доходят до их ушей; здесь философов называют людьми, *которых хорошо бы сжечь на костре*. Если вам выпадает несчастье попасть сюда на ужин, то вы не увидите никого, кроме глупцов, и тщетно станете искать тех приятных людей, которые умеют украшать свои мысли блестками ума и очарованием чувства. Представители здешнего общества мало чем отличаются от неодушевленных предметов и, подобно лишней мебели, только занимают место в гостиницах.

Даже хорошенькие женщины, которых роковая звезда привела в этот печальный квартал, в угоду требованиям приличия не осмеливаются принимать у себя никого, кроме старых военных или приказных. Но особенно забавляет наблюдателя то, что все собравшиеся здесь глупцы недовольны друг другом, и все скучают. Они только издали видят свет, исходящий от наук и искусств, и, ограничиваясь чтением одного *Меркюр де-Франс*¹, ничего, кроме него, не знают.

¹ В таких домах выписка этого журнала* считается столь же необходимой, как покупка метел; расходом на эту надобность ведают дворник.

Когда же какой-нибудь развитой человек, попав случайно в это снотворное общество, пытается зажечь в нем несколько искорок и успевает в этом, он видит, как, спустя какой-нибудь час, присутствующие, выйдя из состояния глубокого безразличия, начинают глупо улыбаться удивляющему их огню. Но вскоре карты возьмут верх, и завтрашнюю новость присутствующие узнают лишь по прошествии года.

Я мало бывал в этих домах, замкнутых, как монастыри; здесь, за отсутствием других развлечений, ничего другого не делают, как только тасуют и перетасовывают карты даже в лучшие часы дня и в лучшие времена года.

Я не осуждаю ничьих вкусов, но в этой части города живут ужаснейшие вдовы, которые точно вросли в подушки своих кресел и не могут от них отделиться. Часто вас принимают в комнате, выходящей в сад, который так и манит на прогулку, но сколько бы вы ни любовались солнечным светом, золотящим листву деревьев, сколько бы ни прислушивались к пению птиц, сколько бы ни зевали и какие бы жадные взгляды ни бросали на дверь,—вас насильно приковывают к стулу и заставляют нудно перекидываться картами. И весь день, вплоть до позднего вечера, вам не дадут возможности насладиться ни солнечными лучами, ни мягким светом луны.

Больше меня туда не заманишь! В длинные зимние вечера я предпочитаю перечитывать наши старинные бесконечные романы: *Астрею*, *Клелию*, *Артамена**. Я буду вновь знакомиться

с нравами и добродетелями прежнего рыцарства, и предо мной опять пройдут наши добрые предки, понимавшие любовь несколько иначе, чем мы. Но они были счастливы по-своему и, подолгу вздыхая у ног жестоких красавиц, больше наслаждались любовью, чем мы нашими скоротечными утехами. Выиграли ли мы что-нибудь от нашей торопливости?!

87. Портрет одной ханжи из Марс

Эту ханжу с косым взглядом вы представляли себе с всегда опущенными вниз глазами, а между тем, едва усевшись, она успела уже все осмотреть, все увидеть. Она вас разглядела с головы до ног и сразу угадала, стоите ли вы за *правое дело*. Она знает, кто из ее соседок румянится, знает, позволяет ли им вышина их причесок входить в исповедальную. Она будет все время молчать, если заметит среди присутствующих хотя бы одного неверующего, и не откроет рта иначе, как в полной уверенности, что ее слова не будут подняты насмех *нечестивцами*, как она называет всех, кто не пользуется руководством какого-нибудь *известного духовника*.

Если платье ее соседки отделано с некоторым изяществом, то ее безмолвное чело внезапно превращается в проповедь о вреде нарядов. На все вопросы светского человека она отвечает односложно и сурово, но в то же время бросает благосклонный взгляд на находящееся в комнате духовное лицо и своей беседой вознаграждает его за внимание.

Мало-по-малу она начинает горячиться, говорит об ужасной порче нравов в других городских кварталах, о безверье, бесстыдно воцарившемся в предместье Сен-Жермен, и о вечном проклятии, ожидающем всех, кто не ходит к обедне в капуцинскую церковь в Маре.

88. Повсюду строят

Три сословия, которые в настоящее время наживают в Париже большие состояния, — это банкиры, нотариусы и каменщики, или, иначе говоря, подрядчики. Деньги имеются только на постройки. Громаднейшие здания вырастают точно по волшебству, а новые кварталы состоят исключительно из великолепных частных особняков. Увлечение постройками предпочтительнее увлечения картинами или особами легкого поведения, так как оно придает городу величие и благородство.

Архитектура всего какие-нибудь двадцать лет назад снова вернулась к хорошему стилю, особенно в области орнаментовки.

Граф Келюс* воскресил у нас греческий вкус, и мы, наконец, отрешились от своих устарелых форм. Внутренность домов не оставляет желать ничего лучшего в смысле красоты и удобств, о которых не имеют никакого понятия все прочие жители земли.

Почти одновременно были возвращены к жизни два искусства: музыка и архитектура. Живописи этот расцвет не коснулся: колорит французской школы все еще остается несколько фаль-

шивым; возможно, что в этом повинен наш климат; возможно, что наши мастера не считают нужным добиваться в этом направлении большего совершенства.

Городской вал покрывается, как щетиной, новыми зданиями, раздвигающими прежнюю черту города. Ряд новых красивых домов тянется по направлению к шоссе д'Антен и к воротам Сент-Антуан, которые теперь уже снесены. Поднимался вопрос о том, чтобы разрушить проклятую Бастилию, но этот гнусный во всех отношениях памятник до сих пор все еще возмущает наш взгляд.

Очевидно, где-то написано, что так никогда и не удастся достроить Лувра*. Вот уже тридцать лет, как производятся работы, но с медлительностью, свидетельствующей о недостатке средств. Принц Конде истратил двенадцать миллионов на свой Пале-Бурбон*, леса же Лувра уже успели сгнить на месте!

Отель-Дьё ничего не выиграл от пожара, так же как и Пале. Не обрушится ли купол церкви святой Женевьевы на наши головы? Или, может быть, покоясь на несокрушимом фундаменте, он презрит опасения и вопли г-на Патта*, который громко заявил об опасности? Но, может быть, это опасность воображаемая? Если бы его опасения оправдались, остался бы только величественный фасад здания, то есть именно та часть памятника, которая заслуживает наибольших похвал.

Жителям вскоре будут доставлять воду таким же способом, как это делается в Лондоне,—с помощью пожарного насоса.

Нельзя не согласиться, между прочим, с тем, что многие пожары способствовали украшению города.

Когда бедствия, вызванные внезапным гневом стихии, ничего не оставляют нетронутым на своем пути,—им на смену спешит гений-восстановитель и, устремив взор на еще дымящиеся развалины, задумывается о восстановлении исчезнувших зданий и памятников, или, вернее, о создании на их месте новых, более величественных, чем прежние.

Таким образом, благодаря непрерывному развитию природы все великое, что мы видим, создано в результате несчастных случаев, и можно сказать, что зло порождает добро.

Действительно, человек словно ждет разрушения ветхих зданий, чтобы поднять на них руку, и неистовство стихии является сигналом, который напоминает ему о его могуществе и силе.

Если бы не стихийные бедствия и не ярость пожаров, то безобразные остатки самого возмутительного варварства до сих пор все еще царили бы в наших городах; мы научились возвышать и облагораживать наше воображение только с тех пор, как больше не видим образчиков готической, безвкусной архитектуры, с которыми так свыклись.

Лишь после того, как пламя сделало свое дело, приступает к работе смелая и созидательная рука. Она словно робеет и теряется перед лицом древних лачуг, уважаемых в силу предрассудков и привычки, и кажется, будто

труднее снести жалкие развалины, чем воздвигнуть великолепнейшие сооружения.

Страшный пожар Пале*, который мог бы оказаться еще ужаснее и утратить любое воображение, должен был бы повлечь за собой создание совершенно новых форм для этого храма Справедливости. Хранилище национальных летописей и архивов, святилище законов, место, где происходят самые торжественные собрания,—должно было бы носить характер величия и благородства и одним своим видом напоминать гражданам, что здесь заседают судьи, защитники и оракулы народных прав.

Нравственная сторона человека какими-то непонятными узами связана с неодушевленными предметами; и если короли стремятся отделиться от подданных высокой стеной и окружить себя великолепием, если священнослужители призывают поклонников божества в храмы, где царит преисполненный величия сумрак, то самым важным местом на земле после того, где человек падает ниц перед богом, является то, где Справедливость, с обнаженным мечом в руках, держит в страхе могущественного человека и поддерживает слабого.

Фасад подобного здания должен был бы носить такой внушительный и строгий характер, чтобы виновный бледнел, поднимаясь по ступеням в залу суда, где его ожидает возмездие закона. И не должен ли храм, в котором царят законы, напоминать судьям о том, что они входят в святилище, где им следует отрешиться от человеческих страстей и на-

строить свою душу на возвышенный лад, достойный страшных, ответственных обязанностей, которые им предстоит здесь нести?

Но ничего подобного не сделано. Строители создали неправильное и жалкое здание, которое скорее приличествовало бы притону кляузников и сутяг, чем храму Справедливости. Облагородить святилище законов они не пожелали.

89. Домашняя обстановка

Когда постройка дома закончена, сделано далеко еще не все; впереди предстоит еще втрое больше расходов. Являются столяры, обойщики, маляры, позолотчики, скульпторы, зеркалодеревцы и т. п. Затем понадобятся зеркала; всюду будут проводиться звонки. Внутреннее убранство дома занимает втрое больше времени, чем самая постройка дома. Потайных и черных лестниц, передних—словом, всего, что требуется для удобства жизни, бесконечно много.

Меблировке придается излишнее, неуместное великолепие. Роскошные кровати, похожие на троны; словно выточенная из дерева столовая, каминные щипцы, сработанные, как драгоценная безделушка; туалетный стол весь в кружевах и золоте—все это носит печать хвастовства и глупого ребячества. Лично меня дворец, в котором видишь только зеркала, золото и лазурь, всегда глубоко печалит.

Потом нанимают швейцара, который исполняет обязанности часового—не выпускает никого, на ком не видно бархата и золота,

и отгоняет всех, у кого нет других богатств, кроме личных заслуг.

Все великолепие нации заключено во внутреннем убранстве домов. Лувр не закончен, и его не закончат никогда. Зато выстроено шестьсот особняков, внутренность которых кажется работой волшебниц,—никакое воображение не может представить себе более изысканной роскоши. И в то же время не ищите нигде вокруг себя ничего великого. Для публики не делается ничего,—не только для ее удовольствий, но и для удовлетворения ее нужд. Не ищите ни бань, ни просторных и благоустроенных больниц, ни бассейнов, ни галлерей, ни крытых гуляний, ни зрительных зал, достойных пьес, которые в них даются. Не ищите удобств, которые порождают и поддерживают зорковье и жизнерадостность граждан. Скрытая роскошь собственных владений составляет все наслаждение богачей,—наслаждение, но не счастье.

Нередко вполне обеспеченный человек, не имеющий ни детей, ни внуков, бывает одержим страстью ежедневно забегать в эти особняки к вельможам, которые едва достаивают его взглядом. Он проводит всю свою жизнь в том, что стучится в двери богачей и говорит им комплименты; и все это ради того, чтобы раз в неделю пообедать в их дворцах, где царствуют высокомерие, этикет и скука. Интересно побывать в этих домах, чтобы взглянуть на их убранство; но тот, кто желает ухаживать за их владельцами, обрекает себя на грустную, однообразную и неприятную жизнь.

90. Аббаты

Париж полон аббатов, этих тонзурованных клерков, которые не служат ни церкви, ни государству, живут в непрерывной праздности и являются совершенно ненужными и нелепыми существами.

Робинзон Крузо говорит, что нередко под священнической одеждой пропадает зря гибкое и мускулистое тело носильщика. Но ведь это говорит дикарь!

Во многих домах можно встретить аббата, именуемого *другом*, но который, в сущности, является только добровольным лакеем, распоряжающимся остальной челядью. Он—покорный слуга хозяйки дома, присутствует при ее туалете, наблюдает за домом, а вне дома руководит делами хозяина. Эти украшенные брыжжами личности умеют быть более или менее полезными и в течение нескольких лет всячески ухаживают за своими покровителями, чтобы попасть в конце концов в их духовное завещание.

Со временем они этого достигают, а покамест пользуются прекрасным столом и всеми мелкими благами, которые можно всегда найти в богатых домах.

Горничная хозяйки докладывает им обо всем, что происходит в доме, они посвящены во все тайны как хозяина и хозяйки, так и слуг.

Далее идут воспитатели, которые почти всегда тоже аббаты. В мало-мальски значительных домах их почти не отличают от слуг. Пока продолжается курс образования, с ними еще немало считаются, но как только учение конча-

ется, им дают или небольшую пенсию или единовременное вознаграждение и отпускают. Недостаток уважения к этим воспитателям ведет к тому, что они крайне небрежно относятся к своим преподавательским обязанностям. Но разве можно надеяться, что наемный человек за тысячу двести франков в год воспитает вам настоящего человека? На него возложена самая трудная и неопределенная задача. К тому же: *Nemo dat quod non habet**. Только совершенно исключительная во всех отношениях личность может вложить благородные чувства в другого человека и переделать его неблагодарную или порочную натуру.

Под именем аббатов можно встретить не мало маленьких гусаров, не имеющих ни брыжей, ни скуфьи, с завитыми волосами и женоподобными манерами, одетых в платье прусского образца, с золотыми пуговицами. Эти постоянные посетители спектаклей и кофеен, иногда плохие компиляторы пустяшных брошюр и сатирических отрывков вызывают невольное удивление; спрашиваешь себя: какое отношение могут иметь они к церкви? Казалось бы, что лицами духовного звания должны бы называться только служители алтарей. Они же присваивают себе это звание только потому, что время от времени облачаются в духовное платье.

И, к великому посрамлению религии, все это терпится! Почему? Не знаю. Всякий, кто только пожелает, может облачиться в священническую одежду, даже не имея тонзуры*.

Двадцать пять лет тому назад аббатам запрещалось посещать Лаис*, а куртизанка, доносив-

шая на них приставу, получала пятьдесят франков, выплачиваемые ей ***. Этот омерзительный сыск, сочетавший в себе двойной порок— вероломство и любовь к скандалам, в настоящее время пресечен.

91. Епископы

Епископы чрезвычайно легко, без малейших утрызений совести, нарушают закон и бросают свои обязанности, предписанные им святыми канонами. Скука гонит их из епархий; они смотрят на пребывание в них, как на ссылку. Почти все они приезжают в Париж, чтобы наслаждаться здесь своим богатством и, смешавшись с толпой, обрести свободу, которой они лишены у себя в провинции, где благопристойность стесняет их и требует от них соответствующего образа жизни.

Это вменяют им в вину. Но к чему тогда богатство, если оно не дает возможности каждому проявить свои вкусы? Дайте им такие же скромные средства, какие имели апостолы, и они превратятся в домоседов. Скажут: как может пастырь покинуть свое стадо? Но этот устаревший образ утратил уже всякий смысл, и никакая ноша теперь так не легка, как ноша пастыря.

Учителя добронравия больше добронравия не преподают: они не боятся анафем древних соборов и проживают в праздности и столичных удовольствиях те богатства, которые им доверены для облегчения нужд их несчастных паств. Однако все эти выражения, повторяю, уже отжили свой век.

Честолюбие, подстрекаемое тем, что оно уже получило, толкает их ко двору и в департаменты министерства, где они выжидают плодов своих происков и заискиваний и исподволь пытаются наложить руку на высшее чиновничество.

Втихомолку они неустанно работают в этом направлении и бесстрашно живут в этом новом Вавилоне, не менее преступном, чем тот, который вдохновлял некогда пророков.

Таким образом, служители церкви всецело погружены в чисто земные дела и мало думают о том, чтобы поддерживать добронравие и давать пример неустанного милосердия, как то делали апостолы.

С подобного рода упреками, и даже с еще более резкими, обращались еще в XVI столетии к отцам Тридентского собора*. «Церкви жалуются, что остаются без пастырей, многие из которых действуют по отношению к ним не так, как должно, а скорее как тати, появляющиеся лишь мимоходом, чтобы захватить их деньги и исчезнуть, а не пребывают с ними неотлучно как отцы и пастыри, чтобы руководить ими и утешать их».

Было, однако, замечено, что те епископы, которые исполняют нерушимо закон, требующий их пребывания в епархии (а таких меньшинство), отличаются такой мелочной, беспокойной и суетной набожностью, всегда готовой перейти в фанатизм, что раздражают жителей своей епархии слепым, безудержным рвением, тогда как другие, не исполняющие этого закона, отличаются преисполненной разума терпимостью

и миролюбием и никого не преследуют, так что возможный вред от их отлучек заключается только в том, что доставляемые им провинцией деньги не расходуются ими на месте.

Время от времени они печатают пасторские послания, сочиняемые их секретарями, причем как их стиль, так и самые идеи предписываются им заранее. Вот одно из самых удачных словечек Пирона*: *Читали вы мое послание?*—спросил его как-то один епископ. *Читал, ваше высокопресвященство, а вы?..*

92. Чередованье мод

Чтобы иметь представление о чередованье мод, нет нужды обращаться ни к военным, ни к финансистам, ни к судейским; достаточно сравнить портреты епископов различных эпох. Самые ранние по времени носят на всей своей внешности печать евангельской простоты и важности исполняемых ими обязанностей; во втором поколении суровые лица, длинные бороды и грубые одежды уже исчезают; в третьем— у епископов появляются веселые лица, красиво развевающиеся волосы, изысканные одежды. Взгляните теперь на портрет одного из наших прелатов, выставленный в Салоне,— у него розовые щеки, пунцовые губы, ласкающий взор. Молодой прелат теперь почти то же, что светский щеголь.

93. Трость

Она заменила шпагу, которую обычно уже не носят. Теперь выходят утром из дома

с легкой тросточкой в руках. Походка от этого стала более легкой и быстрой, а споры и ссоры, возникавшие лет шестьдесят тому назад из-за всякого пустяка и кончавшиеся нередко кровопролитием, теперь уже не имеют места. Эту великую перемену совершили не столько законы, сколько нравы. Запретить носить при себе оружие было бы не легко. Парижанин разоружился сам, движимый собственным благоразумием и желанием доставить себе больше удобств. Дуэли*, происходившие в прежние времена так часто, теперь случаются редко. Строгие законы Людовика XIV не имели того влияния на умы, какое оказала на них мягкая, миролюбивая мудрость философии. Парижане почувствовали, что не должны пожирать друг друга, как дикие звери, ради простой химеры, именуемой *вопросом чести*. Друг другу противоречат, друг с другом спорят, иногда и не без желчи, но больше уже никто не считает необходимым перерезать из-за этого друг другу горло.

Женщины снова стали носить тросточки, какие носили в одиннадцатом веке. Они выходят на улицу и на бульвары одни, с тросточкой в руках. Для них это не пустое украшение; они нуждаются в ней более, чем мужчины, из-за высоких каблуков, которые, увеличивая их рост, лишают их в то же время свободы движений.

Тросль с набалдашником в виде вороньего клюва, которой неизменно сопутствовал трехэтажный парик, мало-по-малу исчезает из употребления, и скоро ее можно будет видеть только в руках контролера или министра финансов, которому полагается входить с такой тростью

к королю. Кроме него, это никому не разрешается.

Таким образом, она представляет собой своего рода знак отличия. А чем такая трость в умелой и неподкупной руке хуже жезла маршала Франции?

Поэтам будет трудно поместить в свои стихи *трость министра финансов*, с помощью которой он должен обуздывать алчность к деньгам, но тем самым им дается прекрасная метафора, для поэтического изображения *трости*, служащей иногда поддержкой *скипетру* и *жезлу*.

94. Ослепление

Люди проходят одни мимо других, чуждые друг другу. Женщину, которая могла бы составить счастье проходящего мимо нее мужчины, последний грубо толкает, не обращая на нее никакого внимания. Человек, с душой, способной понять вашу душу, выходит из клуба или из собрания в тот самый миг, когда вы туда входите, и таким образом вам не удастся познакомиться с личностью, которую вы давно уже тщательно жаждете встретить. Мы часто слышим, как говорят о каком-нибудь характере, родственном нашему, и искажают его при этом так, что в конце концов и мы сами как послушное эхо, начинаем повторять клевету. Живя в этом огромном городе, мы обречены на то, чтобы, встречаясь друг с другом, совершенно друг друга не знать. Ложные суждения о людях—здесь одно из самых обычных явлений.

Мы постепенно блуждаем по запутанным путям счастья. Мы вертимся в каком-то лабиринте и порой, после длинного и утомительного пути, опять возвращаемся на прежнее место.

Если бы человек мог созерцать путь богатства и людских почестей на всем его протяжении, то он знал бы, почему один спотыкается, почему другой оправляется от удара, который, казалось бы, должен был его сразить, и почему третий, отвернувшись на миг, упускает представлявшийся ему удобный случай. Человек очутился бы тогда в роли зрителя шахматной игры, видящего ошибки игроков и знающего способы их исправления. Но лишь только он сам, усевшись за столик, начнет игру,—его взор утратит прежнюю зоркость, и он потеряет точку зрения, с которой, оставаясь вполне беспристрастным, можно было бы без труда отдать себе отчет в общей картине.

95. Бесплатные курсы

На перекрестках вы видите вывески: *бесплатные уроки архитектуры; бесплатные уроки английского языка; бесплатные уроки истории; бесплатные уроки словесности, географии, французского языка, правописания и прочее.*

Спешите, горожане и провинциалы, спешите, иностранцы! Что может быть лучше, как иметь учителей, преподающих даром? Разыщите их по напечатанному адресу. Вы подымитесь по темной винтообразной лестнице и очутитесь в комнате великодушного человека,



Арест

С гравюры Дюфло по рисунку Жора

щедрого просветителя. Он станет вам жаловаться на неблагодарность века и на преступное равнодушие публики, проходящей мимо его объявлений, не читая их. По его словам, невежественность и варварство составили против него заговор; он попросит вас вознаградить его за все трудности и неприятности, которые он перенес за двадцать лет—с тех пор, как посвятил себя делу общественного образования.

Урок очень краток, жалобы весьма продолжительны. Все эти учителя преподают вам то, что вы уже знаете, и, несмотря на воображаемый новый метод, который каждый из них якобы изобрел, в их преподавании нет ничего нового. Вы спускаетесь с лестницы и забываете и улицу, и учителя, и его метод, и вспоминаете о них, только снова увидав на перекрестке объявления: *бесплатные уроки*,—лживое объявление, так как время, которое вы на них потратите, без сомнения самое дорогое, что есть в жизни; и оно гораздо дороже денег!

96. Сыскное бюро

Это полицейское бюро учреждено около тридцати лет тому назад. Туда направляют свои жалобы все обокраденные, и им дается возможность вернуть свои вещи безо всяких затрат. Полицейские чиновники принимают заявления, получают надлежащие распоряжения начальства и стараются удовлетворить просителей. Драгоценные вещи, после долгих путешествий по невидимым рукам, точно по волшебству

вновь предстают перед взором своих владельцев; особенно в тех случаях, когда подавший жалобу—человек с громким именем.

Повидимому, к некоторым мелким жуликам и воришкам относятся снисходительно, чтобы с их помощью выслеживать крупных мошенников и раскрывать скандальные грабежи. Особенно ревностно стараются выследить тех, кто совершает при воровстве то или другое насилие; таким путем предупреждаются убийства и душегубства. Действуя так, полиция поступает вполне правильно, так как гранить твердые алмазы можно только с помощью алмазного же порошка.

Но если в руки полиции и попадает громадное число авантюристов и воров, то как много остается таких, которые обманывают ее бдительность и ускользают от нее! Сколько требуется изворотливости и уловок тому, кто желает жить в столице, не имея ни постоянных доходов, ни торговли; и нечему удивляться, что дух происков и ажиотажа присущ людям, занятым темным и опасным ремеслом добыwania средств к жизни всеми возможными способами.

97. Песни.—Водевили

Что обо мне говорят?—спрашивал хитрый итальянец Мазарини*.—*Они поют, ваше высочайшее преевсвятство.—Поют?! В таком случае пусть поют. Раз они поют, они заплатят.* Это справедливо еще и для наших дней. Некоторые министры не пожелали, однако, поз-

волить нам *петь* и за наш собственный счет, чем и доказали свой крайне дурной нрав.

Здесь не проходит ни одного события без того, чтобы насмешливый народ не запечатлел его каким-нибудь водевилем*. Его ум всегда склонен к эпиграммам; он отвечает сарказмами на все полезное, что ему предлагают.

Все эти водевили, как бы они сатиричны ни были, все же всегда правдивы. Они всегда были забавны и остроумны, но с тех пор, как их стали сочинять или исправлять придворные особы, они сделались чересчур ядовитыми, чересчур злыми. В них, правда, много такта и знания общественных деятелей, что придает бо́льшую выпуклость вещам и больше соли куплетам, но стиль их стал резок и язвителен, а сарказм заменил в них прежнюю добродушную веселость.

Если ряд водевилей знакомит нас с историей (то есть, другими словами, с характером действующих лиц и с истинными пружинами тех или иных событий) лучше, чем рассказы историков, никогда не заглядывавших в закулисную жизнь, то что же еще можно сказать о водевилях и о нашей серьезной истории, написанной Вилларе и Гарнье*?

Все язвительные куплеты, ходящие по рукам в последнее время, заслуживают осуждения как за желчь, которой они пропитаны, так и за чрезмерную их смелость. Это уже не прежний тон веселых водевилей, которые подсмеивались, но никого не поносили. Близкие ко двору люди исказили этот тонкий вид искусства и, преисполнившись мстительности, собрали больше ядови-

тых стрел, чем их выковала зависть писателей, стремящихся занять господствующее место в литературе.

98. Учтивость

Все это не мешает, однако, тому, что учтивость господствует теперь почти во всех классах, ибо все убедились в ее благотворном влиянии на общество. Люди, сталкивающиеся друг с другом случайно, имеют право требовать, чтобы это мимолетное знакомство было приятно. Без этого изысканного обмана общество представляло бы собой арену, на которой все мелкие и низменные страсти выступили бы во всем своем уродстве. Этот всеми принятый вид вежливости скрывает всю жестокость гордости и все заблуждения самолюбия. Люди показывают себя друг другу с лучшей стороны, безобразные же черты их характеров проявляются только в домашней обстановке, на глазах тех, кто или уже привык к ним или по самым своим свойствам способен выносить это испытание. А тем временем люди провели несколько часов приятно, весело, и маска общественных добродетелей всех утешила, заставив не надолго забыть о их призрачности. Вот почему легкое покрывало, накидываемое на душу, может быть так же необходимо, как одежда для тела.

99. Прогресс искусств и наук

Искусства и науки совершенствуются быстрее, чем нравы, потому что на первые обращают

гораздо больше внимания, чем на вторые. В наши дни кухня гораздо тоньше и изысканнее и даже здоровее, чем была сорок лет назад. Теперь лучше поют, лучше танцуют, а также и рагу делают вкуснее. Да и комедию, в общем, разыгрывают лучше. Медицина стала менее смертоносна, хирургия делает чудеса, а химия поражает своими открытиями. Мы начинаем, наконец, понимать хорошую музыку и вводить ее у себя. Наши платья менее стеснительны—они проще, свежее, удобнее. Теперь сочиняют очень милые стихи и в большем количестве; и это становится даже далеко не редкой заслугой. Наши книги содержательнее и глубже книг прошлого столетия и гораздо значительнее их. Я убежден, что будущее поколение еще превзойдет нас в этом отношении, так как если чересчур мрачно настроенные или чересчур невежественные люди и кричат об упадке, то я, с своей стороны, вижу, что все двигается вперед, а не назад. Некоторые писатели, влюбленные в свою профессию и ничего, кроме нее, в жизни не видящие, из одного только желания греметь против своих братьев не согласятся с тем, что я сейчас сказал; но в глубине сердца каждый из них все же будет считать себя выше не только своих соперников, но и своих предшественников.

100. Приговор

Хорошие книги, о которых я говорю, запрещены. Известна ли вам басня, которую я сейчас расскажу и которая является эмблемой

приговоров, произносимых родом человеческим? Волшебный дождь падал однажды с неба: все попадавшие под него теряли рассудок. День был праздничный, весенний, и все жители города пошли гулять. Один только человек, выздоравливавший после болезни, сидел дома; он остался в здравом уме. Завидев своих любезных сограждан, возвращавшихся с прогулки, он пошел им навстречу и сделался свидетелем всех их безумств, проявившихся различно, в зависимости от характера каждого. Один изображал *короля*, другой—*главнокомандующего*, третий—наиболее пострадавший от дождя—*римского папу*. Единственный оставшийся невредимым человек, желая излечить их от безумия, решил сказать им напрямик, что они не совсем в здравом рассудке. «Нет, сам ты, бездельник,—закричали они на него в один голос,—сам ты не в своем уме! Причиной этому, верно, лихорадка, от которой ты еще не совсем выздоровел».—«Э, друзья мои! Уверяю вас, что вы нуждаетесь в лечении чемерицей*».—«Мы?! Мы?!—воскликнули они хором.—Посмотри-ка на нас, и попробуй-ка оказать сопротивление такому собранию авторитетов! Довольно!! Отрекись от своих заблуждений, покайся всенародно*, становись на колени и сознайся, что сам ты сумасшедший, дерзкий сумасброд, маниак, а мы все, стоящие во главе различных присутствий, во главе армии, во главе судилищ,—мудрые люди и должны наказать тебя ради твоего же блага, так как мы слишком снисходительны, чтобы приговорить тебя к более суровой каре...» Что мог сделать после

этого тот, кому небо сохранило рассудок? Ничего другого, как заявить этому высокому собранию, что оно право, раз ему дано выносить приговоры; а затем — смотреть на сожжение *своей книги* и благодарить бога за то, что вместе с нею не сожгли и его самого.

101. Нехорошие

В то время как нападают на таланты, всячески их преследуют, обесценивают добродетели и кичатся недоверием к благородным побуждениям и великодушным поступкам, — к порокам проявляют самое снисходительное, благожелательное отношение. По этому поводу был сочинен и прочтен во Французской академии диалог в стихах: *О надлежащем отношении общества к порочным людям*, где разбиралось, как следует держать себя со злыми, обманщиками, бездельниками. Автор склонен к менее строгому к ним отношению, чем то, которое практиковалось нашими предками, никогда не оказывавшими радушного приема людям, которых они презирали. Диалог восстает против сурового моралиста, требующего, чтобы каждый разделял благотворное рвение тех, кто осуждает *нехороших людей*.

Вместо того чтобы проявить строгость по отношению к таким личностям, — поэт, автор диалога, сочинил строку, которая вошла в поговорку:

И за одним столом с плутом я ужинаю превосходно.

Что касается меня, то я думаю, что лучше было бы ужинать менее тонкими кушаньями у себя дома, но зато в обществе добрых и честных людей. Соседство с мошенником должно, по-моему, столь же вредить аппетиту, сколь и благодушному настроению. Автор диалога, как видно, хотел удовлетворить одновременно и мораль и осторожность; но что же останется на долю честного человека, если мошеннику будут оказывать почти такой же прием?!

Впрочем, я не очень осуждаю поэта. В своем диалоге он был только верным выразителем мнений так называемого *хорошего общества*.

102. Хорошее общество

Оно действительно существует, но так как у нас очень часто новые слова являются выражением какой-нибудь новой нелепости, то и этим словом, явившимся на смену выражению: *хороший тон*, в последнее время стали чрезмерно злоупотреблять. Хорошее общество не ограничивается определенным кругом людей и может состоять как из представителей самых богатых классов, так и из людей, обладающих средним достатком. Обычно оно там, где меньше притязают на это наименование, так часто упоминаемое и так трудно определяемое. В настоящее время каждое общество заявляет на него свои права. Отсюда—ряд крайне забавных сцен. Председатель утверждает, что советник не обладает тоном хорошего общества. Чиновник делает такой же упрек финансисту; коммерсант находит

адвоката напыщенным, а этот в свою очередь не желает разговаривать с нотариусом. И все они, вплоть до прокурора, высмеивают своего соседа—судебного пристава. Эти взаимные обвинения заслуживали бы кисти Мольера.

103. Наивность

Чего я ищу в хорошем обществе и чего в нем нет,—это наивности. Что в наших разговорах и наших нравах встречается реже наивности! Печален тот век, когда эта очаровательная черта ставится на одну доску с глупостью, когда всякое свободно выраженное движение ума и сердца заставляет краснеть от непонятного стыда и вызывает улыбку злобного человека. Искусственность портит решительно все; она отнимает у природы ее колорит и очарование; она гасит чувствительность, стремящуюся свободно излиться; она стесняет душу и уничтожает сердечность, которая всему придает жизнь.

Кто не предпочел бы встретить Ла-Фонтена вместо Боссюэ или Буало? Над этим добряком, которому были чужды многие общепринятые житейские обычаи, смеялись. *Он нас переживет*—говаривал про него Мольер.

104. Светские приличия

Они известны каждому, получившему некоторое воспитание; в сущности, воспитание и

есть обучение *светским приличиям*. Иностранец, который далек от них, вначале будет делать много промахов, но если он из хорошей семьи, он не замедлит понять и уловить все тонкости.

Невозможно письменно объяснить, что такое, в сущности, *светские приличия*. Теория заставит вас сделать множество нелепостей; практика же лучше, чем все наставления, в течение нескольких месяцев выучит находить выход из любого положения и хорошо разбираться в отношениях к данному месту, времени и тем или иным вещам и личностям.

Самый гениальный человек, проводящий время вдали от света, среди книг и пыли своей рабочей комнаты, может показаться в обществе смешным, стремясь быть вежливым.

Одна дама, давно желавшая познакомиться с знаменитым господином Николем*, обратилась к его духовнику с просьбой привести его к ней как-нибудь и, если возможно, уговорить его разделить с ней ее трапезу. Он пришел. Ни у кого не бывает таких тонких кушаний, как у ханжей и высших представителей духовенства, а на этот раз не были забыты и самые лучшие вина, так что у доброго господина Николая, который никогда еще в жизни не едал такого вкусного обеда, от выпитого шампанского и муската мысли немного перепутались, и он сказал, прощаясь с благочестивой хозяйкой дома: «О сударыня! Сколь я тронут вашей добротой и вашей любезностью! Нет, ничего не может быть очаровательнее вас; право, вы изумительны во всех отношениях, и нельзя

не восхищаться вашими прелестями, особенно же вашими прекрасными маленькими глазками». Духовное лицо, которое ввело его в дом и лучше его знало светские приличия, не замедлило, едва они вышли из гостиной и стали спускаться по лестнице, упрекнуть его в неучтивости. «Неужели выне знаете, — сказала оно, — что дамы вовсе не желают иметь *маленькие* глаза? Если вы хотели ей польстить на этот счет, то вам следовало сказать, что у нее прекрасные *большие* глаза». — «Правда, сударь? Вы действительно так думаете?» — «Думаю ли я?.. Ну, разумеется...» — «О боже, до чего мне стыдно за мою не ловкость; но подождите — я сейчас ее исправлю...» И добряк, не дав времени своему спутнику остановить его, бегом подымается по лестнице и, извиняясь перед хозяйкой дома, говорит: «О сударыня! Простите мне неучтивость, которую я позволил себе по отношению к такой любезной особе, как вы! Мой достойный всяческого уважения собрат, лучше меня воспитанный, разъяснил мне это сейчас. Да! Теперь я вижу, как я ошибался. В действительности у вас прелестные и очень *большие* глаза. И не только глаза, но и нос, и рот, и ноги!..»

Конец первой части

Nec nuda, nec ornata placet alma veritas

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

105. Утверждения не хуже других

Что представляло собой раньше место, где теперь красуется столь славный город, имя которого отныне сможет умереть лишь вследствие одного из тех великих потрясений, что превращают в развалины часть земного шара?

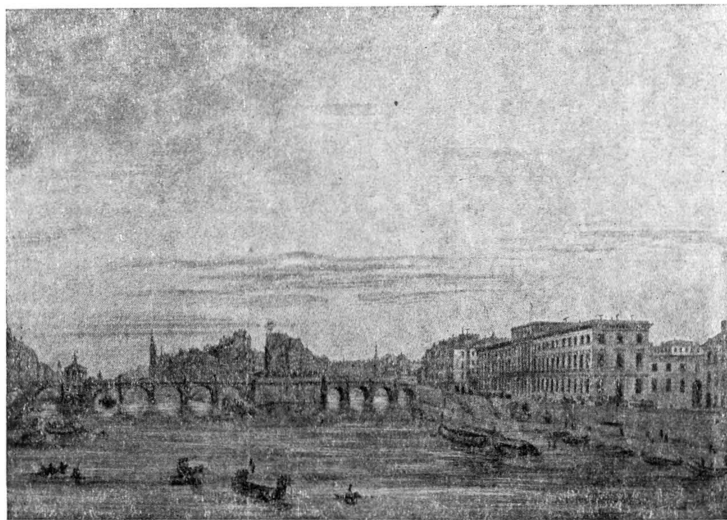
В поисках колыбели французской нации древние летописцы доходили вплоть до дымящихся развалин Илиона*. Это так же забавно, как и химерическая история жителей Атлантиды*, которых г-н Байи* поместил непосредственно у самых полюсов на том основании, что *раскаленная земля* была тогда обитаема только в этих местах! Если бы не новейшая система г-на Бюффона*, *положившего пушечное ядро в печь*, чтобы вычислить потом по аналогии, сколько времени потребовалось *земному шару*, чтобы остыть, у нас не существовало бы таких удивительных выдумок; но в серьезности, с которой писались все эти басни и смехотворные системы, есть нечто весьма забавное.

Что касается меня,—я не захожу так далеко; мне хочется верить, что до нашествия римлян* мы были свободны; что, попав под их владычество, мы позаимствовали у них их язык, нравы и религию и, руководимые своими правителями, создали по примеру Рима свой сенат, свой Капитолий, свои храмы, дворцы, акведуки и общественные бани, остатками которых любуются до сих пор.

• Мне хочется верить, что в эпоху упадка Римской империи паризии-мореходы*—вожди Армориканской республики*—вернули себе первоначальную свободу еще до вторжения варваров и подчинились вождю дикарей, по имени Хлодвиг*, только в качестве союзников и открыли ему ворота Парижа лишь при условии сохранения республиканских прав и всех привилегий родного моего города. Мы встретили эти чужеземные народы как гостей и друзей; мы внушили им, насколько это было возможно, любовь к мирным ремеслам и, передав им свою религию и законы, поступили с ними до некоторой степени так же, как китайцы поступили с татарами*.

Я предпочитаю приятную систему аббата Буке*, сохраняющего за нами славное происхождение, противной системе покорения и рабства, которую хотел установить Буленвилье*. Я вовсе не желаю думать, что был когда-то завоеван, и заявляю, что не стану читать ни одного историка, который вздумает перечить моему милому аббату Буке.

Вот почему я представляю себя со знаменем свободы в руках в эпоху, предшествовавшую



Вид Парижа при Людовике XVI
С гравюры Кокре по рисунку Габрица

Хлодвигу, и именно в эту эпоху и нахожу все основные законы нашей нации; во-первых, потому, что Париж существовал еще до появления этого варвара, крестившегося впоследствии; во-вторых, потому, что этот город в течение пяти лет сдерживал вторжение других подобных дикарей, и, в-третьих, потому, что добрые галлы сохранили свою свободу, имущество и законы, перенятые потом у них пришельцами.

Я утверждаю, что происхожу по прямой линии от храбрых паризиев-мореходов, сбросивших иго римляни и образовавших независимую республику. Я утверждаю, что именно они являются моими предками и что потомки дикой орды, состоявшей из пятнадцати или двадцати тысяч человек, оборванных и плохо вооруженных, совершенно чужды нам, ибо сами галлы, а никто другой, посадили Хлодвигу на престол.

Действуя так, они поступили дурно: его честолюбие и его образ действий, его брак с Клотильдой*, дочерью Бургундского короля, который передал ему внешние знаки своих прав на земли бургундцев, его сношения с епископами, его победы над Аларихом*, совершенные им убийства соперников—вождей других племен—все это сделало его чересчур могущественным.

Все эти маленькие дикие короли, затеяв кровавые междоусобные войны, оспаривали впоследствии друг у друга военную добычу галлов. Когда же среди народов, вышедших из германских лесов, нашелся человек, ставший во главе всех и властно проявивший свою волю,—наступила лихая пора тиранов и рабов, и народы погрузились в невежественность и озверение.

Наша слава создалась еще до того, как один из наших королей пал ниц перед святым Реми. У нас действовали свои законы, а вовсе не бургундские, не салические и не рипуарские*.

Я представляю себе Париж даже в эпоху первой династии не принадлежащим лично никакому королю, так как дети Хлодвига при разделе отцовских владений оставили главный город неделимым,—до такой степени он был всеми почитаем. Граф Эд* проложил себе дорогу к трону именно благодаря тому, что храбро защищал этот город, а король, известный под именем Гуго Капета*, вначале был только графом Парижским.

Национальный дух, ослабленный при двух первых династиях, все же не утратил своих основных черт. Феодальное устройство существовало у различных племен, населявших Галлию (таких племен было около четырехсот), еще до того, как Цезарь ввел туда римские легионы, потратившие несколько лет на покорение этой страны. В то время существовало множество маленьких отдельных государств, сохранивших в неприкосновенности свои обычаи и нравы.

Я должен признаться, что такое государство, предводительствуемое Карлом Великим*—величайшей личностью современной Европы, своим гордым спокойствием и древним величием мне гораздо больше по душе, чем монархия, потому что я считаю, что угнетение народа имеет место только в обширных государствах, все же мелкие пользуются значительно большей свободой.

Как хотелось бы мне видеть народ тесно сплотившимся, чтобы самому избрать себе государя, выработать законы и затем требовать отчета в их исполнении у того, кого он выберет их блюстителем!

Каким величием преисполнено царствование Карла Великого! В современной истории нет эпохи более величественной, более торжественной. Имя Людовика XIV бледнеет рядом с великим именем человека, господствовавшего во всей Европе, не волнуя и не порабощая ее. Галлы снова стали такими, какими они были до римлян,—независимыми и свободными, имеющими вожда, а не повелителя. Насколько презираешь потомков Хлодвига—бритых, приниженных, заточенных в монастыри, настолько восхищаешься великолепной аристократией, давшей начало духу рыцарства—этому бесподобному сочетанию чистоты, великодушия, искренности, любви и других высоких добродетелей.

Зачем суждено было равновесию этого прекрасного государства быть нарушенным первыми Капетингами, вызвавшими судорожное движение всей нации? Случилось это потому, что принудительное присоединение крупных поместий к королевским владениям могло осуществиться не иначе, как путем раздела народа между двумя противоположными силами, которые и истерзали его в борьбе. Он был спокоен и тих в эпоху феодального устройства; он пользовался тогда той долей свободы, которая была доступна его развитию и его понятиям. И чего еще нужно было, раз его спокойствие и мно-

гочисленность свидетельствовали об его счастье?

Созыв генеральных штатов* надолго отодвинул установление абсолютизма, но, хотя и медленно, он все же назревал. Капетинги, Валуа, Ангулемский дом* снова выдвинули план, созданный Хлодвигом и разбитый нацией в эпоху ее силы и мощи.

После этого у нее бывали моменты блеска, но блеск этот покупался чересчур дорогой ценой, и для того, чтобы насладиться зрелищем, с тех пор больше уже не виденным, нужно вернуться к светлым дням царствования Карла Великого.

При жизни слабых детей этого великого государя Париж сделался частной вотчиной *графа*. Город отразил все воинственные усилия римлян. Могущественный и торговый при Тиберии, он был в конце царствования второй династии* разорен норманнами*, которые сожгли ряд зданий на его окраинах и ограничили его площадь одним островом на Сене.

Парижское графство возложило корону на голову своего властителя в ущерб крови Карла Великого, последний отпрыск которого умер в тюрьме*. Но сеньёры, владельцы громадных поместий, более богатые, чем тот, кого они возвели на престол, не предполагали, что *скипетр* в руках этой династии даст ей перевес на неопределенно долгие годы. Они не верили в возрождение монархии, считая, что возложенная ими корона—только знак отличия, не имеющий никакого значения для будущего, и думали, что их *ровня* никогда не сделается их господином.

106. Офицерство

Изялбленным предрассудком офицеров является убеждение в том, что они—самые нужные для человечества люди; это дает им основание презирать все остальные сословия, удивляться существованию на свете других ученых, кроме военных инженеров, и чуть ли не желать, чтобы монарх давал награды и жалованье только тем, кто служит в армии. Им стоит большого труда представить себе, что на свете существует иная слава, кроме той, что приобретается под грохот пушек, ружейные залпы и сверканье шпаг.

Война не длится вечно: обычно мир более продолжителен. Не редкость встретить офицера, дожившего до глубокой старости и за всю свою жизнь не участвовавшего и в каких-нибудь трех сражениях. Большинство офицеров в наше время еще ни разу не было под огнем, а между тем они хотят, чтобы уважали их храбрость, точно они ежедневно жертвуют своей жизнью, защищая государство.

Каждый гренадер делает то же, что и они, но так как он получает всего восемь су в день, то не пользуется таким уважением, как тот, кто говорит при всяком удобном случае: *моя часть, моя рота, мой полк*.

При взгляде на современного офицера, такого на вид легкомысленного, завитого, нарядного, щеголеватого, поправляющего перед зеркалом непослушный локон, никак не скажешь, что это преемник Баяра, Дюгеклена, Крийона—славных воинов*, про которых говорилось:

От головы до пят на них вооруженье,
Железо—их наряд, их мощи украшенья;
Железною была их колыбель.

Единственно, чего добивается офицер наших дней, это *красивой* раны, другими словами—маленькой царапины, которая заслужила бы ему хорошую молву, не обезобразив его привлекательной внешности. Он считает страшной жестокостью приказ Цезаря, закричавшего своим солдатам в сражении при Фарсале*: *Бейте в лицо!*—и предпочел бы потерять руку или ногу, чем кончик носа.

В общем офицеры (об исключениях не говорят)—большие бездельники и невежды. Обычно все они скучают, не знают, что предпринять. Их разговор оживляется только тогда, когда касается истории их полка. Многие из них, прерзительно относящиеся к полезным наукам, безусловно выиграли бы, если бы занялись ими более или менее серьезно. Военное ремесло требует изучения истории и глубокого знания людей.

Большое преимущество Парижа заключается именно в том, что тут не видно всех тех *комендантов, поручиков короля, всех тех плац-майоров*, которые в пограничных городах превращаются в настоящих тиранов, притесняют и унижают местных обывателей. В Париже комендант не назначает под предлогом пользы для службы ни патрулей, ни военных учений и свои личные прихоти не возводит в закон.

Здесь ни один военный не имеет права быть дерзким, и тех, кто видел, как обращаются надменные офицеры с жителями маленьких город-

ков, не может не радовать сознание, что, живя в Париже, они далеки от самодурных приказаний провинциальных плац-майоров.

Роскошь, царствующая в столице, убивает не храбрость, а воинственный дух наших офицеров. Прелести изнеженной и чувственной жизни несовместимы с трудом и утомлением, неразлучными с войной. Солдатам вредны наслаждения, которыми пользуются коммерсанты, рантье и любители искусств. В области военной добродетели я наблюдаю признаки несомненного упадка. Это большое несчастье для нации, вызывающей всеобщую зависть. Вот почему в интересах самого государства нужно было бы держать как офицеров, так и солдат подальше от города, где обилие удовольствий может только расслабить, развратить их и зародить в них отвращение к их ремеслу.

107. Приверженцы роскоши

Они многочисленны. Они основываются на том, что роскошь утешает людей, страдающих от жизненных невзгод, и что она распространена по всей Европе. На это им можно ответить: вы опираетесь на нечто крайне ненадежное и опасное. Подумайте: достаточно появиться трезвому и трудолюбивому народу, чтобы без труда взять над вами верх. Прочтите в истории свой приговор; посмотрите, как исчезли—подобно миражу—все обширные и горделивые азиатские *владычества*, как горсть солдат под-

чинила себе бесчисленные народы и властвовала до тех пор, пока сами победители, изнежившись в свою очередь, не сделались добычей первого честолюбца. Вспомните об ассирийцах, покорившихся мидянам, о Кире, который, находясь во главе персидских войск, разбил мидян, а затем сам пострадал, наткнувшись на храброе сопротивление скифов в то время, как он поработил своему игу лидийцев, устраивая для них всевозможные зрелища, игры и празднества.

Что случилось с царством Дария при Александре, Камбизов и Ксерксов при Мильтиаде, Фемистокле и Павзании? Когда греки начали в свою очередь вырождаться, они не замедлили подпасть под власть македонян.

Бездарность военачальников, отсутствие дисциплины— все это последствия роскоши. Роскошь поощряет беззаботность; когда господствует роскошь, тщательно изучаются только те искусства и ремесла, которые ласкают чувственность, а изучение теории боев остается в совершенном пренебрежении. Офицеры устраивают блестящие смотры войскам, чтобы доставить удовольствие дамам; стремятся к тому, чтобы у солдата была выправка танцора; совершенно не знают ни людей, ни положения вещей, ни возможного неприятеля, и повара, драгоценные безделушки, моды бывают повинны в проигранном сражении, как и в том, что кухня и посуда остались в руках неприятеля! Офицеры приезжают на фронт на почтовых, чтобы быть убитыми или попасть в плен.

С каких это пор мужественные, суровые нравы перестали иметь значение для устойчиво-

сти государств?! Разве они не представляют собой корни, которыми дуб держится в земле? Тщетно будет он поднимать ввысь гордую голову: если корни его подточены или засохли, он рухнет при первом же порыве ветра, как бы ни пышна была его листва.

Всякий раз, когда человек открывает дверь новым потребностям, он признается в своей слабости.

Когда начинают бояться военных трудов и опасностей,—государственные начала колеблются, ибо изнеженность и мужество несовместимы,—я подразумеваю, конечно, мужество устойчивое, выдержанное.

Молодой воин, вырвавшись из сладкого плена наслаждений, может храбро ринуться в бой. Порывистость, свойственная его возрасту, усилия, которые он делает, чтобы оторваться от утех сладострастия,—все это может сообщить стремительность его действиям, но это лишь мгновенный порыв, который вскоре затихнет, и я заранее предвижу, что такой воин скорее не устрасится смерти, чем утомления.

У молодого офицера не будет недостатка в храбрости,—у него не хватит сил и он скоро сдаст. Если бы дело шло об однодневном бое,—я положился бы на него, но как сможет он выдержать целую кампанию?! Разве его изнеженный организм вынесет все связанные с нею трудности? Перемены погоды, воздух, непривычная пища, напитки—все сделает его больным, хилым, ни на что негодным, и вокруг старого гренадера с загрубелой кожей молодые офицеры будут гибнуть подобно рою мух.

108. Земское ополчение

Теперь в Париже больше не производится жеребьевка подлежащих призыву в ополчение, и это вполне правильно, если принять во внимание возможность возникновения народных волнений. Но в окрестностях столицы, всего на расстоянии какой-нибудь мили, эта принудительная мера находится в полной силе.

Что подумал бы какой-нибудь воскресший спартаец, увидав, как парижанин с мертвенно бледным лицом протягивает дрожащую руку за роковым билетом, посылающим его на войну? У него такой вид, точно его ждет пытка. Он скорее согласился бы пожертвовать теми немногими деньгами, которые у него еще остались, чем подвергать себя опасности, взявшись за оружие в защиту родины.

Посмотрите на неистовую радость избавившихся от военной службы. Матери прижимают их к груди и громко восклицают: *На этот раз мы не будем проклинать день, в который произвели вас на свет!.. Да будет же милость господня с тобой и на будущий год, мой сынок!*

Уполномоченный представляется как бы палачом, всенародно казнящим осужденных: его боятся, ненавидят, относятся к нему с отвращением. *Неужели это люди, идущие сражаться за родину?!—*воскликнул бы при таком зрелище спартаец.—*Ты удивляешься, гордый республиканец? Но слово «родина» не имеет для них никакого значения. Ты должен был жертвовать собой, их же долг—сохранять себя. Их жизньина—вот их родина.*

109. Молодые судьи

Молодой судья больше всего боится, как бы его не приняли за такового. Он говорит о лошадах, спектаклях, любовных приключениях, бегах, сражениях. Он стыдится своей профессией; никогда ни единое слово, касающееся законоведения, не сорвется с его губ.

Он старается по возможности разукрасить свою черную одежду. Когда при нем поднимается какой-нибудь вопрос юридического характера, он старается уклониться от разговора и глубокомысленно молчит. Боясь, как бы его не приняли за приказного, он подражает тону и манерам военного. Желание ничем не проявлять своего близкого отношения к судейскому словию делает этого фата до крайности смешным.

110. Кабаки

Вздорожание вина и его преступная фальсификация принудили жителя Парижа прибегнуть к водке.

Вот что делает непосильный налог на вино, взимающийся в размере четырех су с бутылки, которая сама по себе стоит всего только три су. Женщины-носильщики, перетаскивающие громадные тяжести и работающие наравне с мужчинами, тоже пьют этот яд, горящий голову и обжигающий внутренности. Но он играет роль вод Леты* для всех этих тружеников; они топят в нем вместе с рассудком и свои заботы. Самые крепкие организмы разрушаются от ежедневных излишеств. Зачем их лишают по-

лезного для здоровья вина? Они сами, конечно, предпочли бы его водке.

Эта новая пагубная привычка породила во всех кварталах Парижа, а особенно там, где проживает чернь, множество кабаков. В этих смрадных вертепах вы встретите бездельников, проводящих все время в том, что медленно, глоток за глотком тянут смертоносный напиток. Табачный дым заменяет им пищу, т. е. погружает их в состояние оцепенения, лишшающее их аппетита вместе с бодростью и силой.

Сыновья честных ремесленников пропадают в этом убежище праздности и лени, куда их привлекают грубые тюрлюпинады*, делящиеся там с утра до вечера, ибо в каждом из этих зловонных кабаков имеется свой оратор и шутник.

Самый замечательный из этих кабаков находится в предместье Сен-Марсо. Сюда стекаются в дневные часы отвратительнейшие создания из окрестностей Пон-Нефа и Лувра, чтобы истратить на водку несколько су, вырванных у похотливых трубочистов, чернорабочих и воров.

Их нередко можно увидеть здесь вокруг наполненного водкой жбана, вперемежку с солдатами, носильщиками и отходниками. Они образуют чудовищный, непристойный хор, никогда не смолкающий в этом гнусном шинке.

Разгоряченные водкой пьяницы не всегда бывают миролюбиво настроены. Они часто задевают ссоры, и спокойствие водворяется только после побоища. Нередко здоровенному кабатчику приходится насильно тащить из-за столика упорных драчунов и выталкивать их на двор. Там они завершают ссору целым градом по-

боев, после чего и победитель и побежденный вновь занимают свои прежние места за столом и забывают за стаканом водки и ругань и драку.

Кабатчик не без основания прячет атлетов в это тайное убежище. Если бы он выставил их на улицу, то лишился бы дохода, так как они или исчезли бы по своей воле или были бы арестованы и уведены к полицейскому комиссару.

А дома в это время дети громко кричат, требуя еды, и плачут от холода, ледящего их ручки. Но пьяный, озверевший отец глух к их голосам; он одну за другой уносит из дома вещи и продает их, чтобы поскорей опять погрузиться в беспробудное опьянение.

Увы! Кто подсчитает беды, приносимые водкой?! Я читал, что в Америке целые орды дикарей гибнут от этого зелья, что эти голые племена испытывают к нему такую же непреодолимую страсть, как и население Парижа. Печальное сопоставление, заставляющее подумать о законе, который запретил бы крепкие напитки; человек так легко злоупотребляет ими! А они губят его здоровье и разум!

111. Пале

Вертеп кляузничества служит преддверием храма Фемиды*. Взгляните на эту толпу людей, одетых в черное; суетятся, толкаются, спрашивают, отвечают, перебивают друг друга и, точно пиявки, копошатся вокруг мрачных колонн. Среди черных мантий мелькают продавщицы модных журналов и бро-

шюр. Миловидные женские головки, украшенные лентами, красуются рядом с судейскими лицами. Портфели прокуроров покоятся на легкомысленных журналах; и все эти волки в париках наперебой ухаживают за молоденькими продавщицами.

Вы входите в большую залу суда. Какой шум! Какой хаос! Какой гул! Громогласными возгласами адвокат заменяет доводы разума, а многословием—глубину мысли. Его считают хорошим оратором только потому, что у него могучая грудь. Полюбуйтесь на храбрость судей, проводящих полжизни на этой шумной арене!.. Мудрый человек не может уйти отсюда, не проникнувшись отвращением даже к самому справедливому судебному процессу.

Именно здесь, как превосходно сказал Буало, *крючкотворство дает за кусок золота груды бесполезных бумаг**. Алчность судейских чиновников общеизвестна; они пожирают камни домов. Но одни ли они заслуживают осуждения?!

Гербовый сбор приносит несметный доход государству. Чем больше судебных дел, тем больше и доход. Какая странная зависимость! Государство оказывается в выигрыше, когда воспаление легких отправляет на тот свет рантье, когда дети оспаривают друг у друга крошечное отцовское наследство, когда умирает какой-нибудь иностранец. На чем только оно ни выигрывает?! А еще говорят о реформе гражданского судопроизводства! Не верьте этому!

Что за путаницу представляет собой действующее в Париже обычное право! Сколько тут статей, скроенных и перекроенных, выброшен-

ных и снова введенных в жизнь, то ли благодаря простой случайности, то ли по прихоти монархов! Наше законодательство вообще представляет собой смесь законов, составленных в полуварварский век презренным Юстинианом в угоду маленькой актрисе, на которой он был женат*. Перегруженное впоследствии частными законами Людовика XIV, оно приобрело двусмысленный и противоречивый характер.

Это порочное начало породило систему судебной процедуры, убивающую закон. Обычное право истощает и пожирает Париж. Нельзя подсчитать тех сумм, которые отнимают у народа существующие у нас судебные порядки и все эти прокуроры, судебные прислава, регистраторы! Как может хватать народных средств на то, чтобы постоянно поддерживать это прожорливое полчище?!

112. Торговый суд

Торговый суд за один день решает больше дел, чем парламент за целый месяц. Стороны защищают себя здесь сами. Все ненужные тонкости здесь устранены, равно как и длительные формальности, существующие в обыкновенных судах. Судьи, являющиеся по профессии коммерсантами, стараются лишь выяснить добросовестность одних и недобросовестность других. Они не поработаны громкими, но бессмысленными словами, они разбирают каждый частный случай в отдельности и судят о нем на основании своего повседневного опыта.

Они ведают только распри, возникающие среди торгового люда на почве купли-продажи. Все обязательства, имеющие место в торговле, подчинены их юрисдикции; но частное лицо, покупающее товар для личного потребления, может перенести разбирательство своего дела в Шатле*. Торговые судьи имеют дело и с векселями, и с обязательствами, и с заемными письмами, причем для последних они не допускают никакой отсрочки и в случае неоплаты в срок прибегают к аресту. Все их приговоры неизменно исполняются, но право апелляции этим не нарушается.

Польза этого установления равняется его распространенности, и без него в коммерческих делах не было бы ни порядка, ни гарантий, так как обыкновенные судьи целыми месяцами затягивают приговоры, и случается, что всевозможное крючкотворство и кляузничество удлиняют этот срок на целые годы.

Таким же образом юрисдикции цеха каменщиков подведомственны все дела, касающиеся этого ремесла; здесь разрешаются недоразумения, возникающие между подрядчиками и рабочими, каменщиками, каменоломщиками, штукатурами и прочее. Вполне очевидно, что другие суды не могли бы решать этих дел, требующих особых знаний. Было бы крайне желательно, чтобы число этих маленьких судов увеличилось, потому что они имеют возможность быстро разрешать множество судебных процессов, потому что у них нет корысти совершать какие-нибудь несправедливости и потому что, находясь вдали от путаницы судебной процедуры, они видят де-

ло в его настоящем свете, не затемненным туманностями, которыми обычно окутывают его в прочих судах.

В других местах судебные дела тянутся бесконечно долго. Если дело проиграно в Шатле или в подчиненных ему инстанциях, то апеллируют в парламент, а затем подают кассацию или ходатайствуют о пересмотре дела в Совете. Благодаря громадному количеству дел, передаваемых в Совет, его решения настолько поверхностны, что можно надеяться на справедливость приговора только в отношении самых незначительных, простых дел.

Великие мира сего направляют в Государственный совет все дела, которые, по их предположениям, не будут решены в их пользу в других судебных инстанциях; в Совете эти дела лежат под сукном неопределенное время, а очень часто их и вовсе не разбирают. Вот что еще проделывается во Франции!

Чудовищный беспорядок, существующий в нашем судопроизводстве, день ото дня увеличивается, и все отдано, повидимому, во власть наиболее ловкого и смелого. Один только торговый суд сохраняет еще в своей работе облик правосудия.

113. Школа правоведения

Чтобы получить звание доктора прав, надо выступить на публичном диспуте; тот, у кого лучше память, побеждает своего противника. Совершенно невероятный фокус—вместить в голове всю эту бессмысленную и неудобоваримую

кучу законов, толкований, комментариев! Нормально устроенная голова от этого лопнула бы, но голова доктора прав вмещает этот хаос, именуемый гражданским правом, судебным уставом, дигестами*, римскими законами, и прочий совершенно нам чуждый хлам минувших веков.

Желающий купить себе какую-нибудь должность отправляется в школу за получением адвокатского патента и делает вид, что изучает право. Профессоров там можно видеть только в дни выплаты денег по платежным ведомостям. Доктора прав получают с лиц, добывающихся судебных должностей, порядочный доход. Если бы они проявляли к ним чрезмерную строгость, их котелки были бы всегда пусты.

Экзамены, которым там подвергают учащихся, представляют собой одну формальность: обо всех доводах и доказательствах сообщают заранее и, как сказал маркиз Д'Аржанс*, *для того, чтобы быть советником в парламенте, не требуется больших знаний, чем для того, чтобы быть откупщиком казенных доходов.*

Купив себе патент адвоката, вы признаетесь за ученого. Вам больше уже не нужно защищать никаких диссертаций, и вас могут принять в члены любого суда по вашему выбору. В суде один исполняет роль защитника, другой сидит и слушает его. Всю разницу создают здесь деньги. Тот, у кого они есть, — судит, в то время как тот, у кого их нет в достаточном количестве, чтобы покоиться на лаврах, стоя излагает дело, цитирует авторов и надрывает легкие и здоровье. Судье, спокойно сидящему за столом и полудремящему, остается только

выбрать ту или иную точку зрения, которая покажется ему наиболее благоразумной.

— Ваш сын, — сказал однажды кто-то, — изучает право? Но ведь у него совсем нет качеств, необходимых для адвоката. Подумали ли вы об этом?

— Я хочу сделать из него советника парламента, — возразил отец.

Вводя продажу судебных должностей, монархи нанесли государству такую рану, от которой оно никогда не излечится.

114. Палата вод и лесов

Эта палата, известная под именем *Капитенри*, ссылает на каторгу каждого, кто совершил *куропатобийство* или *зайцеубийство*. Если заяц съедает капусту крестьянина, если голубь наносит ущерб его урожаю, если карп плавает в реке, протекающей через его луг, — крестьянин не должен обращать на это никакого внимания. Пусть его добро едят и голуби и зайцы! Если же *он* убьет оленя, его немедленно вешают. Но такое преступление столь ужасно, столь чудовищно, что о нем теперь почти уже не слышно; во всяком случае оно совершается гораздо реже, чем отцеубийство.

И поверят ли, что не кто иной, как добрый, великодушный, щедрый Генрих IV* первый ввел *смертную казнь* для браконьеров!

Юрисдикция вод и лесов — совершенно особая юрисдикция, точно случайно очутившаяся среди прочих наших законов. У нас нет в них

недостатка, и все они *запретительные*. Я положительно не знаю, к чему можно прикоснуться без того, чтобы не преступить одного из них.

115. Нотариусы

Нотариусы превратились в настоящих Протеев*; они приспособляют обычаи, законы, договоры к интересам своих клиентов. Став денежными воротилами и ажиотёрами, они пользуются всеми средствами, чтобы занять деньги у одних или достать займы другим. Их интересует всякая мало-мальски значительная ссуда. Они необыкновенно быстро составляют себе состояния: в тридцать пять лет они уже богаты, бросают дела и продают свои должности, цены на которые за последние десять лет успели утроиться.

Эти услужливые маклеры пользуются вымышленными именами, чтобы производить денежные операции сообразно спросу данного момента. Их очень ценят в министерстве, так как они склоняют частных лиц ссужать деньги королю; при каждом новом займе они получают известную выгоду.

Являясь скорее финансистами, чем юрисконсультами, они тем не менее превосходно умеют обходить все законы, которые они либо видоизменяют, либо вовсе не признают. Этим путем они избавляют своих современников от многих процессов, приберегая их, повидимому, для будущего поколения.

Судьи страшно завидуют как их влиянию, так и их богатству и сердятся на них, главным

образом, за то, что они суживают область кляузничества. Благодаря своему вмешательству нотариусы, действительно, быстро прекращают множество запутанных споров, которые были бы очень выгодны для судейского сословия, привычного к грабежу.

Нотариусы составляют отдельную касту, не имеющую ничего общего с судейскими, которые их ненавидят. Их влияние должно, повидимому, еще возрасти в силу невероятной быстроты торговых оборотов, свойственной нашим дням. Старые правила честности по отношению к вкладам преданы теперь полному забвению.

Я не говорю о нотариальных актах, которые стали страшно дороги, потому что теперь не разрешается ни торговаться, ни улавливаться о цене заранее.

Порой нотариусы терпят банкротство так же, как и купцы; но банкротства нотариусов должны бы требовать особенно тщательного расследования, принимая во внимание доверие, которое клиенты оказывают и вынуждены оказывать нотариусам.

Нотариусы относятся к своим клеркам немало свысока, забывая, что они вскоре сделаются их товарищами. Один нотариус, как передают, говорил, что в Париже все клерки должны бы быть *незаконнорожденными, атеистами и евнухами*. Незаконнорожденными потому, что у них в таком случае не было бы родных; атеистами потому, что тогда они не ходили бы в церковь; евнухами потому, что они не бегали бы за девчонками; а следовательно,

у них не было бы предложения никуда отлучаться, и все то время, которое они так плохо, по его мнению, используют вне конторы, шло бы на работу.

Ремесло нотариуса сделалось столь приятным, что все буржуа, с первого до последнего, мечтают, как бы отдать своих детей в обучение к нотариусу. Топнув ногой о мостовую, можно было бы созвать целый полк клерков.

Даже самые маленькие места подвергаются деятельной осаде. Более четырех тысяч молодых людей жаждут купить себе нотариальную контору, а между тем продажных имеется всего только сто тринадцать. Конкуренция заставляет повышать цену на такие должности при смене каждого нотариуса, а меняются они теперь крайне часто. В прежние времена нотариус работал в течение сорока лет; теперь через какие-нибудь восемь лет он уже наживает целое состояние. Скороспелое богатство безусых нотариусов составляется за счет клиентов.

Теперь, когда умирающий пишет духовное завещание, он не находит утешения в разговоре со стариком, которому вскоре придется последовать за ним: доктора, нотариусы — все это молодежь, и ему от этого становится еще грустней умирать.

Пятьдесят лет назад нотариусы заставляли оплачивать хранение вкладов; теперь они дают их взаймы желающим и сами платят доверителям шесть процентов годовых. Та небывало высокая цена, которую платят теперь за эти должности, должна привести к какому-нибудь преобразованию в этом сословии, перешедшем все

границы благоразумия; роскошь, связанная с богатством, погубит его.

Все свои акты нотариусы начинают словами: *В присутствии советников, нотариусов и проч.*, а между тем обычно один человек составляет документ, а другой, увидав подпись сослуживца, подписывает его не читая. Таким образом, один человек единолично свидетельствует данный факт и диктует закон, касающийся важных семейных взаимоотношений. Если в конце документа стоит: *Подлежащий сбор уплачен*, то это по большей части простая фикция; *Написано и скреплено в нотариальной конторе*—тоже фикция, так как в большинстве случаев клиенты подписывают бумагу у себя на дому.

116. Эшеваны

Буржуа чувствует себя на вершине славы, когда он делается эшевенем*. Он захлебывается от самодовольства, когда видит улицу, носящую его имя.

Самомнение присуще всем богатым людям; и в этом отношении между царедворцами, епископами, аббатами, судейскими, финансистами и эшевенами существует лишь небольшая разница в оттенках. У большинства из них оно проявляется, главным образом, в присутствии людей низшего класса; но самой нелепой и смешной является спесь эшевенцов.

Чтобы достигнуть должности эшевена, нужно быть уроженцем Парижа. Сначала становятся десятником, потом кварталным.

В городской управе фейерверков больше не устраивают, но ширшества там продолжают. Чиновничество управы остается неизменно верным старинному обычаю банкетов.

Городское управление не пользуется никакой властью. Купеческий старшина, королевский прокурор, эшеваны—занимают доходные, почетные должности; но власть их призрачна. Все сосредоточено в руках полиции, которая заведует всем, вплоть до снабжения города продовольствием, так что город не имеет уже в лице городских чиновников оплота безопасности и залога обеспеченного пропитания. Громадная потеря, над которой парижанин и не задумывается!

Таким образом, городской управе не приходится заботиться о продовольствии города, где в один день съедают столько, сколько в других городах съедают в течение целого года,—города, окруженного третьеразрядными городами и деревнями, с населением, равным населению провинциальных городков.

Парижанин не задумывается над тем, что та же самая система, которая доставляет ему пропитание, может с такой же легкостью это пропитание у него отнять, даже помимо его ведома.

Городское управление ведает исправлением мостов и набережных, содержанием в порядке фонтанов, устройством празднеств и общественных развлечений. Оно утратило все прочие привилегии, и то, что называлось городской управой, превратилось теперь в предмет насмешек: до такой степени это учреждение стало чуждо парижским гражданам. С ним имеют дело толь-

ко те, которым приходится получать в одном из его отделений проценты с наследственной или пожизненной ренты, да приговоренные к смертной казни преступники, которые пишут там свои духовные завещания.

Как далек парижский губернатор от лондонского лорд-мера! Губернатор время от времени появляется на улицах Парижа в прекрасном экипаже, с целой свитой лакеев, нанятых только для того, чтобы носить ливрею. Он бросает населению (с крайней умеренностью!) монеты по двенадцати су, а на другой день после этого *представления* опять превращается в полнейшее ничтожество.

Купеческий старшина следит за сбором подушной подати и известен только благодаря этой подати — в одно и то же время и мелочной, и обременительной, и унижительной.

Королевский прокурор приводит к присяге членов различных общин и собирает с них большие деньги. Вот перед ним простой деревенский башмачник; он заставляет его присягнуть в верности *королю и государственному закону*, и башмачник, ошеломленный столь громкими словами, платит королевскому прокурору за труд, который тот понес, выслушивая его клятву!

Раздутые от важности эшеваны, видя свои имена увековеченными на мраморе общественных памятников под именами царствующих монархов, проникаются гордым сознанием своего *величия* и жаждут передать потомству свои изображения. Они заказывают свои портреты художникам, которые изображают их лица и парики на больших полотнах; и они красуются в крас-

ных мантиях, коленопреклоненные перед монархом.

В городской управе ротозеи-любители могут созерцать ни к чему ненужные портреты всех парижских эшевенов. Но вы напрасно стали бы искать там портрет того полезного человека, который изобрел способ сплавлять лес по рекам; а я предпочел бы видеть *его* изображение, чем портрет Жерома Биньона*.

Должность эшевена дает дворянство. Над этим дворянством изрядно посмеиваются, потому что оно очень уж недавнее. Но я все же предпочитаю его тому, которое приобретается за деньги, словно мебель. Эти представители горожан, может быть, смогут когда-нибудь, при особых обстоятельствах, поднять свой патриотический голос; королевский же секретарь никогда ни на что не будет годен.

117. Адвокаты

Лукиан* рассказывает об одном человеке, отправившемся к адвокату спросить совета по своему делу. Адвокат холодно выслушивает его и ничего определенного не говорит. Он полон недоумения, сомнения, нерешительности и своим видом напоминает буриданова осла*. Создается впечатление, что он никогда не выйдет из состояния нерешительности, в которое погрузила его предложенная ему трудная задача. Но клиент вынимает кошелек, и в ту же минуту равновесие в мыслях адвоката нарушается. Он начинает понимать, горячится, находит выход

из трудного положения. Он всецело на стороне клиента. Правда его дела совершенно очевидна и неоспорима для него. Он готов писать о ней в течение шести месяцев и раз десять простудиться за это время. И он с великим пылом берется за дело, к которому за несколько минут перед тем относился с полнейшим равнодушием.

Таков парижский адвокат. Неустойчивость законов сделала его пирроником* в отношении исхода любого дела, и поэтому он берется за все, что только ему попадет. Первый обратившийся к нему предопределяет направление его суждений и руководит его красноречием.

Легкий налет педантизма, всегда присущий представителям судейского мира, отводит адвокату место между литератором и университетским профессором.

В общем во Франции все сословия сильно отстали от века, а адвокатское больше других заслуживает этого упрека. Оно придерживается множества нелепых формальностей и, считая себя свободным, в действительности находится во власти бесчисленных предрассудков. Попробуйте хотя бы слегка усомниться в непогрешимости римского права,—и целый поток бессодержательных речей тотчас же поглотит ваше робкое замечание.

Парижские адвокаты являются врожденными врагами литераторов, потому что последние более философичны, во всем добираются до основ, стараются упростить все вопросы и всегда готовы принести авторитет старых книг в жертву авторитету разума.

Так как обычно адвокаты пишут очень плохо

и перегружают свой слог кучей ненужных слов (по привычке слишком много говорить, и говорить впустую), то очень завидуют каждому своему собрату, более или менее владеющему пером, что они и дали почувствовать г-ну Ленге*.

Нельзя скрыть и того, что они вообще готовы проглотить друг друга от безмерной зависти, которая им присуща еще больше, чем литераторам. Писатели сражаются друг с другом из-за славы, адвокаты—из-за славы и похлебки.

Очень редко им удается придать делу, которое они ведут, достаточно интереса, чтобы привлечь всеобщее внимание; им не хватает для этого красноречия. Правда, его и не требуется для пошлых и темных дел, которые они берутся защищать. В этих случаях пусть они лучше ограничиваются областью юриспруденции и не гонятся за славой ораторов, на которую все они имеют тайные или, вернее сказать, нескромные притязания.

Ничего не может быть скучнее знаменитого адвоката, когда вы больше уже не нуждаетесь в нем, как в законоводе!

Докладные записки адвокатов обычно бывают полны грубых выпадов; но на эти грубости никто уже не обращает внимания, так как всем известно, что брань адвокатов неубедительна и ничего не доказывает.

Адвокаты, исключив из своих списков знаменитого Ленге, причинили ему много невзгод. Не должны ли они были во имя его талантов оправдать его, вместо того чтобы еще больше раздражить этим исключением? Они отнеслись

снисходительно ко многим своим товарищам, гораздо более виновным, чем он; но дело в том, что лицемер труслив и всегда настороже; горячий же, искренний человек весь отдается своему пылу и этим губит себя. Как и все беспристрастные и справедливые люди, я всегда буду сожалеть о том, что больше не услышу голоса этого единственного среди адвокатов оратора, а его исключение останется навсегда темным пятном на их сословии.

Пестрота законов и разнообразие обычаев превращают самого знающего юриста в полного невежду, стоит ему только очутиться в Гаскони или в Нормандии. В Верноне он проигрывает процесс, который выиграл бы в Пуасси. Пригласите самого способного в деле консультации и защиты, и окажется, что он вынужден пригласить и собственного адвоката и собственного прокурора, как только ему придется выступать в процессе, который ведется в другой провинции.

118. Университетские профессора

Благодаря привычке учить детей эти профессора или учителя часто сами впадают в литературное детство, думая, что могут поучать весь мир. Видя с высоты своих кафедр только восхищенные лица юных слушателей, они скоро начинают приписывать себе исключительный ум и безупречный вкус, заявляют об этом в классах и имеют глупость повторять это и в других местах. Они никак не могут отделаться от наставнического тона. Он въедается, как ржавчина.

Если и они знают латынь, то дух *французского* языка усвоен ими плохо, а потому-то они родной язык и бранят. Было бы гораздо лучше изучить его, вместо того чтобы на него клеветать. Они делают вид, что относятся с презрением к произведениям наших великих писателей; но можно биться об заклад, что они далеко не всегда их понимают. Можно было бы не обращать внимания на их педантичный тон, если бы они не осмеливались вносить его иногда в общество и не решались высказывать своих мнений о людях, к которым они недостойны были бы попасть в ученики.

Латинисты, исключенные из литературного мира за бездарность, педантизм и глупые предрассудки, должны бы ограничиваться преподаванием грамматики и синтаксиса, составляющим их настоящее ремесло, и воздерживаться от критики литературных гениев.

Они обычно изводят своих учеников, так что те теряют к ним всякое чувство дружбы и благодарности и начинают их ненавидеть. По окончании же учения, когда юноши вступают в общество, к этому присоединяется еще и презрение, так как они сами убеждаются в бездарности и глупости своих учителей.

Учебный план крайне несовершенен; он ограничивается изучением определенного количества латинских слов, так что по выходе из коллежа приходится самому переучивать и перечитывать заново все прочтенное в школе, чтобы почувствовать красоту, силу и тонкость классических произведений.

Большинство получает отвращение к наукам

и учению именно по вине своих первых нелепых преподавателей. Нужно, чтобы сами они были очень уж ненавистны, чтобы сделать литературу противной юным и чувствительным душам.

119. Начальные школы

Всем известны многочисленные несовершенства схоластического образования; известно, как дорого дается понимание Вергилия и нескольких страниц из Тита Ливия. Но в крайнем случае можно обойтись без знания этого языка, тогда как каждому совершенно необходимо уметь читать, писать и считать.

И вот оказывается, что и эти простейшие знания достаются не просто и что в этом отношении столица не намного опередила самую захолустную венгерскую деревеньку.

Счастливую пору детства подвергают всяческим огорчениям и ежедневным наказаниям. Разве слабость, свойственная этому возрасту, не должна бы пробуждать и заботу и внимание к нему? Войдем в одну из начальных школ. Мы увидим там слезы на детских щеках, услышим стоны и плач, словно страдание—удел детей, а не взрослых. Мы увидим там учителей, одна внешность которых вызывает ужас: в руках у них хлысты и линейки, с помощью которых они разговаривают с существами, находящимися на заре человеческой жизни.

Что же делает старший регент церкви Нотр-Дам, стоящий во главе этих школ? Почему не старается он обуздать это варварство? Он забо-

тится о том, чтобы каждый учитель исповедывал католическую апостольскую римскую религию, и в то же время разрешает ему быть грубым и жестоким, разрешает бить невинные со здания во имя *креста Иисусова* и во славу *катехизиса Кристофа Бомона**!

120. Евреи

В Париже их очень много, и хотя здесь нет синагоги, они все же совершают при закрытых дверях все свои древние обряды, полные пред-рассудков. Тершимости властей в этом отношении дальше идти некуда. Торговлей евреи занимаются совершенно свободно; их браки считаются законными, тогда как протестантские не признаются таковыми. Дети евреев пользуются всеми правами; их духовные завещания имеют юридическую силу, в то время как каждый протестант в глазах закона является незаконнорожденным, не имеющим ни отца, ни матери. У одного немецкого еврея, переселившегося из Голландии и купившего поместье в Пекинъ, оспаривали право назначать священников в приход, находящийся на его земле; но он выиграл процесс, и теперь, живя на улице Сен Мартен*, этот удачливый еврей, не верящий в Христа, назначает священников и каноников в амьенскую епископальную церковь!

121. Королевские цензоры

Это самые полезные для заграничных типографов люди. Они обогащают Голландию, Швей-

царию, Нидерланды и прочие страны. Они так трусливы, так мелочны, так робки, что решаются давать свое одобрение только самым незначительным произведениям. И кто сможет их за это осудить, раз они несут личную ответственность за все, что ими одобрено? Поступать иначе значило бы подвергать себя бесславной опасности.

Благодаря тому, что они помимо воли налегают на ярмо, которое и без того давит страну, этот гнет становится еще тяжелее, и рукопись летит в другие страны, где господствуют разум и разумная свобода. Между прочим, по странному противоречию, едва произведение появится в печати, — перед ним раскрываются врата столицы, и запрещенные книги после нескольких незначительных формальностей расходятся гораздо быстрее тех, которые получили одобрение цензора, ибо последние до своего появления в свет проходят бесконечный ряд всевозможных формальностей.

Некто Клод Морель*, доктор Сорбонны и королевский цензор, которому поручено было рассмотреть перевод Корана, заявил, что он *не нашел в нем ничего противного католической религии и чистоте нравов!*

Существует некоторая разница между римским цензором и цензорами памфлетов и брошюр; между Катоном-цензором и цензором Кокле*.

Для чего нужны королевские цензоры? Только для того, чтобы время от времени выдавать паспорта глупости. Препятствуют ли они появлению свободных, преисполненных благородства книг? О нет! Уничтожить книгопечатание уже не во власти короля!

122. Лон-Шан

В среду, четверг и пятницу на страстной неделе, под предлогом почтить обычаи старины и отстоять вечернюю службу в Лон-Шане*—маленькой деревушке в четырех милях от Парижа,—туда отправляется вся столица, причем каждый старается перещеголять остальных великолепием своего экипажа, ретивостью лошадей и красотой ливрей своих слуг.

Туда являются осыпанные драгоценными украшениями женщины, ибо жизнь парижанки заключается главным образом в том, чтобы всюду выставить себя напоказ; целая вереница экипажей катится в эти дни по сухим или топким аллеям Булонского леса.

Куртизанки выделяются из толпы своей исключительной пышностью и великолепием; у некоторых из них лошади украшены изделиями из марказита. Принцы являются туда для того, чтобы посмотреть на последние новинки знаменитых седельных мастерских, и иногда сами правят лошадьми. Столпившиеся верховые и пешеходы лорнируют проезжающих женщин. Народ пьет и мало-по-малу пьянеет. Церковь пуста; кабаки переполнены. Так оплакивают страдания Иисуса Христа!

В прежнее время туда отправлялись ради музыки. Архиепископ запретил ее, думая тем самым положить конец гулянью. Но он ошибся: верные старине парижане по-прежнему отправляются через Булонский лес к церкви Лон-Шана, но в нее не заходят.

Когда на землю спускается весна—это непо-



Прогулка в Марли

С гравюры Гуттенберга по рисунку Моро младшего

стоянное время года, когда веет легкий зефир, когда небо безоблачно, а рощи зеленеют, — можно подумать, что люди собрались сюда, чтобы поклониться природе в ее храме и поблагодарить ее за то, что она не забыла нас.

В этот день женщины не являются главным предметом внимания; первенство переходит к лошадям и экипажам. Ветхие извозщицы пролетки только резче подчеркивают красоту новых, изящных экипажей. Современные кареты, сделанные по новейшим рисункам и не перегруженные украшениями, несравненно красивее прежних; они отличаются большей легкостью и мчатся значительно быстрее.

Рабочие в эти вечера одеваются по-праздничному и тоже выходят из дому, смешиваются с толпой и, как все другие, провожают глазами красивых женщин; однако их легко узнать по черным мозолистым рукам.

В то время как одни гуляют и дышат чистым, свежим весенним воздухом, другие идут в церковь послушать певчих, пение которых нарушает однообразие длинной и печальной службы, заканчивающейся нестройным общим хором молящихся, говором и шумом. Для школьников это хорошее времечко!

123. Заставы¹

Обычно их делают из елового дерева и очень редко — из железа; но они легко могли бы быть

¹ При въездах и выездах из предместий существует шестьдесят застав, из коих двадцать четыре главных;

сделаны из литого золота, если бы весь доход, который они приносят, шел на их изготовление.

У заставы чиновник в форменном мундире, получающий сто жалких пистолей в год, зорко за всем следящий и ни на шаг не отлучающийся от поста (от его глаз не укрылся бы и мышонок), подходит к дверцам вашего экипажа и, быстро их открыв, спрашивает: *Имеете что-либо из запрещенного королевским указом?* На что вы обязаны ответить: *Посмотрите!* и никак не иначе! Тогда чиновник влезает в карету и производит неприятный обыск, после чего выходит, захлопнув за собой дверцы. Вы можете его проклипать—про себя ли, вслух ли,—его это ни мало не смутит. В тех же случаях, когда он находит у вас что-нибудь из подлежащего пошлине, не предъявленное вами, он составляет протокол, и *Никола Сальзар*, олицетворяющий собою всех откупщиков налогов, присуждает вас к штрафу, так что, если когда-либо и можно будет повесить откупщиков*, — на виселицу удастся вздернуть всего только одного человека.

Решительно все кареты подвергаются такому обыску; без осмотра пропускают только экипажи принцев или министров, ибо Никола Сальзар относится к ним с некоторым уважением. Важные чиновники, стоящие на страже фискальных законов, и откупщики налогов подчиняются обыску добровольно.

кроме того есть еще две водные заставы, охраняемые сторожевыми судами.

Даже самые честные люди ежедневно дают у застав ложные показания. Обойти фискальные законы доставляет всем большое удовольствие, и все друг друга в этом поощряют, все этим хвалятся.

Если ваш карман вздут, чиновник ощупывает его. Все пакеты он разворачивает. В определенные дни недели в город пригоняют коров, и тогда часа на два прекращается доступ к заставе: нужно дать дорогу стаду. Большие ворота запираются; открыты только маленькие, через которые коровы могут пройти лишь по-одиночке. Чиновник пересчитывает все стадо, после чего, если желаете, и вы можете проехать.

Если вы фабрикант или коммерсант, то ваш тюк с товаром отправляют в таможенную, и, в то время как потребитель ждет товара, появляются люди, заявляющие вам: *Распакуйте все это, чтобы я мог все осмотреть, взвесить, а главное — обложить налогом.*

Вы платите, бегаєте по десяти разным конторам и раз двадцать расписываетесь за один тюк или чемодан. Если вы везете с собой книги, то вас отправляют еще прогуляться на Сенную улицу, в Торговую палату, где инспектор-книговед определяет ваш вкус в области чтения.

Напрасно вы стали бы ворчать, жаловаться, говорить и доказывать, что это нелепость, бессмыслица, что стеснять торговлю — значит препятствовать обогащению государства, — чиновники и таможенные носильщики не станут вас слушать. Можно подумать, что все эти тюки составляют их собственность и что они только из великодушия соглашаются их вам отдать.

124. Опять пожар

8 июня 1781 года внезапный пожар в несколько часов уничтожил залу Оперы, удобную и роскошную, несмотря на некоторые недостатки. Одна из веревок на авансцене загорелась от плошки, зажгла занавес, с занавеса пламя перебросилось на декорации, а оттуда на ряды лож. И весь театр сторел. Одного ведра воды было бы достаточно, чтобы прекратить пожар в самом начале. В театре было достаточно пожарных труб, был также объемистый резервуар для воды на случай опасности. Но он оказался совершенно пустым! Распри среди администрации явились виной тому, что самые необходимые предосторожности были забыты и упущены. Четырнадцать человек было превращено в уголья; все искусство пожарных могло отстоять только фасад здания, выходящий на улицу Сент-Оноре.

Было и жутко и интересно в одно и то же время наблюдать широкий пирамидальный столб пламени, поднимавшийся из горящего купола и окрашенный в самые разнообразные цвета благодаря декорациям, написанным масляными красками, позолоте лож и большому количеству спирта.

25 октября того же года был уже закончен временный Оперный театр, выходящий на бульвар; а если бы сторела больница, потребовалось бы, вероятно, не меньше четырех лет для ее восстановления.

Говорят, что Опера не выдержит длительного перерыва. В ней занято чересчур большое количество людей: певцы, танцовщики, музы-

канты, декораторы, художники, портные, театральная прислуга; целое население! Разнообразие и богатство костюмов приносят большой доход торговле. Лавки должны быть всегда полны, иначе им не удовлетворить спроса на материи, шелка, газ, ленты. В оперных спектаклях участвуют все изящные искусства. Такое обилие красоты привлекает иностранца, удерживает его в столице, и он оставляет здесь деньги, которые иначе увез бы в другие места.

Вот почему закрытие Оперы создало бы в Париже большую пустоту и затормозило бы торговлю. К тому же от благоденствия этих спектаклей зависит и само великое театральное искусство, с его непосредственным воздействием, так как только этот театр может поддерживать пение и балет на уровне должного совершенства, давая в то же время артистам вполне обеспечивающее их вознаграждение. Остаться без Оперы! Такой *post* явился бы настоящим несчастьем для столицы. Именно в этом театре зрители сразу получают наибольшее количество впечатлений; как же можно обойтись без него?

Нужно признаться, что это великолепное чудовище начинает принимать под рукой гениального человека, с неизменным интересом следящего за работами, невиданные еще размеры и совершенно исключительный по красоте облик.

Почти все вообще театры обречены на гибель от пожаров. Рим, Амстердам, Милан, Сарагосса и Париж доказали эту печальную истину. Все

это убедительно говорит о том, что необходимо совершенно изолировать этого рода здания, а при постройке их пользоваться деревянными материалами только там, где обойтись без них невозможно.

Один английский лорд опубликовал очень простое изобретение, применение которого отличается легкостью и дешевизной. Этот полезный предохранительный материал, прокладываемый между перегородками и потолками, служит верной преградой роковой искре. Особенно он ценен в городе, где в то время, как жители спят, булочные разводят бесчисленное количество печей, от жара которых легко может загореться деревянный, обычно плохо оштукатуренный потолок. А этого достаточно, чтобы вскоре весь дом был охвачен пламенем.

Бросьте в пожарный бак, содержащий пятьдесят-шестьдесят ведер воды, восемь или десять фунтов поваренной соли или поташа, и насыщенная этим веществом вода чудесно остановит распространение самого страшного пожара.

125. Предусмотрительность

Прежде при несчастных случаях, когда дело шло о переломе кости, о вывихе и проч., пострадавших переносили на каких-нибудь досках, лестницах, плетенках и тому подобных вещах, что значительно усиливало страдания несчастных; но недавно изобрели (к патриотическим вопросам у нас вообще относятся крайне серь-

езно) и ввели в употребление на всех гауптвахтах особые носилки, снабженные матрацами, благодаря которым переноска пострадавших в больницу или на дом проходит менее болезненно.

Равным образом у квартального комиссара теперь имеются бинты, компрессы и корпия, ожидающие тех обывателей столицы, которым суждено, выйдя из дома здоровыми, возвратиться к себе с переломанными руками и ногами, так как деловая беготня по Парижу с утра до ночи равносильна, так сказать, участию в атаке на неприятеля.

Подобная предусмотрительность крайне разумна, хотя, с другой стороны, она доказывает, что несчастные случаи все учащаются и что у нас предпочитают думать о паллиативах, вместо того чтобы как-нибудь обуздать бешеную езду в роскошных экипажах.

Дело в том, что все издающие законы ездят в каретах!

126. Посредники в делах

Это—мошенники еще более тонкие, чем те, которых я описал раньше; это—ловкие заимодавцы, поощряющие мотовство и прихоти молодых людей и пользующиеся их безрассудством и доверчивостью.

Угадать опасность здесь особенно трудно, потому что свои планы, имеющие целью разорить несчастного юношу, они приводят в исполнение под маской честности и великодушия, делая

вид, что жалеют его и хотят ему помочь полезными советами.

Эти замаскированные коршуны заставляют других играть главную роль в деле ускорения полного краха; сами же только извлекают из него выгоду.

Они притворяются, что действуют совершенно бескорыстно, и пускаются отечески увещевать юношу; но они очень огорчились бы, если бы его сумасбродства прекратились; они всячески поддерживают их и предлагают разного рода заманчивые и выгодные для себя сделки, которые преподносят под прикрытием полнейшего бескорыстия.

Постепенно все состояние доверчивой жертвы оказывается опутанным долговыми обязательствами.

Молодой человек, не замечающий проделок ловкого грабителя, в избытке благодарности прижимает его к сердцу и непоколебимо верит в его искренность и великодушие в то самое время, как тот его всячески обманывает.

Со всех сторон юношу опутывают искусно расставленные сети; его вкусы так хорошо изучены заранее, что если бы он и не отличался такой доверчивостью, все равно уже одно его тщеславие дало бы возможность его всячески обманывать. Ему говорят только об управлении его именем, о размерах его долгов и в то же время дают волю всем его прихотям, а по прошествии каких-нибудь четырех лет он видит, что обречен получать всего лишь шестую часть своего прежнего годового дохода.

Грабитель, истинный Протей*, прикидывается, будто преисполнен к нему соболезнования, и, искусно скрывая свое лицемерие, кончает тем, что начисляет к одолженному капиталу проценты и оказывается владельцем лучшей части поместий того, кого он называл своим питомцем.

Минута прозрения доверчивого юноши знаменуется ужасом, изумлением, отчаянием, выражением справедливого негодования. Но все напрасно: все в порядке, закон может только подтвердить законность приобретения негодяя, присвоившего себе таким подлым образом чужие владения. Если бы пострадавший передал дело в суд, то суд, несомненно, оказался бы на стороне захватчика.

Случай с доверчивым молодым человеком может только послужить назидательным примером для других юношей и удержать их от увлечений, которые приводят стольких к гибели. А тем временем новый землевладелец разъезжает в собственном экипаже и забрасывает грязью свою несчастную жертву, бредущую по улице пешком.

Нередко можно видеть, как какой-нибудь делец оказывается владельцем лучшего поместья своего клиента, прокурор—хозяином четырех его домов; управляющий поселяется в том самом особняке, где раньше жил его господин.

Каким же путем они получили имущество разоренного ими человека? Путем предоставления ему займы его же собственных денег!

Эти услужливые маклеры сами выступают на сцену редко; у них у всех имеются подставные люди. Они доводят человека до отчаяния и пользуются этим в известный момент. Тайное, губительное ростовщичество ссужает на кабальных условиях деньги тем, кого оно само же сознательно довело до бедности.

Этот рой мошенников поглощает огромные состояния.

И скупой Ахерон не выпускает из рук своей добычи*.

Другой подобного же типа *посредник*, не имея ни гроша, покупает землю, за которую платит небольшую сумму, взятую в долг, и становится фактически землевладельцем, до тех пор пока его не лишают этой земли судом; а такие дела затягиваются года на четыре и больше. В течение этого времени он живет в свое удовольствие, сводит лес, говорит: *мои вассалы* и только после упорной и долгой борьбы возвращает законному владельцу *свое поместье*. Он ничего за него не заплатил, жил на чужие средства, а крестьяне называли его: *государь наш*. Люди этого сорта прекрасно умеют подолгу водить своих противников по темным лабиринтам наших законов!

127. Банкиры

Вот уже более полстолетия, как всевозможные денежные обороты, переводы, многократные займы и сложные банковские операции заме-

няют мероприятия разумного, обоснованного и осторожного законодательства. В настоящее время нужны только счетоводы: управление превращается в непрерывный ажиотаж. Банкиры являются владыками Франции; по их желанию деньги то появляются, то исчезают, они притягивают их с другого конца Европы и потом вдруг делают их невидимыми. До чего доведут эти опасные фокусники и смелые космополиты свою тонкую и страшную игру, превращающую золото в нечто похожее на ртуть? Они могут одним движением руки *растворить* благосостояние государства!

Лекарство столь же непонятное, как и самая болезнь!

Тем не менее быстрота денежного обращения создает хоть некоторую видимость жизни, что само по себе уже ценно, если это только продлится долго. Но мне кажется, что этому прозрачному благополучию близится конец.

Существуют так называемые *черные билеты*—разменные деньги, свидетельствующие о назревании системы, очень похожей на систему Ло. Если она действительно должна у нас осуществиться, то пусть явится как можно скорей; зачем медлить до последней крайности? Может быть, нужно было бы с этого и начать и взять пример с лондонского банка. Но дело в том, что у нас заботятся не о народном благосостоянии, а лишь о богатстве монарха, который все поглощает и все собою воплощает.

С помощью банкиров и по их предложению совершаются все займы и отчуждения общественных доходов. Эти легко добываемые сред-

ства создают почву для разорительных предприятий, которые, при внимательном рассмотрении, свидетельствуют только о готовности жертвовать настоящим ради неопределенного будущего. Деньги выкачиваются решительно отовсюду, вплоть до корней волос, но нельзя же допустить, чтобы волосы остались совсем без питания! Как! Непрерывно гнать все деньги к трону?! Разве частные лица не больше нуждаются в них для развития промышленности, торговли, ремесел? Зачем же сосредоточивать все деньги в одних руках?

Политика, которая, вместо того чтобы отвечать нуждам сегодняшнего дня, заботится об отдаленном и неизвестном будущем, безусловно ошибочна: во-первых, потому, что самый пронзительный гений не в состоянии учесть заранее грядущих событий; во-вторых, потому, что поле для всевозможных перемен чересчур обширно, и, наконец, потому, что всякая война—страшное зло для данного момента, тогда как польза, могущая от нее получиться в будущем,—нечто очень далекое и неопределенное.

Из этого не следует, однако, что национальный долг должен пугать государственного человека, так как заем сам по себе не является злом.

Но употребление этих драгоценных средств на нужды всепоглощающей войны или на здания, построенные с никому ненужной роскошью, или на разные бесполезные потуги,—вот что является злом, и злом непоправимым.

Стягивать такие страшные суммы для того, чтобы бросать их в воду! Что это за новый образ

действий? И почему талантливые, обширные и искусные планы отделены бездонною пропастью от цели и от осуществления? Без тесной разумной связи между средствами и их применением даже уже достигнутые успехи могут превратиться в ряд потерь и неудач.

Но дело в том, что паллиативные меры являются, может быть, единственно годными для государства, страдающего старыми пороками и не поддающегося полному излечению. Препятствия мешают разумным планам, особенно когда нация близка к безумию. Аксиома, гласящая, что победа достается тому, у кого осталось последнее эю*, — очень глупая аксиома. Как после такого изречения отказаться от игры, которую ведет банк?!

Сюлли* — суровый экономист, охватывавший будущее, как и настоящее, — никогда не придавал особого значения кредитным банкам. Он смотрел на них как на крайне опасную необходимость, а благополучие, которое они дают, считал искусственным. В наши дни его сочли бы за сухого нравоучителя, и предместье Сент-Оноре освистало бы его хором. Всевозможные Вильруа* и Жанены* — его преемники — нарушили всю его работу. Они были финансистами и своим примером доказали, что финансисты не могут быть государственными деятелями.

Всем этим соображениям мы отнюдь не желаем придавать горького или сатирического оттенка. Время само покажет, сыграет ли банк роль защитника государства и действительной основы государственной мощи. Что касается управления, то наиболее осуждаемые сейчас

меры могут в исключительных обстоятельствах превратиться в наилучшие. Мы, со своей стороны, находимся в сомнении, так как было бы чересчур безрассудно и смело заранее высказываться определенно *за* или *против*. Банкиры держат руль в своих руках. Предоставим же им закончить плавание, ибо мы зашли уже очень далеко, и пожелаем им благополучно привести нас к пристани.

128. Банкротства

Они сейчас так часты, что уж больше не вменяются в вину. Причина этого явления лежит в том, что купцы утратили прежнюю простоту, свойственную их сословию. Они познали роскошь и пышность; они приняли совсем другой облик, не свойственный людям их профессии. Купец сделался легкомысленным, суетным, тщеславным, напустил на себя важность, а недобросовестность свила себе гнездо в его сердце.

Прежде купцы знали, что капитал, не вложенный в торговое предприятие, будто и не существует. Они говорили, что в торговом деле каждое *сбереженное су является как бы вновь нажитым*.

В настоящее время банкротства—простая игра; к ним прибегают с целью разбогатеть. Чтобы составить себе состояние, теперь нет нужды идти долгим и трудным путем честности: достаточно два-три раза объявить себя банкротом, и достигаешь полной обеспеченности! Крах

миллионного состояния дает двести пятьдесят тысяч чистого барыша; это твердо установлено.

Что же получается? Доверия, являющегося душой торговли, больше не существует.

Частые *расстройства в делах* научили каждого быть настороже, и трудности возникают теперь там, где сто лет назад о них не было и помину.

Когда банкротство установлено, на сцену являются люди, называемые *врачами расстроенных состояний*; они руководят вашими делами, не требуя вашего вмешательства. Кредиторы приходят, уходят, их вызывают, они расписываются, присягают, предъявляют к уплате векселя. Должник спокоен и может не выходить из дома.

Нужно различать торговую несостоятельность и банкротство. Второе является почти всегда злонамеренным, бесчестным поступком. Первая же может быть следствием стечения несчастных обстоятельств, неправильных расчетов, излишней горячности и потому заслуживает большего снисхождения.

Если бы купец заявил о первой же обнаруженной им трещине в своих делах,—он поступил бы честно. Но он раскрывает карты только тогда, когда уже совершенно погружается в бездну и тянет за собой многих других. Таким путем легкий обман неизбежно влечет за собой большой.

Нам недостает ясных, определенных законов, касающихся простых и злых банков. Дерзкий мелкий плут постепенно ста-

новится неустрашимым крупным мошенником. Неудачник, не обдумавший заранее своих действий, падает под тяжестью расходов, связанных с судебной процедурой. Терпят неудачи только мелкие кредиторы.

Создание законов, которые не оставляли бы лазеек для мошенничества и наказывали бы бесчестность, сразу оживило бы многие отрасли торговли.

Нет надобности прибегать к суровым наказаниям, так как чрезмерно суровые законы обычно не исполняются; но следовало бы проявить строгость, которая пресекла бы все поползновения к злостному банкротству.

129. Бездельники

Что делает господин такой-то? Он живет на свои доходы; он рантье. Когда ему пишут из провинции, его величают человеком, *заинтересованным в делах короля*, другими словами—заинтересованным в том, чтобы королевская казна процветала. В газетах он прочитывает только извещения о *платежах парижской городской управы*, чтобы знать, какая буква алфавита подлежит в данный день оплате¹, и жалеет, что его не зовут *Аароном* или, по крайней мере, *Авраамом*. Вечером он идет в театр, не осведомляясь о том, что там дают. Своему сыну он нанял гувернера и больше о нем не думает. Чтобы жить на проценты, не надо обладать особой гени-

¹ Рента выплачивается в алфавитном порядке.

альностью, и все же крупный рантье делается в глазах людей тем, чем он хочет казаться. Он верноподданный из верноподданных, ибо при любых обстоятельствах неуклонно голосует за своего царственного кредитора.

Если бы этот бездельник жил в древних Афинах,—он презирал бы Сократа. А между тем снимите-ка с него богатое платье, отнимите у него слуг, крупные бриллианты, экипаж,—что останется? А снимите платье с Сократа, и он ничего не потеряет — будет все тем же Сократом!

Все эти выскочки, умеющие только загребать кучи денег, прибегают к резцу скульптора и к кисти художника, чтобы увековечить свои черты. И искусство продает, бесчестит себя!

Насмешки их ни мало не трогают: всеобщий могущественный двигатель — золото — оправдывает их. Это роковое уважение к богатству извращает все самые здравые идеи. Разве не говорят все эти бездельники словами Буало:

У меня сто тысяч добродетелей в хорошо подсчитанных лудорах!

130. Маленький вопросик

Парижане, отдававшие сначала свои деньги казне с полным доверием, в конце концов стали задумываться над вопросом: является ли долг монарха национальным долгом? Является ли французский король таким же ответственным представителем этого долга, каким в Англии является парламент?

Все, кто смотрит на долги, делаемые государем той или другой страны, только как на его личные долги, говорят, что он ни с кем не советовался, что он мог взять займы больше того, что требовалось, что никто не следил за тем, на что именно были употреблены эти деньги, и что поэтому его преемник, с целью облегчения страны, имеет право освободить государство от этих долгов, являющихся слишком тяжелым бременем.

Мне кажется, что все это софизмы. Заем был сделан всенародно; занятые суммы пошли на содержание армии, флота, крепостей; они пошли на ведение войн, предпринятых государством, на нужды государства, на переговоры с другими странами, на блеск трона, который при известных обстоятельствах является блеском самой нации, и, наконец, на постройку разных зданий, которые могут быть полезны и для будущих поколений.

Нация отвечает за долг, поскольку заем был ей полезен и спас ее в свое время от неизбежного налога. Она не может по совести, честно ответить кредиторам: *Вы одолжили деньги только одному лицу, и заключенный вами договор касается только его одного.* Это было бы неверно по существу, бессмысленно по последствиям; это было бы безусловно несправедливо и незаконно.

Нация действительно обязана платить долги, сделанные у нее на глазах и ради ее неотложных нужд. Она встретила указ о займе без возражений, а молчание равносильно согласию и имеет ту же силу. Таким образом, класс богатых людей всегда должен способствовать оплате квитанций

рантье, давших взаймы не столько тому или иному государю, сколько процветающему государству и национальной казне. Нельзя заставить монарха отказаться от принятых им на себя обязательств; он заключил договор со своими подданными и связан данными им обещаниями так же точно, как связан ими его преемник. А не должны ли клятвы королей—существ, столь нуждающихся в людском уважении,—быть самыми нерушимыми изо всех клятв? Таково мое скромное мнение, но я не рантье!

Безусловно полезно применять незыблемые правила морали к изменчивым государственным порядкам, так как государства от этого только выигрывают. Вероятно, меня сочтут за мечтателя, ибо говорят, что государствам мораль чужда; на это я смело отвечу: *тем хуже для них!*

131. Органы

*Церковные органы должны вызывать у молящихся подъем благочестия, а не мирскую радость. Это слова не мои. Они были сказаны на Кёльнском соборе 1536 года. Органы должны исполнять одни только духовные напевы—постановлено Аугсбургским собором 1548 года. Во время поднятия святых даров вплоть до Agnus Dei * органы играть не должны. Последнее меня немного сердит, но просмотрите решения Трирского собора 1549 года.*

Все изменилось к тому дню, когда я пишу. Теперь играют во время поднятия святых даров — *легкие арии и сарабанды, а за вечерней,*

во время *Te Deum**—*менуэты, романсы и ригодоны*. Где же изумительный Дакен*, восхищавший меня столько раз? Он умер в 1772 году, а с ним вместе умер и орган. Но его тень витает порой над головой Купрена*.

Глубоко заблуждаются те, кто считает, что на органе можно исполнять только легкие пассажи. Отсутствие талантов и прилежания привело к тому, что пение взяло верх над органом и что он утратил свойственный ему характер величия, подобающего храму. Даже рождественские псалмы, которые Дакен умел так искусно варьировать, теперь до такой степени изуродованы, что стали напоминать грубые уличные песенки; они утратили даже свои мелодии.

Орган—это царь инструментов; он их всех вмещает в себе. Клико—единственный действительно превосходный мастер—значительно усовершенствовал эту удивительную машину. Проба изготовленного им органа в Сен-Сюльписе в текущем, 1781 году воскресила у меня в памяти случай, имевший место раньше при подобных же обстоятельствах в парижской Сент-Шапель. Дакен был приглашен экспертом; семидесятилетний музыкант делал на этом органе положительные чудеса. Все присутствовавшие говорили, что *его гений никогда еще не достигал такой мощи... что пальцы его подвижны, как у двадцатилетнего юноши*. Это была песнь умирающего лебедя: три месяца спустя Дакен сошел в могилу.

Нам известны три случая из жизни этого великого артиста; они кажутся мало вероятными, а между тем вполне достоверны. Этот прирож-

денный музыкант восьмилетним мальчиком сочинил мотет* для большого хора и симфонического оркестра. Ребенка пришлось поставить на стол, чтобы он мог отбивать такт. Слушателей набралась целая толпа, и по окончании симфонии гениального мальчика чуть не задушили в объятиях.

Во время службы в рождественский сочельник Дакен так изумительно воспроизвел на органе пенье соловья (причем это добавление несколько не изменило соответствующего стиха), что все присутствующие были поражены. Ктитор послал привратника и церковных сторожей на поиски соловья, который, как предполагали, залетел под церковный купол. Но его, разумеется, не нашли. Соловьем был сам Дакен!

Когда орган церкви Сен-Поль был взят для починки, остался только *позитив*, то есть очень маленький дополнительный органчик; *трубы* и *педали* отсутствовали, осталась только одна клавиатура; каркас большого органа был совершенно пуст. Тем не менее в канун дня святого Петра Дакен сыграл на нем *Te Deum*. По случаю праздника слушателей набралось больше обыкновенного, и никто не заметил, что в органе не хватает стольких частей. Все побочные голоса, казалось, были налицо, и было ясно слышно, как звучал голос *флейты*, которой в действительности не было на месте! Между присутствовавшими в церкви инструментальными мастерами поднялся спор. *Вы все-таки оставили педаль*,—говорили, обращаясь к Клико.—*Не оставляя я, клянусь вам!—Быть не может! Не верю!* Состоялось пари. По окончании *Te*

Deum поднимаются на хоры, осматривают, обыскивают орган и не находят ничего, кроме изумительного человека, которому удалось ввести в обман даже самих мастеров!

Когда орган был окончательно исправлен и пополнен *басовыми трубами*, в газетах объявили о предстоящем праздновании дня святого Павла. Мы были в церкви среди присутствующих. Надо сказать — народу было так много, что нельзя было шелохнуться. Хоры, середина церкви, боковые приделы, обе ризницы, лестница, ведущая к органу, все проходы, паперть — все было переполнено. Кареты занимали всю улицу Сент-Антуан вплоть до монастыря целестинцев. В этот день Дакен, который никогда, кажется, не был так вдохновен, так велик, вложил такую мощь в исполнение *Judex crederis*, что потрясенные до глубины души слушатели побледили и содрогнулись.

Г-н Довернь*, теперешний директор Оперы, был так поражен, что ушел из церкви одним из первых и поспешил домой, чтобы запечатлеть на бумаге только что слышанную изумительную импровизацию. Впоследствии он включил ее в свой прекрасный *Te Deum* для большого хора.

Было не мало хороших органистов, но Дакен остается непревзойденным. Мы воздаем должное великому артисту и хотели бы поощрить этим его преемников. После него остался сын, успешно занимающийся литературой.

Орган, — сказал Грессе*, — *привлекает удивленного безбожника в наши храмы*. Парижский архиепископ запретил музыкальное исполнение

вечерних *Te Deum* и *полуночных богослужений* в двух парижских церквах—в церкви Сен-Рок и аббатстве Сен-Жермен—из-за несметного количества народа, приходившего слушать органиста и относившегося недостаточно почтительно к святости места. Совершенно непонятно, как католики могут позволять себе такое безобразное неуважение, тогда как *реформаты* так чтут свои храмы! А между тем первые допускают более определенно действительное присутствие божества. Но ночные празднества всегда носят характер некоторой распушенности; это объясняется влиянием темноты. При свете дня беспорядков обычно бывает меньше.

132. Сборщица подалий

Строгий пастырь нередко прибегает к помощи милостивых прихожанок, чтобы возбудить щедрость в душах верующих. Утром он громит в своей проповеди женские наряды, называя *ужаснейшим разгулом* все, даже самые легкие, украшения, подчеркивающие привлекательность женщины, а вечером ждет от милостивой сборщицы, от ее изящной внешности и хорошенького личика более обильной жатвы.

Она очень нарядна; большой букет цветов, приколотый к корсажу, не скрывает глубокого выреза. Стоя на церковной паперти или у дверей тюрьмы, она с очаровательной улыбкой просит каждого входящего пожертвовать что-нибудь приходским бедным. Она мягко выговаривает тем, кто ей противится; она их оста-

навливает. Приятный звук ее голоса, безукоризненные зубы, неотразимое красноречие обнаженной руки и прекрасных умоляющих глаз... Чего только ни пожертвуешь в пользу бедных!

За каждое подаяние, как бы ничтожно оно ни было, она дарит вас изящнейшим реверансом. Вас приветствует ее красота, ее губы благодарят вас, и ваша щедрость получает награду еще прежде, чем за нее рассчитаются с вами небеса.

Вскоре красавица появляется в самой церкви, предшествуемая привратником с алебардой в руках, которой он звонко ударяет об пол, и чем больше в церкви народу, тем больше усердствует сборщица. Самый красивый из знакомых юношей берет ее под руку; она милостиво наклоняется направо и налево и протягивает белоснежную руку навстречу ленивой руке, медлящей расстаться с монетой.

Это прикосновение смягчает скупого; глаза присутствующих отрываются от алтаря и пожирают прелестную сборщицу. Когда она протягивает раскрытый кошелек,—кажется, что она собирает сердца. Даже самый бесчувственный кладет что-нибудь ей в кошелек. Сопровождающий ее священник, видимо, радуется ее успеху; толпа молящихся так теснит ее, что она с трудом продвигается вперед. Она похорошела от святой усталости, под огнем направленных на нее взглядов. И если она и вняла похвалам своей красивой, стройной фигурке, если в ней и шевельнулось тщеславное чувство,—церковь простит ей эту гордость, особенно когда, придя к священнику, она откроет перед ним полный кошелек—дань ее очарованью.



Благотворительность

С гравюры де-Лоне младшего по рисунку де-Френа

Начинается ужин. Ее угощают друзья священника; она получает со всех сторон поздравления. Появляется целая вереница священников и клириков, старающихся превзойти друг друга в любезности. Мрачное чело распорядителя погребальных шествий проясняется; он тоже хочет нравиться и сочиняет неуклюжий мадригал. Льется вино, поедаются пирожные, и присутствующие, наконец, разрешают себе несколько мирских фраз, пересчитывая деньги щедрых мирян.

133. Благословенный хлеб

Все жители Парижа обязаны по очереди жертвовать в приходскую церковь благословенный хлеб. Протестанты от этого тоже не избавлены, так как священники утверждают, что во Франции каждый француз считается католиком.

Каждому полагается лично являться с этой целью в церковь, но под предлогом нездоровья обычно поручают лакею или горничной передать пожертвование, возжечь свечу и приложиться к дискусу.

Буржуа обыкновенно поручает жене булочника совершить все требуемые обряды; некоторые женщины лет двадцать пять подряд только тем и занимаются в воскресные и праздничные дни, что неуклонно разносят хлеб, замешанный и поставленный ими накануне в печь.

Этот обычай льстит тщеславию мелкой буржуазии и очень выгоден церковному причту. Помимо хлеба, полагается жертвовать некоторую

сумму денег. Этот ежегодный обязательный налог выражается в размере от двенадцати до восемнадцати ливров для самых бедных, которых причт объединяет по несколько человек, чтобы они сообща осилили дорого стоящий обычай. Что же касается богатых, то их приберегают для торжественных праздников.

В этих случаях они из тщеславия стараются проявить как можно больше щедрости и великолепия. Они украшают своими гербами большие благословенные хлебы и выставляют напоказ перед певчими и аколитами* свои орденские ленты. Крупная монета ударяет о дно серебряного сосуда и звенит в ушах восхищенного зрителя. Священник и ктитеры склоняют головы; перед ними идут церковные служители в белых перчатках; восковые свечи освещают пышное зрелище. На все эти благочестивые пустяки истрачено около пятидесяти луидоров.

Что же получается в итоге? У церковных сторожей, скромных распределителей освященных хлебов, будет, во всяком случае, с чем поесть суп в течение целой недели.

Всякий, кто вздумал бы упрямо отказываться от такого пожертвования, был бы в конце концов вынужден покориться благодаря строгому постановлению парламента на этот счет.

По этому поводу было несколько забавных процессов. Между прочим, один поэт высмеял ктиторов и весь церковный совет, но, несмотря на это, как совет, так и ктитеры неуклонно представляют этого насмешника волей-неволей приносить свою долю благословенного хлеба.

В больших приходах очередь наступает

реже; в маленьких же приходится тратиться на такие жертвования гораздо чаще.

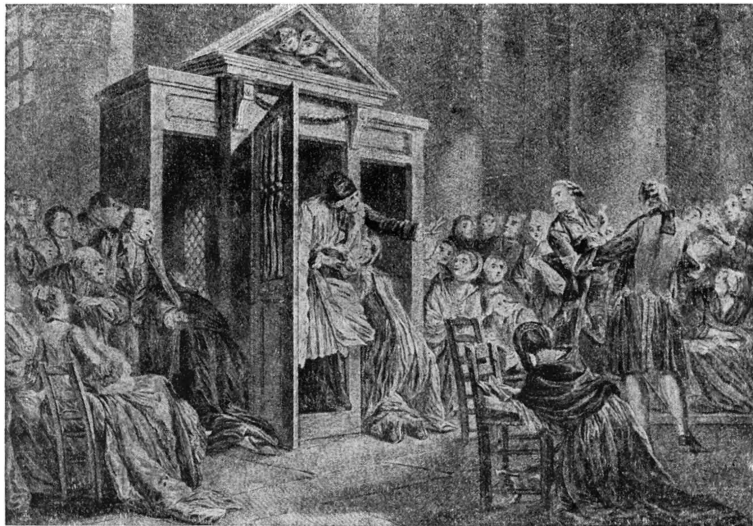
134. Катехизис

Не знаю, продолжают ли еще парижские повивальные бабки терзать мягкие и нежные головки новорожденных младенцев, чтобы придать им желаемую форму; не знаю, по-прежнему ли пальцы этих бесчеловечных матрон многократными варварскими нажимами разрушают работу природы, покушаясь на вместилище разума, и, желая придать голове человека совершенно круглую форму, калечат ее так, что она навсегда становится вместилищем глупости или идиотизма; этого я, повторяю, не знаю. Но мне хорошо известно, что совершенно недоступный пониманию катехизис продолжает оставаться первой книгой, которую парижских детей заставляют учить наизусть. Они набивают себе головы бессмысленными словами и приучаются в дальнейшей жизни говорить, не сознавая, что именно говорят.

Катехизис—и никаких элементарных сочинений из области морали, которые могли бы указать и объяснить детям обязанности человека и гражданина; ни слова о принципах естественных человеческих прав, преподанных в понятной для подростков форме; никакой вообще ясной, толковой, годной для школ книги, написанной простым языком, так, чтобы ее можно было читать и усвоить в обстановке домашнего обучения.

Преподает катехизис обыкновенно какой-нибудь церковный служка; преподает как мальчикам, так и девочкам, причем сам понимает в этой книге не больше, чем его юные слушатели и слушательницы. И как только можно до такой степени злоупотреблять зарею духовного и умственного развития человека? Разве это не заставит его всю жизнь видеть все окружающее окутанным непроницаемой и таинственной мглой?

Довольно забавно видеть юного клирика, преподающего катехизис девушкам лет пятнадцати-семнадцати, только что подошедшим к первому причастию. Он один среди пятидесяти юных красавиц; их взгляды устремлены на него; у него в достаточной мере неловкий и смущенный вид; румянец то и дело заливает ему лицо, пока он их экзаменует, а они не без лукавства подсмеиваются над его смущением и отвечают ему с большей смелостью, чем он их спрашивает. Можно подумать, что он сознает смешную сторону теологии, когда о ней говорят эти розовые уста, и догадывается, что вскоре этих девушек будут занимать иного рода тайны. Что касается их самих, то они витают где-то далеко, вне сферы бесплодных вопросов, и с самым милым, естественным и даже легкомысленным видом произносят наиболее страшные догматы. Слова *чистилище*, *ад*, *вечность* теряют в их устах свой суровый оттенок. Образ *дьявола* плохо вяжется с внешностью этих *ангелов*, и, вопреки самым страшным угрозам законоучителя, юные ученицы, повидимому лучше осведомленные, чем их наставник, обещают всем милосердие и рай.



Исповедальня

С гравюры Муатта по рисунку Бодуэна

135. Доктора

Если бы Мольер воскрес, он не узнал бы ни одного из своих докторов*. Где теперь все его гг. Пюргоны и Диафуарюсы? Где Гено, восседающий верхом на муле? Вместо важного человека со строгим, бледным челом и размеренной походкой, человека, взвешивающего свои слова и ворчащего, когда не исполняются его предписания, он увидел бы приятной внешности мужчину, который говорит обо всем, кроме медицины, любезно улыбается, выставляет напоказ белую руку, изящно откидывает кружева, произносит острые словечки и старается обратить всеобщее внимание на крупный бриллиант, сверкающий на его пальце.

Если он и щупает пациенту пульс, то делает это с отменной грацией; он всех находит здоровыми и никогда не видит опасности. У кровати умирающего он делает вид, что уверен в его скором выздоровлении, расточает окружающим ободряющие слова, уходя шутит на лестнице, а несколько часов спустя смерть похищает больного.

Когда он убивает, благодаря своему невежеству или равнодушию, десять простолюдинов, — это его ни мало не печалит, но если в его руках умирает видное должностное лицо, он делается неутешен и в течение целых двух недель ходит с таким выражением на лице, точно у каждого встречного просит прощения.

*Согласитесь с прописанным мною рвотным, и я соглашусь с вашим слабительным!**—сказал добрый наш Мольер. Такова и в на-

ши дни политика членов медицинского факультета. .

Несколько докторов поделили между собой, если можно так выразиться, больных нашей столицы. Когда один из этих врачей совершает крупную ошибку в лечении, то, так как и с его коллегой может случиться то же самое, случай человекоубийства стараются замять, сгладить и даже оправдать; ни один доктор не осмелится пойти наперекор лечению, назначенному его товарищем, и больной умирает, окруженный десятью врачами, которые, видя прекрасно, что нужно сделать для его спасения, но, оставаясь верными духу *докторской этики*, предоставляют тому, кто первым был вызван к больному, закончить по всем правилам это планомерное убийство!

Позднее молчаливые сообщники встретят, при подобных же обстоятельствах, и к себе ту же снисходительность. Они оправдываются неточностью самой науки и необходимостью действовать иногда ощупью. Но почему—раз они так думают—продолжают они упорствовать в своей рутине и не желают выйти за ее пределы? Почему они так сопротивляются всему, что может упростить эту науку? Почему, опьяненные этими губительными доктринами, не меняют они своих старых, отвратительных методов лечения, раз они на собственном опыте убедились в их несостоятельности и опасности?

А потому, что они желают практиковать медицину темными и в то же время доходными способами и, обеспечив себе побольше визитов,

не отдавать никому отчета в своих действиях, не входить ни в какие сношения с *непосвященными* и укрываться за варварскими принципами—наследием веков, не имевших никакого понятия о том, что значит здравая медицина.

Уже одно то, что они разграничили область деятельности того, кто пишет рецепты, и того, кто prepares лекарства, является крайне неблагоприятным для удачного лечения. Кроме того, они не прибегают к химическому анализу лекарств и, не имея ясного представления о составе и о разложении всех этих аптекарских снадобий, все же широко применяют при лечении эти страшные яды. В итоге больному приходится бороться не с одной, а с двумя напастями: с самонадеянным врачом, прописывающим сильно действующие лекарства, и с недобросовестным аптекарем.

Таким образом, в наши дни медицина является вошедшим в доверие дерзким шарлатанством. Ее представители сознают ее пустоту, ненадежность и беспорядочность, но продолжают оставаться верными ей, потому что это дает им хорошие доходы.

Медицинский факультет в наше время все еще преисполнен ошибок и предрассудков самых диких, варварских веков. В то время как естествознание, действуя помимо медицины, достигло такого прогресса, последняя, повидимому, прекрасно себя чувствует в сплошных потемках старых формул и боится света, могущего разом уничтожить призрак, который все еще внушает уважение доверчивым людям.

Доктора, благодаря Мольеру и другим писателям, врагам этих напыщенных обманщиков, подвергались таким язвительным насмешкам, что в конце концов отказались от своей привычки пускать несчастному больному кровь по двадцать пять раз сряду, как они это делали всего каких-нибудь тридцать лет назад. Путем высмеивания других смертоносных способов лечения их, может быть, заставят следовать методу Гишкрата, который не прописывал почти никаких лекарств, а изучал человеческую природу и не мешал ей бороться с болезнью.

В каком долгу наши доктора у знахарей! В то время как доктора расходуют свои силы на изобретения всевозможных систем, знахари, благодаря традициям и собственному опыту, обладают такими лечебными средствами, которые, исцеляя больных, ставят втушик суетную ученость докторов.

Доктора не приняли торжественного вызова, сделанного им доктором Месмером*; после этого они, может быть, станут поскромнее и перестанут рассуждать о непонятных для них операциях, производимых их противником, и подождут, пока само время выскажется по этому поводу. Но каковы бы ни были итоги опытов, им все ж придется упрекать себя за то, что они не смогли ни пойти навстречу полезному открытию, ни указать на заблуждение противника, в то время как общий голос призывал их к этому, а их нападки, брань и раздражение против автора сделанного открытия нуждались в каком-либо обосновании.

Они предпочли всячески преследовать од-

ного из своих товарищей, который скромно говорил им: *Я был очевидцем исцелений; посмотрим, исследуем; мы ничего не знаем; не надо торопиться; припомним историю всех вообще открытий* и проч. и проч.

Не может быть двух мнений о том, что их товарищ прав, а корпорация ошибается, и что животный магнетизм действительно представляет собой нечто чудесное и из ряду вон выходящее. Все, что мне удалось узнать по этому поводу, заставляет меня так думать, а если я узнаю что-нибудь еще более положительное, то расскажу об этом либо в настоящем сочинении, либо в каком-нибудь другом, так как я посвятил себя защите истины, насколько хватит у меня сил ее распознавать и бороться за нее.

Скажут, что я здесь чересчур резко нападаю на докторов, но ведь они нападают на наше здорovie и даже на нашу жизнь, а что может быть ужаснее этого?

136. Королевское медицинское общество

Медицинский факультет—достоинное детище Парижского университета,—с таких давних пор вылившийся в самостоятельную единицу, ровно ничего не делал и не желал ничего делать для усовершенствования медицинской науки. Он никогда не изучал преобладающие в данное время болезни, не обнаружил никаких наблюдений, не входил в сношения с европейскими докторами и презирал все, что соверша-

лось вне его стен. Преисполненные глупой преданности старинным обычаям и какого-то рокового эгоизма, доктора думали только о том, как бы выколотить из больных побольше денег и пожить в довольстве, и не старались быть более полезными человечеству, а тем временем ныне царствующий монарх решил основать *Королевское медицинское общество*, где сосредоточились бы все знания, соприкасающиеся с медицинской наукой; король проявил этим большую мудрость. Даже если бы это учреждение заронило только искру соревнования между двумя разъединенными научными учреждениями, и то оно принесло бы громадную пользу.

Собрание докладов и диссертаций только что появившегося на свет общества и сейчас уже крайне ценно, и все европейские врачи с радостью пойдут, конечно, навстречу этому учреждению. Это придется не по вкусу только лености, спеси и невежественности наших столичных докторов.

Ничто так не зловредно и не опасно, как плохой врач. Посудите, какой они могут поднять вопль, соединившись вкупе! Но настало время выставить напоказ бездарность этой старинной корпорации и длинный перечень совершенных ею убийств.

Медицина представляет собою самую отсталую науку и в силу этого более других требует обновления. Странно, что со времен Гиппократов не явилось ни одного человека, равного ему по гениальности, который влил бы в эту науку недостающие ей свет и знания.

Разве не является образцом несообразности тот факт, что назначение лекарств и их приготовление поручается людям, не имеющим ничего общего друг с другом? Не значит ли это действовать вслепую и не вызывает ли подобное разделение целый ряд серьезнейших неудобств?

Разве чудеса современной химии, шествующей от открытия к открытию, не должны были бы останавливать врача, который прописывает лекарство, состоящее из семи или восьми составных частей? Если только он не самый бесчувственный и в то же время не самый самоуверенный человек на свете, разве он не должен был бы прежде всего узнать химический состав прописываемого лекарства? Как! Неужели оттого, что земля скрывает в своих недрах все его ошибки, он считает себя в расчете и с обществом и с собственной совестью? Занимаясь самым лучшим, выгодным и удобным ремеслом, доктора решили — и не зря, — что тот, кто не носит платья, подбитого мехом, или схоластической мантии, никогда не будет в состоянии сделать никакого полезного открытия и что оно всегда будет у него оспариваться *per fas et nefas**. Таким образом, они приносят все человечество в жертву своим гнусным денежным интересам, а так как ни покойники, ни их наследники никогда еще не заводили тяжбы с докторами, то последние продолжают царапать свои таинственные рецепты и раздавать больным старые аптечные яды.

Когда же явится, наконец, великодушный и просвещенный человек, который разрушит

все храмы старого Эскулапа*, сломает опасный ланцет хирурга, закроет лавочки аптекарей, уничтожит всю эту основанную на догадках медицину с ее свитой дрянных лекарств, принудительного поста и диеты? Какой друг человечества возвестит, наконец, новую медицину, поскольку старая только убивает и губит население?

Обычный припев докторов—это возмущенные крики против *шарлатанов и знахарей*, относящиеся ко всем, не входящим в корпорацию. Но ведь териак, рвотные, хина, большинство специфических средств, прививки — все это мы получили от знахарей. Во всяком случае, я не считаю знахарство по существу более опасным, чем современная медицина со всеми ее формулами и тезисами.

137. Писатели

В Париже живут писатели, которые сеют и собирают жатву только своим пером. Их чернильницы вмещают в себе все их поместья, все их процентные бумаги. Таковы были оба Корнеля*, их племянник Фонтенель*, Кребийон*, оба Руссо¹ и почти все наиболее знаменитые писатели, которых дала миру Франция. Что же касается поэтов древности, то самый великий из них был вместе с тем и самый бедный.

¹ Существует третий, очень богатый, Руссо; он не сочинил ни *Эмиля*, ни *Оды к судьбе*. Он издавал на свой счет газету и заработал этим не мало денег. Его зовут Пьером Руссо*.

На колени, невежды! Этот бедняк—Гомер.

Их могилы украшают благоухающими курильницами; при жизни же их оставляют в нищете; но это почетная нищета, и тот, кто сохраняет себя незапятнанным среди всеобщего равнодушия, несомненно является самым добродетельным человеком в мире.

Пенсии, назначаемые правительством, даются отнюдь ни наиболее нуждающимся, ни особенно полезным: самые изворотливые, самые дерзкие, самые ловкие интриганы захватывают все, предоставляя другим сидеть в недрах своих кабинетов и довольствоваться сознанием своих заслуг.

Бедность литератора является признаком добродетели и доказывает, что он никогда не унижал ни себя, ни свое перо; тот же, кто домогался пенсии и получил ее, сказать этого о себе по чистой совести не может. Его произведения могут быть безукоризненными, поведение же не всегда было таким.

Бребёф* сказал:

Когда б я знал небес участие
И не был так суров мой рок,
Везде, везде, где только мог,
Я вместо слез дарил бы счастье.
О доля, полная утех—
Предупреждать желанья тех,
В ком блещут высшие заслуги—
То было б счастьем моим!
И тяжело мне глядеть, о други,
На то, как рок враждебен им!

О если бы богатые литераторы приходили на помощь бедным товарищам по профессии! Какая чудная мечта! Многие достигли видно-

го положения благодаря занятию литературой, благодаря советам других литераторов. Но добившись высокого положения, они забыли своих друзей, своих товарищей, своих благодетелей.

Литераторы обычно посвящают работе утренние часы и делают этим большую ошибку, так как в том, что написано вечером, всегда бывает гораздо больше огня. Но спектакли и всякого рода развлечения стесняют вдохновение и мешают предаться серьезной работе.

Один из недостатков, свойственных умным людям столицы, заключается в том, что они слишком мало интересуются умом других людей и мало обращают внимания на толковые замечания какого-нибудь скромного тяжелодума, который, не умея гибко и ловко выражаться, иногда запаздывает со своим мнением. Другой недостаток умных людей заключается в отсутствии снисходительности и в том, что главным достоинством книги они считают ее отделку. Наконец, третий их недостаток — *неумение слушать*. Но в Париже человек, умеющий слушать, — вообще большая редкость.

Именно благодаря литераторам дух столицы сделался диаметрально противоположным духу придворных кругов. Столица стремится восстановить права человека и ограничить влияние вельмож, которые в прежние времена всячески унижали народ. Литераторы прилагают в наши дни все усилия к тому, чтобы искоренить тщеславие титулами, показав их ничтожество и поставив на их место действительно полезные труды человека. Являясь хозяевами об-

щественного мнения, писатели превращают его в наступательное и оборонительное оружие. Яростная война завязалась между литераторами и вельможами, но последние, несомненно, проиграют сражение.

Пороки, порожденные роскошью, иные пытались объяснить свободой печати, в то самое время как писатели всеми силами борются против невероятных злоупотреблений власти. Писателей хотели сделать ответственными за нравы вельмож, тогда как вельможи никогда ничего не читают и являются прирожденными врагами писателей. Им хотели также приписать и все бедствия, которые они предвидели, о которых говорили и которым старались всячески противодействовать; но враги литераторов никогда не отличались логикой!

Начало упадку нравственности дано было при дворах, а не в книгах. А преступление литераторов состоит в том, что они пролили свет на множество злодеяний, дотоле покрытых тьмой. Власть имущие содрогнулись, увидав, что их постыдные тайны разоблачены, и возненавидели как самый светоч, так и тех, в чьих руках он находится.

Всем известны слова Дюкло*: *Разбойники фонарей не любят!* Но и сама нация не воздает в полной мере всего должного литераторам. Хотя последние и мало сплочены, они тем не менее согласны между собой в отношении всех основных принципов. Они клеймят позором сторонников самовластья, распознают их под их личинами, разоблачают и карают их. Они узнают бездарного чиновника и высмеи-

вают его и своим беспристрастным осуждением и бдительностью приводят в смущение даже низших притеснителей, которые, находясь в тени, считают себя недосыгаемыми. Они умеют чинить справедливый суд всем общественным деятелям, за исключением своих личных соперников. Зачастую их голос становится выразителем общественного мнения. Что же может сделать власть против этого мощного голоса, который за невозможностью попасть в печать ограничивается разговором и покоряет силой очевидности? Решительно ничего! Ей остается только быть справедливой и сдержанной, так как иначе все ее ошибки будут запечатлены самым неумолимым резцом. Она все делает для того, чтобы посеять разлад в среде писателей, где, несмотря на полное отсутствие сплоченности, жив единый дух. Она подкупает наемников, чтобы раздуть пламя раздора и дать толчок легко возбудимому людскому самолюбию. Но в разгар всех этих распрей оружие сражающихся внезапно направляется против врага свободы и законов. Все участники борьбы прекрасно умеют отличать литературную ссору от общественной войны, и все их стрелы, точно движимые дружеским порывом, устремляются на виновника тирании.

Наконец, благодаря литераторам каждый характер теперь вполне выяснен и ему отведено определенное место. Приговоры, которые они выносят в первой инстанции, обычно утверждаются всем народом. Литераторов нельзя уже ни подкупить, ни уничтожить. Если даже разбить все печатные станки, то и это ничего не

изменит, так как одним своим молчанием они смогут руководить общественным мнением.

138. О полу-писателях, четверть-писателях, о метисах, квартеронах и проч.

Это те, что печатают в разных *Вестниках* и прочих журналах наивные стишки или пустяшные отрывки в прозе или критические статейки, лишенные и соли и знаний, а потом присваивают себе в обществе звание *литераторов*. Один написал четыре героических послания, другой—две комические оперы. Они то говорят, что они не писатели, а сами из кожи лезут, как бы напечатать свои маленькие рапсодии*, то заявляют, что пишут исключительно ради собственного удовольствия. Но публике их писания никакого удовольствия не доставляют.

Их самолюбие еще забавнее самолюбия настоящих писателей, так как в силу своего полнейшего ничтожества они являются с головы до ног одной сплошной претензией.

Один подписывается под каким-нибудь мадригалом графом, другой в каком-нибудь альманахе—маркизом. Они громко осуждают *надменную посредственность*, в то время как сами и *надменны* и *посредственны*. Иной выставляет на вид свое происхождение, по существу такое же сомнительное, как и его талант. Они удлиняют, насколько только могут, слоги своих имен, превращая журнал в книгу *дворянских родов Франции*, и любят говорить, что *печатают свои вещи совсем не ради денег*, что подтверждает,

между прочим, каждая написанная ими строчка, не оставляющая никаких сомнений в том, что жить этим ремеслом они бы не смогли. Но если не притязаете на звание автора, зачем же в таком случае печататься? *Это вовсе не извинение—уверять, что работаешь исключительно ради собственного удовольствия,*—говорил поэт Руссо*.

Их можно сравнить с осами, которые кружатся у входа в улей, не будучи в состоянии проникнуть внутрь. Как и осы, эти поэты никогда не принесут *меда*, а между тем только и говорят что об его изготовлении! Но еще хуже, когда они напускают на себя покровительственный тон и поднимают знамя одной какой-нибудь партии против другой. Невежественные восхвалители или дерзкие критики—вот их сущность.

Затем следуют господа журналисты, газетные писаки, авторы ничтожных брошюрок, целый ряд подмастерьев-сатириков, которые выжидают, чтобы кто-нибудь написал что-либо, так как иначе их перо оставалось бы в вечной праздности. Они куют всю ту грудку периодической чепухи, которая одолевает нас, и куют ее в арсеналах ненависти, невежества и зависти. Они чувствуют инстинктом, что ремесло *судей* самое легкое из всех, и одновременно заглушают как сознание своего бессилия, так и присущее им чувство зависти.

Во имя *хорошего вкуса* они кусаются, рвут и мечут, бьют и сами бывают биты. Они похожи на школьников, которые украли тяжелую классную линейку, вырывают ее друг у друга и носят ею направо и налево жестокие удары.

Безбородые писатели читают наставления древним, но никогда не читают их самим себе.

Доказав порочность той или другой фразы, разложив какое-нибудь полустипшие и подчеркнув четыре-пять слов, они мнят себя защитниками поэзии и красноречия и переходят от несправедливости к несправедливости, от одной злобной выходки к другой, еще более оскорбительной. Посвятив себя журналистике, этому нелепому смещению педантизма и тирании, они превращаются в отъявленных сатириков и теряют вместе с честностью и здравый смысл.

Вот этот-то подлый сброд и доставляет публике зрелище бесконечных, забавляющих ее склок, которые он пытается приписать честным, мирным писателям. Но публика прекрасно знает, что между этими *брехунами* и настоящими писателями расстояние так же велико, как между судебным приставом и судьей. А все же эта литературная шумиха доставляет пищу ненасытной алчности публики ко всему, что сродни критике, сатире и насмешке. Некоторые авторы злы только потому, что публика любит их междоусобную войну, а в мирное время скушает.

139. Секретари

Это люди, снабжающие разумом как вельмож, так и всех крупных чиновников. Оплачивается этот разум довольно плохо, а между тем без него все высокопоставленные лица не могли бы ни действовать, ни связать двух-трех слов.

Один прокурор сказал как-то своему секретарю: *Сударь, сделайте так, чтобы в этом*

году я говорил дольше, чем в прошлом! Мои прошлогодние речи были найдены слишком краткими. Давайте мне такие, которых хватало бы часа на два. И секретарь, послушный исполнитель, с этих пор составлял ему речи на добрых два часа.

А всего забавнее то, что по истечении некоторого времени этим вдохновенным ораторам начинает казаться, что они действительно являются создателями речей, которые они, в сущности, лишь заучивают наизусть!

Таким образом, литераторы участвуют почти во всем. Их перо обслуживает и судопроизводство, и финансы, и прокуратуру. Они последовательно составляют то защитительную речь, то докладную записку, то книгу, защищающую экономистов, то осуждающую их, то манифест; таким образом, все, что делается достоянием публики, или сочинено ими или, по крайней мере, просмотрено. В правительственной машине, так же как и в часовом механизме, медное колесико приводит в движение золотую стрелку.

140. Писаря

Писаря составляют бесчисленный класс. Они ценятся недорого, их жалованье колеблется между восемьюстами—полутора тысячами ливров в год. На одно освободившееся место вы тотчас же найдете тридцать кандидатов.

Те из них, что получают тысячу двести ливров, носят бархатное платье и кружева и отказывают себе в еде, чтобы иметь возможность

приобрести золоченый галун. Отсюда пословица: *На брюхе шелк, а в брюхе щелк.*

Без пера ничего не сделаешь. Самая маленькая должность требует умения писать и считать. Поступление каждой бутылки вина, каждого каплуна заносится в конторскую книгу, так же как и прибытие стада волов; на все выдаются квитанции. Вся наука писцов заключается в умении составлять росписи. В общем все эти писаря ровно ничего не знают, ничему не обучены и ни о чем не имеют ни малейшего понятия. Изю дня в день они только и делают, что *подытоживают* цифры.

Один парижский гражданин, возвращаясь из поездки в Египет, купил в Басре* мумию. Так как ящик, в который она была упакована, оказался очень длинным, то он не решился взять его с собой в почтовую карету и отправил с дилижансом через Оссер*. В один прекрасный день ящик подвозят к заставе, писаря вскрывают его, обнаруживают совершенно почерневший человеческий труп и решают, что покойник был убит и поджарен в печке! Древние перевязи они принимают за лоскуты обгоревшей рубашки, спешат составить протокол и переправляют тело в морг. А так как во всей конторе ни один человек не имеет никакого понятия об истории, то никто не в состоянии исправить ошибку, вполне достойную писарей.

Приезжает владелец ящика и направляется прямо в контору за своим интересным приобретением. Его выслушивают и смотрят на него с нескрываемым удивлением. Это выводит его из себя, он начинает горячиться; тогда один из

служащих советует ему на ухо, если только он хочет избежать веревки,—немедленно спастись бегством. Ошеломленный владелец ящика вынужден обратиться к начальнику полиции, чтобы добиться выдачи из морга тела египетского принца или принцессы, которое после двухтысячелетнего сна в одной из пирамид едва не попало на католическое кладбище, вместо того чтобы красоваться под стеклом в кабинете ученого путешественника. Ему удалось добиться исполнения своего требования только после трехдневных всевозможных мытарств.

Писаря, получающие тысячу эку жалования, преисполнены важности и сознания собственного достоинства. Нет ничего смешнее вида, с каким они заворачивают свои кружевные рукавички, прежде чем очинить перо и испробовать его несколько раз. Можно подумать, что этому перу предназначается начертать судьбы государства. В действительности же оно составляет выпись из счетов. Если бы Вокансон* вместо автоматического флейтиста изобрел автоматического писаря, было бы куда лучше!

Маятник стенных часов точно определяет минуты их ухода в должность и возвращения домой. Их жены прекрасно об этом осведомлены.

Самые же важные канцелярские служащие, не имеющие, кроме названия, ничего общего со всеми остальными, пребывают в Версале. Они являются своего рода министрами и дают указания и наставления всем, носящим это звание. Можно по справедливости сказать, что

вся монархия разделена на такие конторы и именно ими и управляется. Женщины и интриганы всякого рода осаждают этих конторщиков с настойчивостью, не поддающейся описанию. Это тот рычаг, который приводит в движение всю машину, удивляющую нас своими странными движениями. И весь вопрос в том, кто завладеет этим *рычагом*... Но не будем забегать вперед, говоря о Версале, так как неизвестно еще, скажу ли я вообще о нем что-нибудь или же вовсе умолчу.

141. Учителя

Существуют всевозможные учителя: учителя латинского языка, греческого, древнееврейского, английского, итальянского; учителя теологии, правописания, музыки, хорошего тона, всевозможных игр. Они с утра бегают по городу и радуются, когда застают своих учеников еще спящими, или лентящими, или больными, или, наконец, вовсе не застают их дома. Они весело просовывают в дверь свой жетон; заработок у них в кармане! Учитель танцев молнией пролетает по улице в своем кабриолете, преподаватель же математики или греческого языка путешествует по городу пешком.

Этот класс людей очень многочисленен. Встретившись друг с другом случайно в каком-нибудь доме, они бывают этим крайне удивлены, так как ни один не понимает, как можно пригласить кого-нибудь, кроме него. Отсюда получается, что каждый учитель признает толь-

ко тот предмет, который сам он преподает, а все прочие презирает и считает ненужными.

Довольно забавно видеть одновременно в передней учителя игры в шахматы и в триктрак и учителя истории, вместе ожидающих пробуждения господина маркиза. Когда, наконец, их введут к нему, то пока один говорит ему о Кире* и о Геродоте, другой нетерпеливым жестом расставляет на доске шахматы. Тем временем учитель музыки, урок которого следует за их уроками, стоит на площадке лестницы и настраивает скрипку. Улыбающийся лакей лучше всех учителей знает, что господин маркиз не выучится ничему из того, что ему преподают, за исключением нескольких ходов той или иной игры да, возможно, нескольких па менуэта.

Но богатый дурень, расходующий по пятнадцать луидоров в месяц, искренно верит, что его сын будет обучен и музыке, и геральдике, и танцам, и рисованию, и английскому языку, и математике. Учителям, сбежавшимся на его зов, платят по жетонам в конце каждого месяца; а ученик, оставшийся таким же невеждой, как и в первый день занятий, но успевший схватить налету несколько терминов, будет всю жизнь чваниться своими мнимыми знаниями, и ему и в голову не придет, что над ним могут смеяться. Он прекрасно знает, что ему достаточно будет назвать имена известных учителей, которые являлись в его особняк с торжественным поклоном, получали деньги и неслись потом в другие дома продавать другим

богачам пустые названия наук. Но большего богачам ведь и не требуется.

И никому ни разу не пришло в голову, хотя бы шутки ради, поискать среди всех этих учителей *преподавателя нравственности*. Это объясняется тем, что обычно все считают, что этой наукой они и так владеют в совершенстве, или, вернее, тем, что большинство не имеет о ней никакого понятия. Поэтому всегда предпочтут пригласить какого-нибудь балетного фигуранта, чем моралиста. Балетные па такого статиста им все-таки кое-что говорят, тогда как язык моралиста остается для них совершенно непонятным. Вот почему во Франции со времени утверждения монархии никогда не было ни одного *учителя нравственности*.

142. Книгопродавцы

Книгопродавцы-издатели считают себя важными персонами, потому что их лавки являются складами чужого ума, и они порой осмеливаются судить об уме тех, кого издают.

Нет ничего забавнее робких дебютов молодого поэта, жаждущего выпустить свое произведение в свет и являющегося впервые к одному из типографов на улице Сен-Жак. Типограф сразу принимает напыщенный вид знатока и ценителя литературы. Литературный шедевр встречает у него холодный прием; и издатель нередко оказывается по отношению к начинающему автору более жестоким, чем свора журналистов и неумолимая публика.

Так как в Париже эта отрасль торговли подвергается самым унижительным притеснениям, то книгопродавцы-издатели превратились в торговцев макулатуры. Они особенно благоволят к плодовитым авторам—этим крупным фабрикантам Парнаса, упражняющимся в составлении критических и исторических компиляций, путевых очерков и т. п. Иным академикам хорошо известно, что таким трудом заработаешь больше, чем участием во всевозможных заседаниях.

В Париже в среднем употребляют на книгопечатание ежегодно около ста шестидесяти тысяч стоп бумаги, а между тем философская мысль не может получить для себя ни одного листа, чтобы быть услышанной! Всевозможные притеснения, препятствия, правила угнетают эту отрасль коммерции, требующую для процветания полной свободы. Все жалуются на это и говорят, что разорены: книгопечатники, книгопродавцы, авторы. Первые не желают ничего покупать; когда же кто-нибудь печатает на свой счет,—книгопродавцы не дают книге хода; а в это время самочинные издатели—неистребимая порода—захватывают вещь в свои руки*, и автор теряет и гонорар и право первенства. Вот в каком положении находится книжная торговля!

Один парижский книгопродавец наивно говорил: *Я хотел бы держать у себя на чердаке Вольтера, Жан-Жака Руссо и Дидро,—всех троих без штанов; я хорошо кормил бы их, но заставлял бы работать. Ах, зачем один из них так богат, и почему другие не работают поистине?*

143. Книжки

Если не все книги печатаются в Париже, то пишутся они почти все именно здесь. Всему дает жизнь этот великий источник света и знаний. *Но, — скажут мне, — неужели все еще пишут книги? Ведь их так уж много!* Да, но почти все они нуждаются в переделке; а только расплавляя идеи того или иного века, можно добраться до истины, которая всегда так медлит озарить человечество.

Пусть печатается множество книг, но при условии, чтобы их не читали: книги ведь составляют очень важную отрасль торговли! Сколько рабочих зарабатывает на них пропитание! Стоя на этой точке зрения, нельзя сказать, что книг сочиняется слишком много. Это маленькое неудобство устраняется соответствующей величиной книгохранилищ; к тому же оно может дать в итоге и нечто очень хорошее, так как может явиться человек, которому вся эта груда материала окажется весьма полезной.

144. Буквисты

Так называют и того, кто целыми днями шагает по Парижу в поисках старых и редких книг, и того, кто ими торгует. Первый обходит все набережные, все закоулки, все лавчонки, где только торгуют брошюрками. Он роется в кипах книг, сложенных на полу, выискивает среди них самые старые, самые запыленные тома, один вид которых говорит ему о их древности.

Только таким путем можно найти по дешевой цене старинные и занимательные произведения. Все наиболее ценные библиотеки составлялись главным образом благодаря рвению и настойчивости *букинистов*.

После смерти какого-нибудь неизвестного человека иногда обнаруживается книга, которую разыскивали в течение многих лет; но рано поднимающиеся с постели книгопродавцы с некоторого времени проявляют в этом отношении такую деятельность, что отнимают у настоящих букинистов всю их добычу: после них ничего выискать уже нельзя. Теперь редкую книгу совершенно невозможно найти, и только благодаря какому-нибудь из ряда вон выходящему случаю удастся иной раз обмануть бдительность современных аргусов-книгопродавцев. К тому же теперь книгу знают лучше, а потому даже мелкие книготорговцы достаточно осведомлены в этой области, чтобы определить приблизительно стоимость книги, прежде чем начать выкрикивать, как они делали четверть века назад: *Любая по четыре су!*

В Королевской библиотеке редких книг мало сравнительно с некоторыми частными библиотеками, из которых многие представляют совершенно исключительные в своем роде собрания. В этой области король обслуживается плохо, так же, впрочем, как и во многих других; но тут большой беды еще нет. Исключительный интерес представляет библиотека герцога де-ла-Вальер*. В библиотеке Поми д'Аржансона* тоже имеется не мало редких и ценных собраний.

Лучшей библиотекой должна считаться та, которая состоит исключительно из книг философского содержания; все другие удовлетворяют только роскошь, тщеславие и любопытство. Тем не менее мы считаем долгом воздать хвалу всем, кто собирает литературные произведения, которые погибли бы, если бы не их тщательные поиски. Нельзя знать, какое влияние может оказать в один прекрасный день та или иная книга. Плохие, предупреждая о подводных камнях, поучают так же, как и хорошие.

Иной толстый финансист или судья, выходя из-за стола и переваривая съеденный обед, проносит с видом знатока: *В наши дни шедевров уже не создают!* Ему хотелось бы каждый день находить у себя на конторке книгу вроде *Духа законов** или *Эмиля**; когда же выходит в свет какая-нибудь книга высшего порядка, — он либо оказывается не в состоянии ее понять либо затевает против нее войну.

Досада и зависть толкают человека в прошлое, откуда он извлекает сокровища минувших веков для сравнения их с новейшими брошюрами. Достоинства нового литературного произведения никогда не чувствуются в первые дни его появления, и люди предпочитают предаваться сатирическим разглагольствованиям, чем дать себе отчет в значении идей, заключающихся в новой книге. Начинают обычно с презрения, а это, конечно, не способствует правильной оценке. Привычка хвалить только уже несуществующие таланты чересчур хорошо согласуется с ленью, чтобы от этой привычки легко было отказаться.

В Париже почти не читают литературных произведений объемом больше двух томов. Представьте же себе человека, который написал двенадцать томов по шестисот страниц каждый, чтобы доказать истинность христианской религии! Такая длинная защитная речь скорее может усыпить, чем убедить.

Наши добрые предки читали романы в шестнадцать томов да еще считали, что они недостаточно длинны для заполнения их вечеров. Они с восторгом следили за нравами, добродетелями и сражениями старинных рыцарей. Что касается нас, мы скоро будем читать только то, что пишется на экранах.

Кто-то сказал, что ненавидят не самую науку, а труд, который требуется для ее усвоения. В наши дни нужно быть точным и кратким, если хочешь, чтоб тебя читали.

145. Брошюры

Нужно много книг, ибо много читателей. Нужно, чтобы они отвечали требованиям всех слоев населения, так как все имеют одинаковое право выйти из состояния невежественности. Лучше читать посредственную книгу, чем не читать никакой. Всякое чтение полезно, потому что дает работу уму и наводит на размышления. Если бы на свете существовали одни только произведения Ла-Брюйера*, Монтескье*, Буланже*, Бюффона и Руссо, то широкие слои читающей публики никогда не были бы просвещены, так как эти книги черес-

чур содержательны, а надо начинать с более легкой, более доступной пищи. Уберите все посредственные книги, и скоро публика разучится и читать и отличать хорошие. *Подложные письма* папы Ганганелли* имели совершенно исключительный успех. Заключающиеся в них мысли весьма заурядны, но они здравы, ясны, просто изложены. Широкие массы читателей были в восторге от этой вещи, и это вполне естественно; во всяком случае, преодолена еще одна ступенька, и, судя по этому успеху (на который глупые журналисты обратили недостаточно внимания), теперь будет уже легче дать публике более высокие, более содержательные литературные произведения.

В этом отношении романы, которые спесивые литераторы считают пустыми и легкомысленными и которых они сами писать не умеют¹, гораздо полезнее всевозможных исторических сочинений. Человеческое сердце, тщательно изученное и описанное во всех его видах, разнообразие характеров и событий — все это является неиссякаемым источником удовольствий и размышлений. Посмотрите, что читают в провинции. Вернутся ли когда-нибудь к *вечной трагедии* Расина? Нет. Теперь все стремятся погрузиться в обширные и увлекательные английские романы*, в романы аббата Прево* или замечательного Ретифа де-ла-Бретон* — великого художника, обладающего блестящим крас-

¹ Я знаю человек двадцать небезызвестных литераторов, которые неспособны написать самый посредственный роман. Воображение, изобретающее события и характеры, у них совершенно отсутствует.

норечием; я рад принести ему ту дань восхищения, в которой ему так несправедливо отказывают мои собратья-литераторы, так называемые *люди со вкусом*. Современные читатели ищут в книгах широких горизонтов, подобных тому, какой окружает нас в жизни, и предпочтут рыцарские романы постному посланию Буало* или тем сухим, натянутым и бесплодным литературным произведениям, которые расхваливает один только литературный синедрион*, в то время как вся остальная Франция их презирает. В наши дни требуют фактов, действия, движения и любят наблюдать разнообразие характеров. И почему бы мне не читать с восторгом то, что все эти лентяи и умники, занятые одними только словами, отказываются читать? Неужели же я должен позволять себе удовольствия только по их указке? Буквоеды, какое мне дело до ваших жалких полустипсий! Если я не похож на вас лицом, почему бы и вкусу моему не разниться с вашим? Почему не предоставить книжной лавке право удовлетворять все вкусы? И разве не являются покушением на удовольствия нации—по природе своей жизнерадостной, любознательной, веселой—все ограничения книгопечатания, все нелепые цензоры, все препятствия, задерживающие обнародование сочинений?!

Но, повидимому, твердо решено задушить столичных писателей, на том основании, что, по новейшему ходячему выражению, все эти *фонари* слишком ярко освещают вероломство и преступления высших должностных лиц.

Академический вкус, действуя заодно с этим

бичом, изгоняет все, что отмечено печатью изобретательности, гениальности, красноречия. Хотят сделать нас послушными рабами слов, то есть сухой, бесплодной школы, которая оттачивает каждую фразу и не умеет оценить свободных порывов писателя — хозяина собственной манеры, имеющего полное право выражать свои мысли без каких-либо изворотов и гримас. Нужно, чтобы талант проявился таким, каков он есть; подражая же другим, он теряет свою самобытность, заражается не мудростью, а, наоборот, глупостью того, кому хочет подражать. Посмотрите на всех подражателей Ла-Фонтена, Ла-Брюйера, Фонтенеля, Вольтера и даже Дора*. О Ретиф де-ла-Бретон! Тебя оценят еще очень не скоро; но я горжусь возможностью воздать тебе здесь хвалу, будь я даже вполне одиноким в оценке твоих заслуг!

146. Равновесие

Но неутомимая рука бакалейных и москательных торговцев, продавцов масла и прочего истребляет ежедневно столько же книг и брошюр, сколько их выходит в свет. За ними следуют обойщики, и все эти благотворно разрушительные руки, разрывающие в клочки журналы и их товарищей по профессии, поддерживают необходимое равновесие. Без них груды печатной бумаги увеличились бы до такой степени, что выжили бы в конце концов из домов и жильцов и хозяев.

Между выпуском книг и их уничтожением

существует такое же соотношение, как и между жизнью и смертью. Это должно служить утешением для тех, кого такое множество книг сердит или печалит.

Случалось, что у лавочников находили совершенно исключительные по древности и важности бумаги. Вполне достоверен факт, что брачный контракт Людовика XIII был обнаружен в руках одного аптекаря, который собирался разрезать его, чтобы покрыть им какую-то банку.

147. Куртий

В этом мире никто не знает, кому суждена слава. Судьба извлекает из глубокого мрака имена и делает их знаменитыми. Они переходят из уст в уста, укореняются в народном языке и становятся бессмертными. Таково имя *Рампоно**, пользующееся среди населения несравненно большей известностью, чем имена Вольтера и Бюффона. Он действительно заслужил известность среди народа, а народ никогда не бывает неблагодарным. Он утолял жажду всех жителей предместий, беря по три с половиной су за кружку, — изумительная для кабака умеренность, подобной которой еще никогда не встречалось.

Молва о нем росла с каждым днем, распространяясь все дальше и дальше. Благодаря небывалому наплыву посетителей его кабачок вскоре стал слишком тесен, и, по мере того как увеличивалось его состояние, расширялись и стены его заведения. Я не буду говорить о



Гулянье на городском валу в Париже
С гравюры неизвестного мастера по рисунку Сент-Обена

принцах, которые его посещали: *Улыбка народа*, — сказал Мармонтель*, — *ценнее благосклонности королей*.

Поднимался разговор о том, чтобы пригласить его как-нибудь на сцену одного из театров, дабы его могла лицезреть публика, желавшая видеть его одного; и он уже подписал контракт с антрепренером, но потом нарушил его, ссылаясь на *совесть*, запрещавшую ему появляться на театральных подмостках. Возникло целое дело. Но Рампоно восторжествовал, и адвокаты противной стороны получили выговор от своей корпорации; так его счастливый гений держал в повиновении всех его врагов!

За известностью же не замедлила последовать и слава. Он обогатил язык новым словом, а так как язык создается народом, это слово укоренится: от его имени произвели глагол *гампонер*, означающий — выпить в загородном кабачке, и притом выпить немножко больше, чем следует.

Известность отца Элизе* (впоследствии королевского проповедника) началась, по его собственным словам, приблизительно в то же время, но Элизе далеко не пользовался такой славой, как Рампоно. Имя его уже снова скрылось во мраке, тогда как имя Рампоно живет. И до тех пор, пока народ будет пить вино по шесть су стакан, он всегда с чувством нежнейшей благодарности будет вспоминать о том, что Рампоно продавал то же вино за три с половиной су.

По воскресеньям в Куртийе толпится и шумит народ, посвящающий этот день выпивке и распутству, которое этажом выше именуют

волоки́тством. В тавернах все это происходит почти совершенно открыто, — народ заглушает вином и развратом глубокое сознание своей нищеты. Это — грубая страсть так называемого простонародья, дающая в результате наибольший прирост населения; и философ, побывавший в Куртийе в качестве наблюдателя, не сможет не сказать: именно здесь природа наверстывает то, что теряет в высших классах, и именно низшие слои народа вознаграждают ее за потери, которые она несет в среде вельмож и чересчур обеспеченных буржуа.

А пока слава Рампоно все росла, слава министра финансов*, занявшего эту должность с уже сложившейся прекрасной репутацией, внезапно померкла. Он сделал несколько промахов, хотя и был одарен умом и знаниями. С тех пор все приняло *силуэтный* характер, и самое имя его не замедлило сделаться предметом насмешек. Всем модам был умышленно придан отпечаток сухости и бедности. Сюртуки стали делать без складок, брюки без карманов, табакерки вытаскивали из грубого дерева, портреты представляли одни только профили, вырезанные из черной бумаги и срисованные с тех, что получают от тени головы на листе белой бумаги. Это являлось народным мщением. Незадолго перед тем померкла слава другого человека — маршала Беллиа*, известного бумагомарателя, который, благодаря своей решительности и громадной самонадеянности, сумел всех уверить, что он государственный человек.

История царствования Людовика XIV и Людовика XV — это история министров финансов.

Фуке*, Кольбер*, Демаре*, Ло*, Орри*, Силуэт*, Бертен*, Л'Аверди*, аббат Терре*—не говоря о прочих—могли бы сообщить целый ряд точных и любопытных наблюдений... Но мы чересчур удалились от Куртийя. Вернемся же к нашей первоначальной теме, вопреки пока-тости, которая то и дело уводит нас в сторону.

148. О разного рода наблюдателях

Один наблюдатель следит каждое утро с точностью, которая может показаться даже излишней, за изменениями, происходящими в течение года в атмосфере; другой высчитывает количество воды, выпадающей на землю; третий ведет подробный реестр заболеваний и числа смертей и рождений и сравнивает смертность данного года со смертностью предыдущих лет.

Наблюдений над явлениями в области физики и медицины становится все больше и больше, а тем временем философ в свою очередь следит за действиями правительств, за их успехами, за моральными и политическими причинами, влияющими на счастье или бедствия народов, и наблюдает за всеми ошибками, происходящими как по вине людей, так и по вине законов.

Таким образом, в то время как ученые смотрят друг на друга не без доли презрения, в то время как механик не понимает, почему тот или иной поэт достиг громкой известности, а последний в свою очередь еле удостоивает его взглядом,—беспристрастный наблюдатель видит, что все искусства и науки идут бок о бок

и совершенствуются, двигаясь по путям, которые на первый взгляд могут показаться противоположными, но которым в действительности суждено соединиться в одной точке.

Такой наблюдатель видит, как люди освещают светочем все более и более деятельного и совершенного разума один за другим различные предметы и, никому не выказывая несправедливого предпочтения, с одинаковым вниманием следит за всеми, кто направляет усилия к достижению одной общей цели, и стремится преодолеть ошибки, которые и являются единственным источником зла.

Нужно поэтому, чтобы в столице сосредоточивалось возможно больше лиц, работающих над созданием науки. Действуя маленькой группой, ученые достигнут значительно меньшего успеха, так как то, что ускользает от одного, может вознаградить поздние бодрствования другого. Все, что приносит с собой случай—этот властитель человеческих знаний, проходит незаметно для рассеянных и невнимательных глаз; но в наши дни глаза людей открыты и непрерывно подстерегают природу.

Древним была известна способность магнита притягивать железо, и в то же время они не имели понятия о способности магнитной стрелки указывать полюсы,—знание, которому мы обязаны всеми чудесами мореплавания. Древние знали искусство гравировать буквы, у них были даже подвижные литеры, раз на хлебах, извлеченных из развалин Геркуланума и хранящихся под стеклом неаполитанским королем, можно разглядеть букву, обозначающую имя

булочника или потребителя. Таким образом, древние находились у грани самых редкостных открытий, но и не подозревали этого.

Так же точно мы очень удивимся в один прекрасный день, увидав, что нечто, до крайности простое и совершенно ускользавшее от глаз наших наблюдателей и академий, обогатило сокровищницу знаний, и нам трудно будет понять, почему не нами были сделаны последние шаги в этом направлении. Не надо забывать, что во времена Платона один философ писал: *Я не могу удержаться, чтобы не посмеяться над тем, кто изображает землю в форме шара, желая уверить нас в том, что наша земля кругла, точно выточена на токарном станке, и что океан омывает ее своими водами.* Он повторял фразы, вычитанные им из физики Геродота, и потешался над всеми, кто провидел истинную форму земли!

Повседневная наблюдательность может заменить порой глубину гения и удивить его самого. С этой точки зрения часовой не должен заслуживать нашего презрения. Приблизиться к тому или другому предмету еще не означает понять его, и мы имеем перед своими глазами тайны, которые откроются, быть может, таким людям, к которым мы относимся с наименьшим уважением.

Для того, чтобы таланты были плодотворны, они не должны пребывать в уединении. Когда талантливый человек удален от других людей, — его дух лишается очага, где сосредотачиваются все знания, направленные к одной общей цели. Проницательный ум пылает ярким

пламенем только тогда, когда взгляды окружающих поощряют его смелость, его усилия, его торжество.

149. Разновидности ума

Но сила ума далеко не у всех одинакова; это неоспоримо, наперекор Гельвецию*, система которого в данном вопросе кажется нам ошибочной. Только утонченность восприятий может положить начало всевозможным знаниям. Любитель живописи видит природу совсем иными глазами, чем человек, который ничего не понимает в картине. Музыкально развитый человек напряженно вслушивается в отдаленный звон колоколов и улавливает в нем такие оттенки, которые от нас ускользают. Некоторые люди обладают совершенно исключительной чуткостью, порождающей в них множество идей, и это затрудняет им общение с другими людьми, потому что они чувствуют так тонко, замечают такие подробности, которые другим недоступны. Наконец, два человека могут быть одинаково умными, но ввиду различия занятий, благодаря различному восприятию жизни могут совершенно друг друга не понимать.

Это-то мы и наблюдаем в Париже. Музыкант, геометр, поэт, художник, моралист, скульптор, химик, политик, будучи одинаково талантливыми, редко бывают в близком общении и обычно составляют друг о друге ложные мнения, потому что не могут по достоинству оценить друг друга.

Сравните арабского коня—легкого, горя-

чего, со стройными нервными ногами, со сверкающими глазами, гордого, полного огня, стремительности и изящества—с каким-нибудь першероном—грубым, тяжеловесным, с толстыми ногами, с мягким, дряблым телом. Разве кто-нибудь скажет, что это животные одного вида? Сравните двух людей,—да что я говорю: двух писателей,—получится такая же разница.

Ньютон* видит падающее с дерева яблоко, это наводит его на размышления, и у него зарождается мысль о законе всемирного тяготения. А тем временем другой человек, ни мало не беспокоясь о силе, которая держит планеты в их орбитах, поднимает упавшее на землю яблоко и съедает его. Так же точно в Париже: человек, обладающий известным талантом, развивает и укрепляет его, в то время как глупец только таращит глаза, ничего не видя, съедает яблоко, не задумываясь о древе познания, и становится еще глупее.

150. Кому платят?

В наш век, именуемый просвещенным, искусство и наука вознаграждаются обыкновенно в порядке, обратном пропорциональном приносимой ими пользе. Так, некий оперный танцор получает больше, чем все учителя какого-нибудь коллежа вместе взятые. Жалованье блестящего кучера или превосходного повара вдвое больше жалованья воспитателя, будь то сам Жан-Жак Руссо. Мало трагедий принесло такой доход, как *Вербовщики**. Художникам, пишу-

щим картины фривольного содержания, платят лучше других, а скульпторы вынуждены увековечивать пошлые лица ничтожных или подлых людей, дающих заказы с полным кошельком в руках. Тот, кто покрывает лаком экипажи, приобретает себе потом свой собственный. Собачий врач составляет состояние, которое могло бы обрадовать доктора медицины. Заработка актера хватило бы на содержание шести пехотных рот.

Николе* наиграл пятьдесят тысяч франков годового дохода, а несчастный Таконне*, которому он обязан половиной своего состояния, умер в богадельне. Николе приобрел себе земельный участок и заставил священника, сперва было отказавшего ему в благословении, окропить его землю святой водой. Авторы *Энциклопедии* получили за свои долгие труды одни только оскорбления и проклятия.

Когда какое-нибудь сочинение оказывается удачным, — на нем наживается книгопродавец. По рукописи бывает трудно судить о будущем успехе книги, и обычно книгопродавец, покупая у автора рукопись, платит за нее из того расчета, что книга успеха иметь не будет. После щедрого Фуке* не было ни одного высокопоставленного лица, которое осыпало бы своими дарами знаменитых, но бедных людей. Расточая большие деньги на бесполезное и излишнее, они забывают о заслугах малообеспеченных людей. Они награждают только своих единомышленников и своих ставленников и не обращают внимания на таланты, выдающиеся в той или иной области.

Одним из таких выдающихся деятелей является *Деллебар*, настолько усовершенствовавший *микроскоп*, что его можно считать наивысшим достижением техники и проницательности человеческого ума. Он действительно открыл *нашим изумленным взорам новый мир*. Трудно поверить, чтоб это изобретение можно было в будущем еще усовершенствовать! И что же? Человек такого исключительного таланта живет в бедности, граничащей с нищетой. В то самое время как Доллонд* в Лондоне уже собрал жатву со своих трудов, Деллебар, неизмеримо превосходящий его талантом, получает лишь бесплодные восхваления. После его смерти микроскопы, которые он продает по пятнадцати луидоров (цена весьма умеренная, принимая во внимание сложность структуры), будут продаваться, может быть, по тысяче экю, а он так и не воспользуется своим законным вознаграждением! Его память будут чтить, при жизни же он не получит заслуженной награды!

Я хотел бы, чтобы моя родина устыдилась своей неблагодарности и оценила бы, наконец, по достоинству инструмент, на создание которого ушло двадцать лет упорного труда, а взаимодействие частей которого представляет собой шедевр внимательного и терпеливого ума.

Тот же Деллебар препарировал самых крошечных, едва видимых насекомых с такой исключительной тщательностью, что можно только изумляться и восхищаться. Я хотел бы, чтобы эта заметка сослужила пользу человеку, которого я никогда не видел, но произведения которого хорошо знаю. Он умножил чудеса оптики

и дал нам самое высокое представление о безграничной глубине природы и о величии ее творца, ибо показал нам вещи, до сих пор скрытые от наших взоров.

151. Дела

Это общий термин для обозначения торговли всевозможными подержанными вещами. Кольца, разные драгоценные украшения, часы и т. п. находятся в обращении вместо денег. Всякий, кому нужны деньги, начинает с того, что составляет целую лавку таких вещей. Правда, при продаже он теряет половину их стоимости, а иногда и больше, но это называется *делами*.

Этим особенно увлекается молодежь. Платья, юбки, капоты, полотна, кружева, шляпы, шелковые чулки — все составляет предмет обмена. Все знают заранее, что будут обмануты, но нужда берет верх, и в продажу поступает всевозможный товар. Множество людей занимается этой разлагающей торговлей, и представители высшего общества не отстают от остальных.

152. Дельцы

Челобитчики в судебных процессах; скупающие чужие права в тяжбах; занимающиеся финансовыми операциями; сборщики городских налогов, называемые *загребалами*¹, все лица, бе-

¹ Они теперь уже не получают по су с каждого ливра*, что составило бы весьма значительную сумму; они

рущие на откуп некоторые частные доходы королей и принцев,—все они известны под общим именем *дельцов*, которое они обычно прикрывают званием *адвокатов при парламенте*, приобретаемым в Реймсе за пятьсот ливров.

Это звание служит доказательством того, что данное лицо умеет читать и писать; причем особенно усердно оно учится *читать*. В наши дни над этой наукой смеются, а напрасно: лет четырехста тому назад она далеко не была столь распространена, и как только человек научался читать в книжке, он становился кумом королю. На всем земном шаре и теперь еще не больше одной трехсотой всего народонаселения умеет читать, а может быть, и того меньше.

153. Почасная оплата труда

Прокуроры, нотариусы, судебные оценщики, комиссары, регистраторы и т. п. прекрасно знают силу этих слов; они ласкают их слух. Практика продажи должностей повлекла за собой такое множество нелепых, диких злоупотреблений, что руки опускаются бороться с ними, от удивления немеет язык.

Низшие чиновники живут только благодаря почасной оплате труда. Работа их продолжается обычно два часа, и эти два часа используются ими очень плохо; в тот же день чиновник на-

получают самое большее шесть денье*. Их главный доход составляют авансы. Не владея собственной рентой, эти сборщики недурно наживаются на рентах других.

значается работать еще два часа и работает так же плохо, так как новые два часа даются ему на эту работу безо всякого основания, а работа оплачивается по баснословно высокой расценке. Каким образом народу удастся ссужать государство всеми деньгами, которые у него выкачивают ежедневно? Если об этом немного поразмыслить, нельзя не придти в глубочайшее изумление.

154. Сословие, не поддающееся определению

В Париже существует множество людей неопределенного сословия, не имеющего ничего общего ни с буржуазией, ни с военным миром, ни с финансовым, ни с артистическим. Люди, принадлежащие к этому сословию, встречаются как среди буржуа и финансистов, так и среди судей и вельмож, и определить, что именно они собой представляют, — невозможно.

И еще труднее сказать, что представляют собою их жены, так как они равняются обычно по тому кругу общества, к которому принадлежат их любовники, а не мужья. Последние вращаются в буржуазном кругу, тогда как их жены, более тщеславные и надменные, хотят иметь дело только с тем классом, к которому принадлежит человек, являющийся главной поддержкой их дома. Их считают весьма порядочными женщинами, так как рука, обогащающая их, скрыта.

Слова Гальбы*, сказанные им рабу, которого он застал в то время, как тот его обворовывал:

Друг мой, я сплю не для всех, так же подходят к Парижу, как и известная фраза Мольера: *Вы золотых дел мастер, господин Жосс**. Этот Гальба притворялся спящим каждый раз, когда великий Меценат* ласкал его жену. Но когда один из его рабов вздумал воспользоваться этим, чтобы утащить бутылку его любимого вина,—он открыл глаза, которые закрывал только из желания угодить.

155. Беспечный

В то время как люди устают, трудясь с утра до вечера, беспечный человек пребывает в совершеннейшей праздности. Никаких дел, никакой службы, никаких занятий, даже никакого чтения. Время от него ускользает; он сам не знает, на что он его тратит. Что дало ему утро? Ровно ничего. Он встал поздно, оделся медленно, пошел немного пройтись; теперь он ждет обеда; потом пообедает. Послеобеденное время пройдет так же, как утро, и вся его жизнь будет похожа на этот день.

Заслуживает ли он имени человека, ведя столь недостойный образ жизни? Но что я говорю?! Он порядком занят: у него красивая жена, двадцать человек слуг; ему позволительно иметь пустое сердце и пустую голову!

156. Изящные

У нас уже больше нет любителей галантных приключений, другими словами—людей, кото-

рые вменяли себе в заслугу тревожить отцов и мужей, вносить разлад в семью, быть со скандалом изгнанными из того или иного дома и вечно замешанными в какие-нибудь любовные истории. Смешная мода на таких людей прошла, — у нас даже больше нет *щеголей*, но зато появился тип *изящных мужчин*.

Изящный не душится амброй; его фигура не принимает в продолжение одной секунды нескольких различных поз; его ум не испаряется в комплиментах, расточаемых до изнеможения; его фатовство носит спокойный, рассчитанный, изученный характер. Он предпочитает заменять ответ улыбкой. Он беспрестанно смотрится в зеркало, и его взоры постоянно обращены на самого себя, точно для того, чтобы обратить всеобщее внимание на пропорциональность его фигуры и на безукоризненно сшитое платье.

Его визиты продолжаются не более четверти часа. Он уже не говорит, что он *друг герцогов, любовник герцогинь и непремный участник всех ужасов*. Он говорит об уединении, в котором он якобы пребывает, о своих занятиях химией, о скуке, которую он испытывает в высшем свете. Чаще же всего он предоставляет говорить другим. Чуть заметная усмешка мелькает на его губах; слушая вас, он хранит мечтательный вид. Он не уходит внезапно и быстро, но тихо ускользает; уйдя же, он шлет через какие-нибудь четверть часа записку, изображая из себя рассеянного человека.

Женщины, со своей стороны, не злоупотребляют больше прилагательными в превосход-

ной степени, не употребляют то и дело таких слов, как: *восхитительно! удивительно! непостижимо!*; они говорят с подчеркнутой простотой; ни по какому поводу они не выражают ни восхищения, ни восторгов. Самые трагические события вызывают у них лишь легкое восклицание. Повседневные новости, передаваемые с большой непосредственностью, и различные химические опыты служат обычной темой их разговоров.

Прическа мужчин стала опять очень простой. Из волос больше не делают никаких сооружений; высокие прически, так справедливо осмеянные, совершенно исчезли.

Женщины, даже из буржуазных семейств, больше не говорят про себя, что они страшны, как смертный грех, и что ничего не может быть ужаснее их туалета. Все это уже не в моде, и мы милостиво предупреждаем об этом провинциальных дам, которые еще продолжают придерживаться старины.

Дама, соглашающаяся играть только надутыми картами и требующая, чтобы ее горничные употребляли для волос бергамотовое масло, в наше время представляла бы собой в высшей степени странное зрелище.

В наши дни самым трудным для литератора является не разговор о науке с каким-нибудь ученым, или о войне с военным, или о лошадях и собаках с помещиком, а *легкая беседа с несколькими дамами*, которые, по примеру *изящных мужчин*, предпочитают разговору молчание.

157. Определенно поверхностный человек

Он гордится этим именем и подчеркивает его. Это человек *очень хорошего тона*, что доказываетея тем, что он считает весьма важным все пустяки, о которых мы говорили выше.

Среди предметов, способных занимать его ум, на первом месте стоят Комическая и Большая оперы. Как в Лондоне говорят только об общественном строе, об интересах Европы и международных отношениях, так и он говорит только об актерах, комедиантах и о тех или иных модных стишках. Ибо именно это и бывает ему нужно в тех домах, где он должен говорить, с тем чтобы ничего не сказать.

Такой образ жизни ведет в Париже *определенно* поверхностный человек, умышленно старающийся казаться смешным. Он знает все, что делается и в домах и в театральных ложах; знает любовные приключения всех актрис; знает все, что говорится потихоньку за ужинами. В один и тот же вечер его видят на трех спектаклях; когда он появляется где-нибудь на прогулке, все с ним раскланиваются; с одним он говорит, другому улыбается, к третьему подходит; во всеуслышание сообщает о том, как намерен провести сегодняшний день, и говорит о своей праздности с такой важностью, с какой другой рассказывает о какой-нибудь полезной работе. Одевается он нарочито модно; холодно восторгается, увлекается без видимого основания, преувеличивает национальное легкомыслие, но под всеми этими внешними искусственными приемами порою скрываются ловкие

маневры жгучего честолюбия. Он вводит в заблуждение своих соперников, вдруг выгодно женится и вскоре занимает какую-нибудь видную должность.

158. Независимые.—Презрительные

Независимые—это молодые люди, делающие вид, что осуждают все общепринятые правила. Они одеваются кое-как, ездят в деревню зимой, в Париже целыми днями шагают взад и вперед по городскому валу, не посещают ни оперы, ни других театров, но зато постоянно толпятся в балаганах, куда приводят с собой женщин хорошего общества. Они поступают всегда не так, как другие, надо всем смеются и кончают тем, что, устав от взятой на себя роли, снова возвращаются в лоно общества.

Существуют еще и другие, презирающие весь род людской, но их в Париже немного, потому что здесь слишком любят непринужденную и приятную жизнь, чтобы выслушивать их по долгу.

Молодые люди этого действительно любопытного типа решили, что они неизмеримо выше всего существующего, что они одни обладают исключительным, редкостным проникновением, помогающим им видеть все, что ускользает от взора других людей. Они считают, что, разговаривая с вами, они оказывают вам милость; слушают только половину того, что им рассказывают, и презирают все, что выходит из-под печатного станка. Их чувствительность до такой

степени тонка, вкус так изыскан, ум так проникателен, что их не удовлетворяет ни один человек, ни одна книга. Они считают *отвратительным* то, что другие находят чудесным, а для того, чтобы не компрометировать своих притязаний на гениальность, они часто хранят то *осторожное молчание покойного Конрара*, о котором говорит Буало*.

Иногда их надменность, их повадки и речи вводят в заблуждение; к тому же, из боязни быть разгаданными, они ни с кем не сближаются. Вся эта молодежь, желающая играть роль исключительных, высших существ, в большинстве случаев обладает только небольшим умом и хитростью.

159. Любители новостей

Группа любителей новостей, обсуждающая в тени люксембургских аллей политические дела Европы, представляет весьма любопытное зрелище. Они устраивают и перестраивают царства, налаживают финансы державных государств, перебрасывают армии с севера на юг.

Каждый старается убедить всех в истине новости, которую он жаждет сообщить, но вновь пришедший резко опровергает все, что сообщалось до его появления, и таким образом торжествовавший утром к вечеру оказывается побежденным. А на следующее утро, едва эти вестовщики восстанут от сна, как вчерашний рассказчик опять восстанавливает своего героя в правах победителя. Все кровавые эпизоды войны становятся предметом развлечения для

этих праздных, глупых старцев и служат излюбленной темой их бесед.

Но что должно особенно удивлять каждого здравомыслящего человека—это полнейшее невежество, проявляемое всеми этими любителями новостей во всем, что касается характера, мощи и политического положения английского народа.

Нужно признаться, что отнюдь не лучше рассуждают и в раззолоченных парижских салонах. Французы вообще за глаза относятся к англичанам свысока и говорят о них в презрительном тоне, который заставляет скорбеть о слепоте хулителей. Это является прекрасным доказательством того, что нет народа, который так подчинялся бы национальным предрассудкам, как парижане. Они принимают на веру решительно все, что печатается в *Газет де-Франс*, и хотя она самым бесстыдным образом лжет Европе, умалчивая о многом, тем не менее парижский буржуа верит только ей и всегда будет доказывать, что покорить Англию зависит всецело от желания Франции. Он будет всегда утверждать, что если французы не высаживают десанта в Англии, то только потому, что они этого не хотят, и что в нашей власти запретить этой нации какую бы то ни было навигацию, даже по Темзе. Нужно послушать все дерзости, какие изрекают уста даже наименее к этому склонных людей. По различным другим вопросам они рассуждают в достаточной степени здраво, но как только речь пойдет об Англии, они производят впечатление людей, не обладающих ни разумом, ни знаниями, ни

начитанностью. Они не имеют ни малейшего представления о государственном устройстве этой республики и говорят о ней так, как говорит какой-нибудь журналист, ни слова не знающий по-английски, о Шекспире. Все эти ни на чем не основанные утверждения заслуживают от сведущих людей только насмешки; а между тем передовые люди нации—литераторы—в этом отношении недалеко ушли от толпы.

Некий буржуа, проживающий на улице Кордельеров, часто слушал одного аббата, ярого ненавистника англичан. Аббат приводил его в восхищение горячими речами, которые всегда заканчивались так: *Нужно набрать тридцать тысяч человек; нужно посадить на суда тридцать тысяч человек; нужно высадить десять в тридцать тысяч человек; чтобы взять Лондон, придется, может быть, потерять всего только тридцать тысяч человек. Сущие пустяки!*

Буржуа заболевает, вспоминает о своем миллом аббате, которого больше не ходит слушать в аллею Кармелитов и который с такой уверенностью говорил о предстоящем уничтожении Англии с помощью *тридцати тысяч человек*, и, чтобы выразить ему свою нежную признательность (этот добрый буржуа ненавидел англичан, сам не зная за что), завещает ему наследство. В своей духовной он написал: *Оставляю господину аббату Тридцать-тысяч-человек ренту в тысячу двести ливров.*

Я не знаю его настоящего имени, но знаю, что он прекрасный гражданин. Он поручился мне в Люксембургском саду, что англичане—свире-

ный народ, низвергающий с престола своих монархов,—будут в скором времени совершенно уничтожены.

И на основании показаний нескольких свидетелей, удостоверивших, что таково именно прозвище аббата и что он бывает в Люксембургском саду с незапамятных времен и проявляет себя всегда искренним противником этих надменных республиканцев, наследство было ему выдано.

Если б возможно было напечатать все, что говорится в Париже в течение одного дня по поводу текущих событий, получилась бы, признаться, коллекция весьма странных суждений. Какая груда противоречий! Смешно даже себе представить!

160. Жизнь буржуа

Между тем какой-нибудь придурковатый буржуа, вроде описанного выше, обладающий, пятьюдесятью тысячами ливров годового дохода может считать себя центром более трехсот тысяч человек, работающих на него денно и ночью.

Благодаря многочисленным удобствам, тесно связанным одно с другим, условия жизни такого человека становятся подобными условиям жизни короля. Такой человек действительно пользуется всеми благами и всеми наслаждениями, какими пользуются монархи.

Итак, чтобы роскошь была менее губительна и чтобы она, подобно копью Ахиллеса*, вылечивала одной своей стороной раны, которые на-

носит другая сторона, нужно поддерживать ее на определенном уровне и не допускать никаких перебоев. Едва только одна отрасль промышленности хиреет или замирает, как появляются безработные и нуждающиеся. Можно с уверенностью сказать, что если бы богачи на один только год прекратили свои безумные траты, — половина жителей столицы не смогла бы существовать.

Богач предпочитает Париж всякому другому месту, потому что сюда стекается все, что только вырабатывается в королевстве. Столица, не производящая никаких съестных припасов, пользуется ими в большей степени, чем производящие местности.

Но безжалостные богачи с их утонченными чувственными утехами приносят целые поколения в жертву безумной и жестокой роскоши.

161. Лорнирующие

Париж полон безжалостных людей, которые внезапно останавливаются перед вами и уставляются на вас упорным и самоуверенным взглядом. Эта привычка уже не считается непристойной, до такой степени она стала обычной. Женщин, когда на них так смотрят в театре или на прогулке, это не оскорбляет; однако, если бы это случилось в обществе, лорнирующего сочли бы за невоспитанного и дерзкого человека.

Не нужно смешивать этих *лорнирующих*

с *физиономистами**, которые упражняют свою проницательность всякий раз, когда находятся среди многочисленной публики, а поэтому приобретают в конце концов известную сметливость. Они наблюдают за человеческим телом в целом еще внимательнее, чем за лицами.

Художник, поэт—прирожденные физиономисты. Вот почему они любят бывать в толпе. Вглядитесь в портреты, выставляемые в Салоне. Они всегда изобличают характер человека. Нельзя отрицать, что лицо является зеркалом души,—оно редко обманывает. Честность и правдивость придают лицу открытое выражение; а лоб глупца можно узнать среди тысячи других. Подлое, злое выражение лица почти всегда соответствует скверному характеру. Лица стариков с окаменевшими душами вовсе не имеют выражения; в них потухло всякое чувство, а вместе с тем угас и его отблеск. Латур*, знаменитый художник, портреты которого поражают своей изумительной жизненностью, говорил: *Они думают, что я схватываю только черты их лица, в действительности же я спускаюсь без их ведома в самую глубь их существа и вывожу наружу их сущность.*

Одна умная женщина, узнав, что некий господин хочет заказать художнику свой портрет, заметила: *Этот плут, должно быть, очень храбрый человек, если не боится смотреть в лицо человеку, который держит в руках кисть!* Если бы я мог назвать имя этого господина,—все убедились бы в справедливости сделанного ею замечания; но я ненавижу сатиру и ограничиваюсь только общими картинами.

162. Пале-Рояль

Почему Лафатер*, цюрихский профессор, столько написавший о науке узнавать людей по их лицам, не бывает по пятницам в Пале-Рояле, чтобы читать на лицах присутствующих все, что скрыто в безднах их сердец?

Мне кажется, он увидел бы, что жителя Парижа нельзя назвать ни жестоким, ни суровым, ни склонным к возмущению; но не подметил ли бы он в нем смесь лукавства, тонкости, надменности, самонадеянности и *гордости*? Парижанин не рожден для исключительных чувств и, как ни жаждет дойти до предела распущенности, никогда этого не достигнет.

Там собираются и дешевенькие кокетки, и куртизанки, и герцогини, и честные женщины, и все их прекрасно различают. Но сам он, великий ученый, может быть, обманулся бы, несмотря на свою ученость, потому что эти различия основаны на оттенках, которые легко уловить, но лишь при условии изучения их на месте. Поэтому я убежден, что г-н Лафатер очень затруднился бы отличить порядочную женщину от содержанки, в то время как любой прокурорский писарь без долгих размышлений разберется в этом несравненно лучше.

Продолжаю. В Пале-Рояле принято разглядывать друг друга с таким упорством, какое немислимо нигде в мире, кроме Парижа, а в самом Париже нигде кроме Пале-Рояля. Тут громко разговаривают, толкаются, зовут друг друга, называют во всеуслышание имена проходящих женщин, их мужей, их любовников, характери-

зую каждого каким-нибудь метким словом; смеются друг над другом почти без всякого стеснения, и это делается отнюдь не из желания оскорбить или унижить. Всех подхватывает и крутит здесь какой-то вихрь; все без малейшего стеснения разглядывают друг друга, причем последний взгляд остается всегда за женщинами, Художник имел бы здесь полную возможность и время схватить и зарисовать любую или любого из присутствующих.

Я не считаю себя физиономистом; я несколько раз прошелся по аллее, движимый одним только желанием поглядеть на гуляющих красавиц; моя наблюдательность меня на время покинула, но вот что мне пришло в голову по поводу возможности определять характер людей по их лицам. Добрые свойства сердца всегда придают лицу трогательное выражение. Никогда ни у одного безусловно прекрасного человека я не видал неприятной физиономии; человеколюбие неизменно кладет на черты лица отпечаток ясности и доброты. Подобно тому как невинность и скромность сияют на челе молодой девушки независимо от красоты, — чувствительность, благородство, великодушие и щедрость могут придать человеческому лицу выражение достоинства, которое его облагораживает и выделяет среди других лиц. Наоборот, низкие и скверные наклонности делают лицо человека отталкивающим и пошлым. Красота является не столько даром природы, сколько сокровенной частью человеческой души. Чувствительного человека можно узнать по его манерам, взглядам, голосу. Обезобразьте его лицо рубцами, отнимите у него руку:

ни глаза его, ни звук его голоса не потеряют от этого присущего им выражения.

Почти невозможно замаскировать зависть, хитрость, жестокость, скупость, злобу; как у благородных, так и у низких страстей имеются различные оттенки, которые не ускользнут от внимательного взгляда.

Когда у человека открытая, спокойная, ясная душа, лицо его всегда прекрасно; вот выводы, к которым привели меня мои наблюдения, хотя я и не читал г-на Лафатера. Если чистая, ничем не омрачаемая радость разглаживает черты лица и делает их более привлекательными, то почему красота не может быть следствием благородства и чистоты чувств?

Одна женщина, глядясь в зеркало, проговорила: *Напрасно я изучаю свое лицо: я никогда не смогу изобразить на нем скромность!* Вот крик совести! Посмотрите теперь на мошенника, который при разговоре с вами опускает глаза, боясь встретиться с вашим взглядом; посмотрите на льстеца, заглядывающего вам в глаза, чтобы проверить, удалось ли ему вас обмануть. Я прерываю эти размышления, чуждые моей теме; я говорю только, что именно в Париже и именно в Пале-Рояле г-н Лафатер должен был бы производить свои многочисленные опыты; он наверное разглядел бы то, что я увидел лишь мельком.

163. Издевательство

Это не что иное, как упорная насмешка, скрытая под обманчивым покровом благоволения.

Ею пользуются для того, чтобы провести свою жертву через все препятствия и засады, которые устраивают на ее пути на потеху всему обществу, причем эти насмешки скрываются под внешней вежливостью и поэтому ускользают от жертвы.

Все это далеко не хорошие шутки.

Ла-Брюйер сказал: *Остроумное подтрунивание—это своего рода творчество**. Но где же ум в этом злоупотреблении доверчивостью и простотой человека, который подставляет себя под удары, не отдавая себе в этом отчета, и тем скорее попадает в расставленную ему западню, чем меньше о ней подозревает?

Человек, любящий издеваться, — человек холодный и в конечном счете утомительный. Насмешки этого рода безусловно предосудительны, так как в таких случаях отсутствует равенство. Во всяком обществе имеется свой насмешник и своя манера высмеивания, но что встречается всего реже, так это легкое, тонкое, веселое и остроумное подтрунивание.

164. Мистифицирование.—Мистификация

Это все новые для нас слова, которые можно объяснить только на примерах. Их появлению мы обязаны *маленькому Пуэнсине**, который, издав в Париже целый ряд комических опер, утонул в Гвадалквивире. Стихотворец, большой остряк, человек исключительной доверчивости, он соединял с бесспорным талантом изумительное незнание самых простых вещей. Будучи

в высшей степени своеобразной личностью благодаря таившимся в нем контрастам, он был одарен необыкновенно тонким остроумием, а простота его нрава была безгранична.

Однажды несколько насмешников, людей весьма безжалостных, употребили во зло его исключительную доверчивость, к которой примешивалась изрядная доля тщеславия. Все женщины были от него без ума, ибо он пользовался благосклонностью нескольких известных актрис. Этим воспользовались, чтобы назначить ему насмех несколько свиданий, во время которых его убеждали в том, что он стал невидимкой или превратился в миску. И чем хуже с ним обращались, тем больше он верил в свою *невидимость*, так как думал, что иначе никто не осмелился бы так оскорблять его особу. Рассказывают, что ему предложили купить себе должность *королевского экрана**, и в течение двух недель он приучал свои ноги выдерживать близкое соседство пылающих углей! Говорили также, что ему предложили место губернатора при *сыне прусского короля* и заставили расписаться в том, что он *не признает никакой религии*.

В один прекрасный день ему объявили, что его собираются назначить членом петербургской Академии наук, чтобы дать ему возможность пользоваться милостями русской императрицы, но что прежде ему нужно изучить русский язык, так как его могут вызвать ко двору. И он с жаром принялся за ученье, а полгода спустя выяснилось, что он изучил не русский, а нижнебретонский язык.

Его уверили, что он убил на дуэли человека, тогда как он едва успел вынуть из ножен свою шпагу, и что он за это приговорен к виселице. Ему прочли отпечатанный приговор, заставив подставного глашатая провозгласить этот приговор под окном несчастного Пуэнсине, который, заливаясь слезами, остриг себе волосы, переделся аббатом и решил скрыться. Но в это время король якобы даровал ему помилование как великому поэту, который очень дорог французскому народу...

Шутники довели свою жестокость до того, что прислали к нему дантиста, который насильно вырвал ему зуб, уверив его, что он сам накануне пригласил его и просил во что бы то ни стало преодолеть его сопротивление.

Он поверил, что карпы и щуки говорили за обеденным столом на ухо одному из гостей, которого выдавали за знаменитого путешественника, и не вполне разуверился в этом даже тогда, когда открылись прежние обманы. Он говорил: *Моим доверием злоупотребляли много раз, но я сам видел, как щука прыгнула с блюда и шептала что-то на ухо путешественнику.* Из всех присутствующих именно он сыграл свою роль с наибольшим хладнокровием.

В Париже за ужинами очень часто рассказывают о подобного рода мистификациях; несмотря на избитость, они всегда вызывают общий смех. Их можно было бы счесть за нечто совершенно невероятное, а между тем это истинная правда. Непонятно, как мог Пуэнсине вместиать подобные несообразности и противоречия, сочинить милую комедию *Кружок*, несколько

талантливых куплетов и в то же время быть постоянно одурачиваемым людьми несравненно менее умными!

Эти скверные насмешники, заходившие в своих шутках чересчур далеко, считали лестным для себя разглашать свои легкие победы над прирожденной наивностью бедного писателя. Но, хвастаясь подобного рода делами, рассказывая о них с таким самодовольством, не становились ли они сами жертвой довольно забавной *мистификации*, когда верили, что подобного рода одурачивания делают им честь и создают завидную репутацию?!

Они так старались, так спорили о том, кому лучше удалось обмануть несчастного поэта, их товарища по профессии, словно все это было действительно доказательством их превосходства.

Я был, между прочим, свидетелем *мистификации* одного из таких *мистификаторов*, рассказывавшего о своем приключении весьма напыщенно, что меня не мало позабавило.

Более тонкие и несравненно более приятные насмешники составили однажды любопытный заговор, отнюдь не имевший оттенка жестокости. Они сговорились убедить Кребийона-сына* в том, что ему изменил его легкий, изящный, добродушный и в меру язвительный ум, делавший его особенно приятным для общества. Обычно, чем больше у человека ума, тем он придает ему меньше значения. Однажды за ужином Кребийон заметил, что все его друзья пожимают с недоумением плечами при каждом произнесенном им слове, и вообразил, что говорит на

этот раз одни только глупости, тогда как в действительности никогда еще не был так блестящ, так остроумен. И, упав в кресло, он с горечью воскликнул: *Так значит правда, друзья мои, что остроумие мне изменило?! Увы! С некоторых пор я сам это замечаю. Но зачем в таком случае вы давали мне говорить? Терпите меня теперь таким, какой я есть, так как расстаться с вами я положительно не в состоянии, хотя и недостойн большие принимать участия в ваших беседах.*

Это очаровательное добродушие, свидетельствовавшее о чистоте души и полном отсутствии надменности, сделало его только еще более милым его друзьям. Они поспешили заключить его в объятия и уверили, что он по-прежнему все так же остроумен, как и добр.

А ведь этот доверчивый человек был не кто иной, как писатель, который так тонко разбирался в характере и сердце женщин и нередко учил их понимать самих себя.

165. Архитектура

Я хочу задать представителям искусства вопрос: зачем неизменно украшать все архитектурные здания колоннами? Зачем всегда одни и те же антаблементы? Для чего вечно повторять одну и ту же композицию? Мне говорят: колонны напоминают стволы деревьев. Отлично! Орнаменты изображают вазы с растениями. Прекрасно! Но ведь мои глаза видят все это в тысячный раз! Нельзя разве придумать какие-

нибудь другие пропорции? Неужели искусство заключено в такие узкие рамки? Неужели гений архитекторов или само искусство так ограничены? Зачем каждый дворец непременно должен быть похож как две капли воды на другой дворец? Я обвиняю архитекторов в ужаснейшем однообразии. Я устал от колонн, устал видеть всегда и повсюду колонны!

Целый ряд прелестных новых домов самого разнообразного вида окаймляет городской вал и украшает предместья. Такое разнообразие доказывает, что искусство может порой отходить от старых привычных форм и правил, чтобы удивлять и восхищать взоры человека.

Но главные чудеса архитектуры заключены внутри парижских домов. Искусная планировка берегает площадь, увеличивает ее и предоставляет обитателям ряд новых ценных удобств. Они очень удивили бы наших предков, умевших строить только длинные или квадратные залы при помощи громадных балок и перекладин. Наши современные жилища напоминают своим видом круглые, искусно отполированные раковины, и вы сидите теперь в светлом, уютном помещении, устроенном там, где прежде царили запустение и мрак.

Разве имели представление двести лет тому назад о вращающихся каминах, согревающих одновременно две комнаты; о невидимых, потайных лестницах, о крошечных каморках, существования которых никто не подозревает; о фальшивых дверях, маскирующих настоящие двери; о спускающихся и поднимающихся полах, о лабиринтах, в которых хозяева скры-

ваются, чтобы предаваться на свободе излюбленному времяпрепровождению, вдали от любопытных взоров прислуги?

Разве можно было предугадать, что искусство дойдет до такого совершенства, что при помощи маленькой потайной кнопки можно будет быстро повернуть устроенное на особом стержне зеркало, величиной в четыре фута, или большой секретер, или комод, прислоненный к мнимой стене и открывающий при вращении проход в комнату соседнего дома,—проход, скрытый от любопытных глаз и известный только заинтересованным в нем лицам, которым он помогает хранить любовные тайны, а нередко и тайны политические? Люди, никогда будто бы друг друга и не видевшие, встречаются там в заранее условленные часы; их окутывает непроницаемый мрак, и даже самая жгучая ревность, самая искусная слежка не могут ничего заподозрить и вынуждены признать себя побежденными.

Арабески снова вошли в моду после многих столетий полного забвения. Этот жанр декоративного искусства безусловно очень приятен, но слишком дорог. И что же? Нашли способ переводить арабески на бумагу, и в этом виде они смогут отныне одинаково удовлетворять вкусы как богатых, так и малосостоятельных людей. Изобретения нашего времени направлены главным образом к точной подделке показной роскоши; теперь довольствуются одним ее внешним лоском. Людям кажется, что они приближаются к богатству, когда они в состоянии окружить себя внешними его признаками, а это в свою очередь ясно доказывает, что глав-

ная прелесть богатства заключается именно в роскоши. Вот почему можно видеть простые стены, окрашенные под мрамор; бумагу, выделанную под бархат и шелк. Гипс покрывают бронзой; золотят каминные решетки, и даже на обеденных столах искусственные фрукты нередко возмещают отсутствие настоящих. Делают даже искусственные рельефные кушанья¹, до которых, по предварительному уговору, никто не дотрагивается; эти фантастические блюда подаются к столу до тех пор, пока покрывающие их краски не утратят своей свежести. Скоро, вероятно, наши библиотеки превратятся в раскрашенные полотна; разве нет у нас и теперь подобных же дешевых подделок как в области скульптуры, так и в столярном ремесле, в фарфоре, в порфировых вазах, вплоть до бюстов великих людей?

166. Торговки модными вещами

Они имеют доступ всюду. Они приносят вам материи, кружева, драгоценные вещи, продаваемые теми, кому спешно нужны наличные деньги для расплаты с карточными долгами. Они являются наперсницами всех великосветских дам, которые советуются с ними и устраивают те или другие дела по их указаниям. Им вверяют нередко крайне интересные тайны, и в большинстве случаев они их хранят довольно добросовестно.

¹ Рассказывают случай с одним близоруким иностранцем, который, несмотря на смятение хозяйки дома, хотел во что бы то ни стало разрезать деревянного кролика.

Кто-то сказал, что торговка модными вещами должна уметь безумолку болтать и в то же время обладать способностью, когда это нужно, молчать, не поддаваясь никаким соблазнам; должна обладать ловкостью, подвижностью, хорошей памятью, чтобы чего-нибудь не напутать; безграничным терпением и исключительно крепким здоровьем.

Такие женщины существуют только в Париже. Они очень быстро составляют себе порядочное состояние и обязаны этим не одной только торговле; причем самые противные из них пользуются нередко наибольшим успехом... Почему? Угадайте сами.

167. Парикмахеры

Кто знает Дюпена, который только что рекламировал свою брошюру: *Искусство разнообразных причесок*? Кто ее читал? Возможно, что один только я.

Так как только обожая свой талант, можно довести его до совершенства, то автор брошюры приходит в положительный экстаз перед искусством подстригать, завивать, укладывать, скручивать, помадить и пудрить на сотни ладов покорные или непослушные волосы какого-нибудь светского франта или хорошенькой женщины. Он исследует это искусство во всей его глубине и обширности. Ни одно искусство в наши дни не исследовалось так подробно!

Искусство прически, несомненно, больше всех других приближается к совершенству. Парик имел своего Корнеля, своего Расина, своего

Вольтера; и, что особенно редко, все эти парикмахеры не подражали друг другу. Парик, непомерно большой и причудливый в своем первоначальном виде, постепенно совершенствовался, пока, наконец, не сделался точной имитацией настоящих волос. Не напоминает ли это путь; пройденный *драматическим искусством*, и не может ли это служить эмблемой последнего, которое вначале тоже было напыщенно и до смешного искусственно, а постепенно, после здравых размышлений, было приведено к границам природы и правды? Громадный, тяжелый парик не напоминает ли *надутой и напыщенной трагедии*? Легкий же парик, прекрасно передающий природный цвет волос, вплоть до их корней, парик, который не кажется чуждым носящей его голове, а, наоборот, так сказать, врастает в нее, не напоминает ли *правдивой драмы*, с которой так сражаются все старинные громоздкие парики, но в конце концов им все же придется уступить дорогу своей новейшей сопернице?

Как бы там ни было (мы предоставляем разбираться во всех этих важных вопросах ученому г-ну Дюпену), благодаря этому искусству теперь научились из уродца создавать, точно по волшебству, человекообразную женщину. Актрисы должны были бы взирать на парикмахеров с чувством искреннего благоговения, так как после драматургов, которые наделяют их словом, они своим существованием обязаны именно парикмахерам. Но неблагодарные и не подозревают, до чего они в долгу у этих талантливых творцов!

Парикмахер находит себе награду в самом

процессе работы. Взор его постоянно созерцает редкостные сокровища красоты, скрытые от взоров других людей. Он—свидетель едва уловимых движений, всех прелестей, всех тонких изощрений любви и кокетства. Он первый видит все пружины игры, которую так искусно ведут женщины и которая с помощью невидимых нитей приводит в движение *великих плясунов нашего века*. Он должен быть скромн и молчалив; все видеть и ничего не говорить, так как иначе превратится в низкого осквернителя тайн, к которым получил доступ, и его место займут женщины, лучше умеющие хранить секреты представительниц своего пола.

Парикмахеры вывесили на дверях своей мастерской объявление: *Академия прически*. Но г-н Анживийе* усмотрел в этом профанацию слова *академия*, и парикмахерам было строжайше запрещено пользоваться этим почтенным и священным словом. А в Париже уже давно привыкли к подобным странным запретам. Здесь вечно все *запрещают* и никогда ничего не *разрешают*.

168. Украшения

Алмаз красив сам по себе, но ювелир шлифует его, полирует, придает ему ту или иную форму, после чего камень начинает сверкать еще ярче. Такова женщина. Ничто ее так не привлекает, как драгоценные украшения; ничем она так не дорожит, как возможностью исправить ущерб, наносимый временем; ничто так не радует ее, как средства, могущие возместить утраченную ею свежесть и красоту.

Из истории мы знаем о пятистах ослицах, которые всюду сопровождали императрицу Поппею*, чтобы доставлять ей в изобилии молоко, которое она употребляла для ванн и различных косметик. Мы знаем, что царица Клеопатра усиливала власть своих чар тщательно подобранными украшениями и что это помогло ей пленить и поработить первого и второго из смертных—Цезаря и Антония. Нам известно, что у царицы Береники* были такие чудные волосы, что их именем названо одно из небесных созвездий. Мы читали о том, как Семирамида* усмирила страшный бунт одним своим появлением на балконе в еще не вполне законченном туалете, с полуобнаженной грудью.

До нас дошли сведения о кокетстве Елены Прекрасной*, воспламенившем столько сердец и послужившем поводом к великой войне, отголоски которой после целых тридцати столетий все еще звучат в мире. Мы знаем также, что Иезавель*, съеденная псами, подкрашивала себе губы. Но ни один из древних поэтов, славившихся превосходными описаниями, не рассказал нам о модах тех отдаленных времен с такой правдивостью, которая дала бы нам возможность составить о них верное представление.

Я знаю, что вакханка с разметавшимися волосами, с челом, обвитым плющем, с тирсом в руках может быть так же красива, как какая-нибудь маркиза с прической а-ла-Вержетт; знаю, что туники знатных римлянок были не менее изящны открытых платьев современных европейских дам; что их сандалии были так же изысканны, как наши миниатюрные башмачки

на высоких каблучках,—но скажите, что стоило бы историкам дать подробное описание причесок, их разновидностей, их украшений, их общего вида? Почему писатели ничего не сообщили о том, как тогда причесывались, где и как начиналось и заканчивалось это восхитительное сооружение из волос? Куда помещали топаз и жемчужину? Как вплетали цветы? и проч. и проч. Что помешало описать изменчивую область мод? Ах, но ведь я сам прекрасно понял, взявшись было за кисть, до чего трудно, больше того—невозможно передать это искусство, самое обширное, самое неисчерпаемое, самое независимое от каких бы то ни было общих правил. Достаточно видеть, как красавица бросает на себя в зеркало последний, удовлетворенный взгляд, чтобы преисполниться восхищения и умолкнуть.

В самом деле, если бы я захотел описать дамский *ток*, украшенный *двумя удивительными attentions*, дамский чепчик *а-ла-Жертруд* или *а-ла-Генрих IV*; чепчик, украшенный *репами*, чепчик *с вишнями* или чепчик *а-ла-бебе**; если бы я захотел рассказать об осыпанном драгоценными камнями гребне или об ожерелье исключительной красоты, — получились бы одни только ничего не говорящие слова, и сам Гомер, при всей своей гениальности, скорее взялся бы описать Ахиллесов щит, чем прическу Елены.

Умолкнем же лучше и направим любознательного иностранца, желающего познакомиться с видоизменениями наших блестящих мод, в Большую оперу, где, глядя на головы наших

женщин, он поймет все это гораздо лучше, чем читая мое холодное и запутанное описание.

В начале этого столетия женщины носили на открытой груди небольшие бриллиантовые крестики, но один проповедник воскликнул с кафедры: «О боже! Можно ли найти более неподходящее место для креста, являющегося символом умерщвления плоти!»

Теперь, когда я пишу, модным цветом в Париже считается цвет *блошиной спинки и блошиного брюшка*¹. Перед тем все сходили с ума от женских головных уборов, именуемых *английским парком*. На женских головах появлялись последовательно: *ветряные мельницы, рожицы, ручки, овцы, пастухи и пастушки в лесной заросли*. А так как все эти украшения и прически не могли помещаться в *визави**, то была создана особая система пружин, которые их поднимают и опускают. Последнее слово искусства и хорошего вкуса в этой области!

История *пуфов, коков, бантов, шиньонов, бульонов и шиффонов* должна была бы быть поручена Академии изящных искусств, занимающейся столь глубокими изысканиями об *ожерелиях и украшениях* знатных римлянок. Но не надо забывать и настоящего времени. Время *чепчиков Гренада, Тисбе, султанша, корсиканка*

¹ С тех пор цвет *парижской грязи* и *гусиного помета* взяли верх; моя книга стала почти архаичной. Я хотел поговорить о чепчике а-ла-ёжик, но его уже изгнал чепчик а-ла-бебе. Перья выходят из употребления; теперь уже не носят развевающихся султанов. О, как изобразить то, что благодаря своей изменчивости ускользает из-под кисти?

прошло, так же как и шляп *Бостон, Филадельфия, жмурки*; успех прически *улиткой* клонится к закату. Но я считаю своим долгом упомянуть еще о новомодных широких *вздутых нижних юбках*, утолщающих бедра и придающих полноту особам, у которых только кожа да кости. Обещаю в будущем основать журнал, посвященный юбкам и перьям; ему будет оказан лучший прием, чем *Журналу ученых** или *Невшательской газете!*¹

Тюль, газ и марля дают работу сотне тысяч рук; я видел даже солдат, как здоровых, так и инвалидов, которые делают марлю и сами же ее продают. Солдаты, делающие марлю! Сейчас прочту пятьдесят страниц из *Оссиана**, чтобы изгнать из головы эту прискорбную мысль.

169. Бережливость

Где искать бережливость среди многочисленных расходов, сопряженных со всеми этими фантазиями? Конечно, нигде. Теперь знают только скупость или расточительность, которыми повелевает гордость. Наши отцы перелицовывали свои платья и давали подбивать к поношенным башмакам новые подметки. Но если бы в наши дни кто-нибудь заговорил о новых подметках, то жены приказчиков и те попадали бы в обморок.

¹ В этой мало распространенной газете* попадают статьи, подписанные буквой *С* и изобличающие критика и настоящего, здравомыслящего литератора. Почему он не примет участия в каком-нибудь издании, внушающем больше доверия?

В дома некоторых финансистов лучше явиться в самой откровенной нагоде, чем без бархата, кружев и галунов.

Даже сам г-н де-Бюффон* защищал роскошь в украшениях, утверждая, что она является частью нас самих. Знаменитый естествоиспытатель, повидимому, очень высоко ценил красоту и роскошь одежды. Как может после этого женщина, не желающая принимать к себе людей без кружев, показаться смешной?

И в то же самое время никто ничего не имеет против пожелтевших, грязных кружев. Нужно только их немного напудрить, а если это и откроется, то беды никакой не будет: как-никак—вы в кружевах! Чистоты от вас не требуется—богатство.

Достаточно мужчине, хотя бы и хорошо одетому, вынуть из кармана цветной носовой платок, чтобы все женщины уставились на него с нескрываемым удивлением от такого грубого проявления невежественности.

Известна ли вам история одного почтенного человека, который, имея только одну кружевную манжету, показал ее, входя в дом, швейцару в виде пропуска и заботливо спрятал под полую своего камзола другую манжету, сделанную, увы, из простой кисеи? Но в пылу разговора—нельзя же думать о нескольких вещах одновременно—он имел неосторожность обнаружить на глазах у всех присутствующих эту несчастную манжету. Вид ее до такой степени оскорбил хозяйку дома, что она немедленно призвала к себе швейцара и сделала ему строгий выговор. Но швейцар ровно ничего не

понял в ее нотации, так как в это время тот, о котором шла речь, уже успел спрятать свою скромную кисею и жестикулировал только той рукой, на которой красовались кружева. После полученного выговора швейцар стал до такой степени непреклонен, что на следующий день отказался впустить в дом офицера, у которого одна рука была ампутирована, требуя, чтобы ему были показаны обе манжеты! Он клялся, что с одной ни за что никого не допустит к хозяйке, даже если во всех газетах будет объявлено о пропаже руки и манжеты.

170. Надписи с наименованием улиц

Надписи с наименованием улиц появились только с 1728 года. Раньше эта роль предоставлялась традициям. Сначала надписи делались на жестяных пластинках, но время и дожди быстро стирали их; теперь их высекают на самом камне.

Скоро мы увидим вокруг площади, где помещается новое здание Французской комедии, улицы *Корнеля*, *Расина*, *Мольера*, *Вольтера*, *Кребийона** и *Реньяра**, что сначала возмутит, конечно, эшевенов, считающих, что им одним принадлежит старинное и лестное право называть улицы своими славными именами. Но мало-помалу они свыкнутся с этим новшеством и начнут смотреть на Корнеля, Мольера и Вольтера как на своих сотоварищей по славе. В конце концов улица Расина будет существовать рядом с улицей Бабиль, не вызывая осо-

бенного удивления среди квартальных, околоточных и других чинов городского управления.

*Литературный год** сыграл недавно довольно забавную шутку, объявив, что позади нового театрального здания окажется тупик Лагарпа. Автор невероятной трагедии *Бармакиды** должен бы сам над этим посмеяться, узнав, что, совершив свой жизненный путь и написав несколько якобы трагических строф, он дал имя некоему тупику!

Сколько г-н де-Вольтер ни ратовал за слово *impasse**,—им не стали пользоваться, и по-прежнему говорят:

le cul-de-sac du Fort-aux-Dames, le cul-de-sac des Feuillantines, le cul-de-sac de Jerusalem, le cul-de-sac du petit Jésus, le cul-de-sac du Quatre-vents, и т. д.

Не так давно начали нумеровать дома, но почему-то оставили это полезное начинание. Какие неудобства могло оно вызвать? Было бы несравненно проще и легче отправиться к такому-то господину непосредственно в дом № 87, чем разыскивать его по соседству с трактиром *Искусная Повариха*, или *Серебряная Борода*, в пятнадцатой подворотне вправо или влево от такой-то улицы. Но ворота, говорят, не позволили себя нумеровать! В самом деле, как можно допустить, чтобы особняк господина советника, господина генерального откупщика или его высокопреосвященства носил на своих стенах какой-то презренный номер?! Что случилось бы с его гордым мрамором? В этом отношении все похоже на Цезаря: никто не желает быть вторым в Риме, не говоря уже о том, что

тем или другим благородным воротам пришлось бы числиться после какой-нибудь мещанской лачуги. Это придало бы им видимость равенства, установления которого следует всячески избегать. А потому скоро во всех газетах, в отделе объявлений о похоронах, извещение о смерти некоего слесаря уже не будет стоять рядом с извещением о смерти какого-нибудь маркиза: их будет разделять черная черточка. Это уже было кем-то предложено.

171. Пансионы

Все поняли необходимость преподавать детям не одну только латынь; возникло несколько пансионов, где проходят полный курс образования на совершенно новых началах. Оно очищено от примеси педантизма, который присущ другим заведениям. Было в высшей степени нелепо давать одинаковое образование будущему военному, судье, купцу и доктору и всячески суживать самое необходимое—изучение живых языков.

Итак, теперь существуют в Париже новые пансионы, в которых обучение ведется по вполне разумному плану. Там допущены все науки, там каждый ученик выбирает себе ту отрасль знания, которой будет отведено господствующее место в избираемой им карьере. Этого рода заведения обязаны своим возникновением умственному прогрессу и часто вторяющимся, вполне обоснованным жалобам

писателей на прискорбную рутину, царящую у нас в университете.

Последний все еще слепо следует пустым и пагубным обычаям; скоро в его стенах будут учиться только дети низших классов общества, которых бедность заставит следовать по пути старых безрассудств.

Маленькие пансионы, существующие при самом университете, представляют собой нечто до крайности смешное и безобразное. Пища духовная там стоит на еще более низком уровне, чем пища телесная. Несчастные наставники, так называемые *gâcheux*, живут в такой острой нужде, что их одежда уступает даже скромной и дешевой одежде аббатов. У них сборное платье; их жирные волосы подстрижены в кружок; на ногах черные чулки, разорванные штаны, цветное верхнее платье, ни крошки пудры; у них вид голодающих людей, истощенные лица.

Этим латинистам платят меньше, чем лакею пансиона. Хозяйка заведения урезывает им порции мяса и хлеба; служанки им грубят; ученики, видя, с каким презреньем к ним все относятся, над ними насмеваются и мучают их.

Никакого досуга; ни отпусков, ни вакаций у них не бывает. Дни, когда другие отдыхают, для них полны утомления и труда. Они сопровождают учеников на прогулки, отвечают за целостность их рук и ног; поправляют письменные работы трех классов, дают отчет в занятиях и заведующему пансионом, и преподавателям коллежа, и родителям учеников. Они робко проявляют свой авторитет над толпой шалунов; встают раньше

их, ложатся позже; наблюдают за ними денно и ночью, всегда оказываются виновными—то в излишней мягкости, то в строгости—и живут постоянно под страхом быть выставленными со всею своей латынью за дверь. Сторожа и повара во сто раз счастливее их.

Нужно некоторое время пробалансировать между омутом и этими грустными обязанностями, прежде чем решиться остановить свой выбор на последних. И все же не мало людей, ныне пользующихся известностью в литературном мире, начало именно так, до такой степени властная рука нищеты порой гнетет нарождающийся талант.

172. Слуги.—Лакеи

Армия бесполезных слуг, существующая только для пышности, представляет собой серьезную опасность, являясь средоточием всевозможных пороков, пагубные последствия которых с каждым днем все растут и грозят рано или поздно привести город к неизбежной катастрофе.

Наше государство кажется очень могущественным, если судить по толпам, заполняющим набережные, улицы, перекрестки; но сколько среди них опустившихся людей! Когда видишь в какой-нибудь передней такое множество слуг, невольно думаешь о пустоте, которая должна была получиться благодаря этому в провинции, о той обширной пустыне, какую создает в остальных местах королевства процветающее население Парижа!

В доме какого-нибудь откупщика вы найдете две дюжины ливрейных слуг, не считая поварят и судомоек, и не менее шести горничных, обслуживающих хозяйку дома. Среди этой челяди может легко оказаться какой-нибудь заядлый мошенник, который с утра до вечера льстит ей, потому что у него самого лакейская душа, как и у нескольких столь же угодливых его подчиненных, на все лады восхваляющих качества хозяйки дома. Тридцать лошадей перебирают ногами на конюшне. Почему же в таком случае хозяину и хозяйке этого роскошного особняка, считающим дерзость достоинством, не называть *чернью* всех, кто не имеет пятисот тысяч ливров годового дохода? Они видят вокруг себя одних только льстецов, пресмыкающихся перед их богатством, одних угодливых слуг и думают, что таков весь остальной мир. Подобные мысли и рассуждения не должны никого удивлять в откупщике казенных доходов; презрительный тон всегда свойственен людям, достойным презрения.

Совершенно невероятным кажется, что до сих пор еще не обложили большим налогом многочисленное сословие слуг — людей, оторванных от земледелия, являющихся распространителями разврата и обслуживающих представителей самой бесполезной и чудовищной роскоши.

Но в наши дни финансы породнились с дворянством, и это-то именно и составляет основу действительной силы. Приданое почти всех жен вельмож получено из касс откупщиков. Забавно видеть, как некий граф или виконт,

у которого осталось только громкое имя, добивается руки богатой дочери какого-нибудь финансиста и как утопающий в роскоши финансист добивается благосклонности нищей девушки из знатной семьи. Разница только в том, что обычно такая девушка (которой грозила участь скоротать жизнь в монастыре) жалуется на судьбу, заставившую ее выйти замуж за человека, имеющего пятьсот тысяч ливров дохода в год, считает, что сделала ему неслыханную милость, и вызывает к портретам предков, прося их *закрывать глаза на этот мезальянс*.

Глупый муж, польщенный возможностью одолжить денег жениным родным, считает за честь, что ему дано составить счастье своей высокомерной супруги, и готов искренно считать себя гораздо ниже ее. Сколь жалка и глупа логика тщеславия! Как могла комедия *Жорж Данден** не излечить разумных людей от этого странного безумия? Как могут они соглашаться обогащать семьи, богатые только количеством слогов в своих фамилиях, с тем, чтобы те их же за это терзали и презирали!

Обычно лакей хорошего тона, находясь в обществе других лакеев, присваивает себе фамилию своего господина. Он перенимает также его нрав, жесты, манеры; носит золотые часы, кружева и преисполнен дерзости и спеси. Если он служит у молодого человека, то всякий раз, когда его *господин* сидит без денег, он исполняет роль его доверенного; он является сводником во всех его любовных приключениях; суровым ментором—всякий раз, когда нужно выпроводить из дому кредиторов и выручить хозяина из беды.

Пословица говорит, что самые лучшие лакеи—это самые рослые и нахальные.

И наконец, *лакей самого высшего тона* носит двое часов, как и его господин, и эта невиданная глупость теперь уже возмущает одних только мизантропов.

173. Модистки

Ничто не может сравниться по важности с модисткой, занимающейся комбинированием различных *пуфов* и во сто раз увеличивающей ценность газа и цветов. Еженедельно появляются новинки в области женских головных уборов. Изобретательство по этой части создает громкую известность. Женщины чувствуют глубокое и искреннее уважение к талантам, умеющим разнообразить привлекательность их красоты и их лиц.

Расходы на моды превосходят в наши дни расходы на стол и экипажи. Несчастный супруг никогда не может вычислить заранее, какой цифры достигнут эти постоянно меняющиеся фантазии, и ему нужны самые быстрые источники дохода, чтобы быть в состоянии удовлетворить неожиданные капризы жены. На него стали бы указывать пальцем, если бы он не платил за весь этот вздор так же аккуратно, как платит булочнику и мяснику.

Из Парижа эти изобретательницы мод диктуют законы всему свету. Знаменитая кукла—драгоценный манекен, наряженный в платье новейшего фасона,—этот *вдохновляющий всех образец* парижских мод отправляется ежеме-

сячно из Парижа в Лондон, а оттуда осчастлививает своими милостями всю Европу. Он путешествует и на север и на юг; проникает и в Константинополь и в Петербург, и каждая складка платья, заложенная рукой француза или француженки, повторяется всеми нациями—скромными последовательницами вкуса улицы Сент-Оноре!

Все это, конечно, звучит очень дико. Но обычай с непоколебимым скипетром в руках все улаживает, все приводит в порядок, и не находишь ответа на такие слова, как: *так говорят, так делают, так думают, так одеваются.*

Моды составляют очень обширную отрасль торговли. Только плодовитый гений французов в состоянии так преобразать самые обыденные вещи. Пусть соседние нации пытаются нам в этом подражать,—легкий, изящный вкус все же останется нашей неотъемлемой собственностью. Нечего и пытаться оспаривать у нас наше бесспорное превосходство в этой области.

Все эти забавы роскоши обогащают множество ремесленников, но что весьма плачевно, так это то, что мелкая буржуазия стремится подражать маркизам и герцогиням. Бедному мужу приходится своим потом и кровью удовлетворять прихоти жены. С каждой прогулки она приносит какую-нибудь новую фантазию: на жене нотариуса был такой-то туалет; нельзя отправиться на следующий день на званый ужин, если у нее не будет такого же головного убора. Расход производится в ущерб детям, а в результате таких туалетных соревно-

ваний головы наших женщин поистине начинают кружиться.

Я знаю одного иностранца, долго не желавшего верить в существование *куклы с улицы Сент-Оноре*, которую регулярно отправляют на север для ознакомления тамошних жителей с моделью новой шляпки в то самое время, как другой экземпляр той же куклы отправляется в Италию, а оттуда проникает вплоть до серала. Я повел этого недоверчивого человека в знаменитую лавку, и он собственными глазами видел куклу и трогал ее; но, прикасаясь к ней, он все еще, казалось, продолжал сомневаться, — до такой степени это казалось ему невероятным.

Вспомним, что говорит по этому поводу Монтескьё в своих *Персидских письмах*: «Вдруг женщина заберет себе в голову, что она должна явиться в гости в новом, нарочно для этого случая созданном туалете. С этого момента пятьдесят ремесленников работают, не смыкая глаз, не успевая поест. Она приказывает, и ее приказания исполняются с большей поспешностью, чем приказания персидского шаха, — ибо выгода является самым могущественным повелителем из всех существующих на земле».

Я хотел поместить здесь маленький словарь мод и всех их особенностей, но, пока я писал, язык модных магазинов менялся. Через какой-нибудь месяц мои слова уже не будут иметь значения; для того чтобы их понять, потребовался бы особый комментарий. Моя книга наполовину вылиняла бы прежде, чем появиться на свет. Поспешим же и постараемся,

если возможно, уловить облик текущего дня. О, как хорошо сказал Буало:

Миг, в который я говорю, уже далек от меня!

174. Преподаватели приятных манер

Да, господин иностранец, можете смотреть на меня во все глаза и всячески выражать свое удивление: у нас существуют особые преподаватели, обучающие манерам и всему, что необходимо знать молодым людям, желающим овладеть искусством нравиться! Это искусство имеет свои законы и развивается не ощупью как на берегах Невы. Здесь на мелочи смотрят как на нечто чрезвычайно важное, а важные дела считают пустяками.

Такие учителя, поставив молодого человека перед зеркалом, обучают его искусству тонко улыбаться, грациозно нюхать табак, бросать в сторону быстрый многозначительный взгляд, раскланиваться особенно легко и красиво. Они учат его говорить сочно, подражая актерам, но отнюдь не копируя последних; при улыбке показывать зубы, не делая при этом никаких гримас, и прилежный ученик проводит заперти два-три часа за этими столь важными занятиями!

Посмотрите, как входит в гостиную такой щеголь. Прежде всего требуется, чтобы бретелки приятным позвякиванием возвещали о его приходе.

Далее, особое внимание уделяется прическе. Имена и адреса парикмахеров и парикмахерш,

особенно искусных в своем деле, известны всем и каждому; хорошо причесанная женщина никогда не преминет бросить презрительный взгляд на плохо причесанную голову.

Кто такой этот господин?—презрительно осведомляется она о человеке, более других способном прославить свой век и свою нацию. А чем вызван этот презрительный тон? Тем, что человек плохо завит.

Все эти так хорошо вышколенные молодые люди сердятся только из-за пустяков. Они топчут ногами, произносят проклятия и выходят из себя, только когда их лошади опаздывают на какие-нибудь две минуты. В таких случаях они задыхаются от гнева.

Далее, их обучают всем тонкостям туалета: разнообразным способам завязывать галстук, носить панталоны и чулки. Одевшись подобающим образом, они утром, то есть в полдень, убегают из дома, отправляются с визитами к знакомым дамам и небрежным тоном задают им вопросы: *Какой художник писал портрет для ваших колец, для ваших табакерок, для ваших браслетов?* В те же дни, когда молодой человек не в духе, он в этом утреннем платье остается весь день и уведомляет знакомых, что вечером ужинать никуда не пойдет.

В число учителей, преподающих все эти превосходные вещи, можно было бы включить и докторов, лечащих воображаемые болезни. Доктор, если только он любезен, красив и умеет хорошо и остроумно рассказывать, может и не уметь лечить: лишь бы он аккуратно являлся с визитами.

Требуется, кроме того, умение страстно увлекаться любой новинкой. Кушанья, платья, книги — все должно носить печать свежести. Новая опера, новая актриса, новые проделки Комюса*, новый способ завивки волос — вот что возбуждает умы. Порывы восторга возникают и распространяются с быстротой молнии; можно подумать, что все головы наэлектризованы. Шесть месяцев назад тот или иной человек не обладал ни душой, ни чувством; внезапно его возводят в герои, с тем чтобы спустя несколько дней начать его высмеивать.

Равным образом, как учителями, так и их учениками установлено, что ничто не может быть забавнее подлинного таланта—высокого, божественного, а потому ничто и не может быть достойнее насмешки. Каждый из наших *приятных* молодых людей кажется женщинам удивительнейшим существом; но существо это не должно выходить за пределы *общества*, так как стоит ему появиться перед человеком нормальным и разумным, как на него уже нельзя смотреть без смеха и, слушая его рассуждения, нельзя не пожать от недоумения плечами. А между тем всему этому он нарочно обучен!

175. Драгоценные вещи

Да будет вам известно, господин русский, что табакерки называются теперь просто *коробочками*; это вы давным-давно должны были бы знать. Для каждого сезона существует своя *коробочка*. Та, которую употребляют в зимнее

время, делается тяжелой, та же, которая служит летом,—легкой. Изысканность в этой области дошла до того, что некоторые меняют коробочки каждый день: именно по этому узнают людей со вкусом. Вы избавлены от необходимости иметь библиотеку, естественно-научную кунсткамеру и картины, раз у вас есть триста коробочек и столько же колец.

Торговля драгоценными вещами чрезвычайно распространена; состоятельные люди занимаются непрерывной куплей-продажей. У частных лиц можно встретить ювелирные склады, вступающие в соревнование с настоящими ювелирными лавками, причем богачи гордятся такого рода известностью. Вот на что употребляется богатство. Какой позор!

176. О моде

Достаточно показать *обезьянью задницу*, чтобы собрался весь Париж. Это дословно так. Вообразите себе множество министров, власть каждого из которых продолжалась бы не более одного дня и которые каждое утро видоизменяли бы одежды, нравы, обычаи и даже характер населения всей страны. Вообразите себе суровых, печальных, добродетельных женщин, просыпающихся на другой день нежными, кокетливыми и доступными; принципы предыдущего дня—забытыми; самые противоположные взгляды—сменяющими друг друга ежеминутно. Такое именно зрелище представляет глазам философа мода.

Для философа сто лет—один день, и ему кажется столь же странным, что человечество меняет взгляды дважды в столетие, как если бы частное лицо отказалось от мнения, которое оно защищало всего за час перед тем.

Непрестанный круговорот событий дает философу некоторое представление о неустойчивости человеческих мыслей, и, размышляя о бесконечном разнообразии, существующем в мире, он прощает господствующей нелепости, которой предстоит быть вскоре замененной другой нелепостью, совершенно ей противоположной.

Когда то или иное мнение вызвано модой, его может искоренить только новый прилив безрассудства. Авторитет, мудрость бессильны против всеобщего безумия. Жрецами моды являются глупцы; они чтут ее и на все ее забавы смотрят как на непреложный закон.

Мудрец может, конечно, избавить себя от следования моде, но он не должен с нею бороться. Относиться к ней строго ему вполне разрешается, но при условии, что он не поставит себя в смешное положение; всякое преувеличение в чем бы то ни было считается предосудительным. Когда при Генрихе II в Париже носили очень большие парики, философам разрешалось делать их средних размеров.

Мода на бескорыстие не явится никогда,— сказал Фонтенель*.

На бильбоке, драже, девизы, ермолки, картонных плюсунов, китайских уродцев мода была уже и прошла, так же как и на *concerti**, на загадки и на стиль бюрлеск*; затем явился

Ваде* с своим простонародным стилем, и мы заговорили на языке рыночных торговек. Потом настал черед *каламбуров* и *шарад*, после которых у нас на каминах водворились Жано и Превиль*; впрочем, последний больше уже не ставится ни в грош. Кто придет вслед за этими громкими именами? Вся мудрость гения не в состоянии этого предугадать. *Экономистов*, увы, больше уже не существует. Я присутствовал при их рождении, видел, как они спорили друг с другом, как блистали, как морили нас голодом и как, наконец, исчезли.

Одно время слегка увлеклись квадратурой круга. Много говорят о химии. Мода сегодняшнего дня требует, чтобы каждый изучал перегонный куб, говорил о ректифицированном спирте и знал, что такое древесный газ и фтор. Хотя Бюффон — и лучший естествоиспытатель, чем Моисей, все же к его труду *Эпохи природы** отнеслись как к остроумному роману. Энциклопедисты перестали пользоваться прежним авторитетом, потому что стали чересчур смело распоряжаться литературными репутациями, а также потому, что в среду орлов попало не мало индейских петухов.

В Париже труднее удержать на более или менее продолжительное время общественный восторг или удивление, чем вызвать их. Здесь безжалостно разбивают кумир, которому еще накануне курили фимиам, а как только замечают, что тот или другой человек или партия желают поучать, их осмеивают. И вот человек уже свергнут с пьедестала, вот и партии не существует!

177. Замечания

Мода требует, чтобы в больших домах за обедом гости сидели при шпаге; по окончании обеда исчезают не прощаясь, но хозяйка дома обязана заметить ваше исчезновение и прокричать вам вслед нечто весьма неопределенное, на что полагается ответить только каким-нибудь односложным восклицанием. Спустя неделю или немного больше вы снова появляетесь в доме, — иначе вас обвинят в неучливости.

Если вы в течение целого года не заезжали в дом, где были приняты, то нужно, чтобы вас снова кто-нибудь представил и извинился от вашего лица. Можно сказать, что вы провели этот год в деревне или все время путешествовали, причем хозяйка, выдавая вас в течение всего сезона в театре, сделает вид, что верит вам.

Маленьких детей воспитывают теперь гораздо лучше, чем раньше. Их часто купают в холодной воде, одевают легче, не кутают и не пеленают.

Все это, безусловно, заслуживает одобрения, так как в настоящее время парижанам недостает только мягких черт лица и округлости форм, чтобы вполне походить на женщин. У великого множества мужчин женские души; они неспособны проявить никакой энергии.

В тот час, когда для хозяйки дома только еще начинается день, добрые друзья и собачки уже имеют доступ в ее комнату; ставни еще только полуоткрыты; обычно это бывает не раньше одиннадцати часов утра.

Есть женщины, которые встают с постели только к вечеру, а ложатся спать на заре. Это привычка так называемых ученых женщин, которых называют поэтому *лампами*.

Хозяйке дома не полагается говорить о кушаньях, стоящих на столе; ей разрешается объявлять только: *реннские пулярджи, манские куропатки, перигейские пироги, ганжская баранина* или *испанские оливки*.

Для того чтобы быть вполне модным человеком, нужно обладать тонким станом, тонким умом и тонкими чувствами.

Никогда еще известность не имела более лживых глашатаев, чем журналы, печатающиеся в Париже; зато и читают их только в провинции.

Что всего реже можно встретить в Париже, так это людей, имеющих под своей командой полк и не хвастающихся этим перед женщинами. Самое редкое явление в наши дни—это скромный офицер!

Один полковник говорил, что он приехал в Париж для того, чтобы *набрать людей*, вместо того чтобы сказать *набрать солдат*. Это до такой степени вошло в привычку, что при женщинах иначе и не выражаются.

Пряжки на башмаках по-прежнему похожи на пряжки лошадиной сбруи и отличаются от них только работой.

Меткое словечко составляет счастье мужчины. Граф*** имел только тысячу экю годового дохода. Он платил три тысячи ливров своему скороходу и говорил: *Я нашел способ всегда иметь перед собой свой годичный доход*.

Это удачное словцо восхитило всех женщин и повлияло на его продвижение по службе.

Беспрестанно ведутся разговоры о *финансах*, а между тем во Франции давно уже утеряна приходо-расходная книга. Говорят также о *морском флоте*, но не приводят слов Монтескьё*, который сказал: *Это единственная вещь, которую не в состоянии создать одни только деньги.*

Богачи теперь уже не любят хорошо поесть, потому что они начали питаться изысканной пищей слишком рано, и у них притупился вкус. Очень часто хозяин дома, сидя за столом, уставленным яствами, грустно пьет одно молоко. Новейшая кухня представляет собою смесь разных процеженных отваров и соков.

Вот уже несколько лет, как мужчины стали очень заботиться о своей внешности и делают все, чтобы не быть безобразными. Их прическа стала теперь несравненно проще и лучше, чем была пятнадцать лет назад.

В Париже нет богатых домов, где давались бы и обеды и ужины. Представители судебного мира обедают, представители финансового—ужинают. Вельможи обедают не раньше половины четвертого.

Наши трапезы носят немного грустный характер: вина больше не пьют; тарелки меняют почти незапачканными; своему левому соседу говорят тихонько нелестные вещи о правом; какая-то холодная важность заменила веселость, которую некогда возбуждало вино.

Тот, кто дает хорошие обеды и ужины, пользуется, по крайней мере, тем преимуществом,

что его качества не будут обойдены молчанием, а если у него имеются таланты, то они не останутся в безызвестности.

Богачи имеют деньги для того, чтобы тратить их на пустяки, но отнюдь не для того, чтобы оказывать услуги другим.

Дормёз, как говорят, изобретен военным, чтобы разъезжать, нежась в постели.

Знатным людям дают пенсии из доходов, получаемых с игорных домов, причем престарелые дамы нередко сами содержат такие дома.

В библиотеках наших молодых аристократов можно найти и Монтеня* и Монтескьё; но их томы еще не разрезаны.

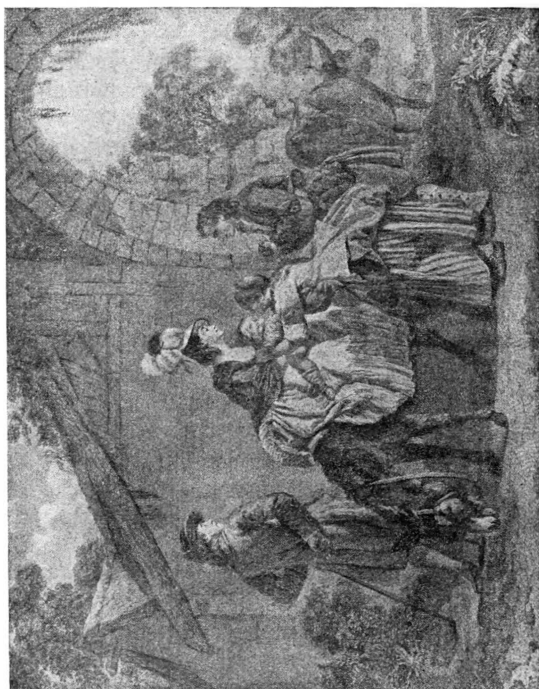
Искусство говорить заменяет красноречие, а это не одно и то же.

Все делается путем интриг. Самые ничтожные места достаются лишь благодаря хитростям. Все думают только о себе и о своих ставленниках: либо для того, чтобы не быть уличенными ими во лжи, либо для того, чтобы рассчитаться с ними вместо денег протекцией; при этом всячески унижают своего честного соперника.

Человек, который может сказать: *моя оранжерея*, думает, что прибавить к такому высокому слову больше уж нечего.

Одна женщина заявила, что скорее согласилась бы быть *похороненной* в Сен-Сюльписе*, чем жить в провинции!

Божественно, отвратительно—слова, еще употребляемые критиками, несмотря на высмеивание, которому подвергаются теперь все сильные выражения.



Прощание с кормилицей

С гравюры де-Лоне младшего по рисунку Обри

Довольно часто говорят, что оценивать искусства одними только чувствами—бесплодное и ненужное занятие.

Светские люди создали новый разговорный язык; можно согласиться с тем, что он не лишен изящества, но нельзя не отметить, что он совершенно *невывразителен* и бесцветен.

Секта пуристов, царствовавшая в течение двух или трех лет, сейчас близится к закату. Все эти *чистильщики* слов считали себя исключительными личностями только потому, что довольно хорошо знали грамматику.

Благодаря кормилицам, нянькам, воспитателям, коллегам и монастырям некоторые женщины почти не замечают, что они матери.

По-прежнему бранят финансистов, и сам я больше, чем кто-либо другой. Кто-то сказал по этому поводу, что они делали всегда столько зла, что те из них, которые живут в наши дни и приносят вреда несколько меньше, расплачиваются за своих предшественников.

Представители буржуазии пока еще не держат поваров, но это придет со временем.

Какое множество людей, нашептывающих на ухо обманчивые речи, и какое великое множество ежедневно обманываемых ушей!

Великие мира сего имеют обыкновение оглядывать с ног до головы тех, кто к ним обращается; это называется *смерть взглядом*. Но те, кого это возмущает, могут в свою очередь смерить их так же!

Хорошо устроенная прическа—большая забота для каждого щеголя, желающего любоваться своим лбом всякий раз, как обратится

к зеркалу, и парикмахер, умеющий угодить его вкусу, считается крайне ценным человеком.

Ведь сто тысяч человек ровно ничего не делают, считают любой труд низким занятием и с презрением предоставляют его простому народу.

Молодой человек, любящий пышность, возлежит под зеркальным балдахином, чтобы иметь возможность, едва только раскроет глаза, любоваться своим женоподобным лицом.

Его лакей не носит ливреи. На его обязанности лежит только обслуживать своего господина, следить за его гардеробом и служить ему за столом.

В Париже у людей гораздо меньше хлопот, чем где бы то ни было.

На пышных банкетах вельмож и богачей нередко можно видеть женщин, не желающих ничего пить, кроме воды, и не притрагивающихся ни к одному из двадцати тонких блюд; они зевают и жалуются на желудок; многие мужчины подражают им, делая вид, что тоже не пьют вина, и думают, что это служит доказательством хорошего тона.

В одном только Париже шестидесятилетние женщины наряжаются, как двадцатилетние, и показываются всюду в украшенных лентами чепцах, нарумяненные и в мушках.

Никто теперь не читает для того, чтобы чему-нибудь научиться: читают только, чтобы критиковать.

Начинают снова поговаривать о своих родовых поместьях; что же касается *породистых*

лошадей, то само это выражение считается уже устаревшим.

Тщетны все трактаты морали: грубое или тонкое сукно, узкий или широкий галун; собственный экипаж или извозничий; дюжина лакеев или всего только один единственный слуга; прелестница с пятнадцатифранковым кольцом на пальце или с бриллиантовым в пятьсот луидоров — вот что составляет всю разницу при оценке достоинств того или иного человека. Это очень глупо; но жалкие смертные судят именно так!

178. Прождемтесь по городу

Бросим теперь взгляд на учреждения наших предков. Я ознакомлюсь по ним с историей предшествовавших веков; и каждая церковь, каждый памятник, каждый перекресток явят мне любопытные исторические черты. Все, что совершил фанатизм, воскреснет в моих воспоминаниях, так как нелепости прошлого не преминули оставить о себе памятники, способные их обессмертить, точно они боялись исчезнуть из мира, не обеспечив себя постыдной славой. Но заметить их можно лишь с помощью некоторой учености.

В древности сохранялся вплоть до времен Димитрия Фалерийского* — другими словами, на протяжении девяти веков — тот корабль, на котором плыл Тезей*, освободивший афинян от дани царю Миносу. По мере того как корабль ветшал, афиняне заменяли его сгнившие части кусками нового дерева, так что впоследствии

возник спор: тот ли это самый корабль? И вот Париж немного его напоминает: на нем столько заплаток, что от прежнего не осталось ничего.

Думаю, что если я когда-нибудь получу дворянство и доведу свое генеалогическое дерево до времен Маркомира* и Фарамона*, то ни мало этим не возгоржусь, как возгордились бы на моем месте иные, потому что это только докажет, что я веду свой род от одного из древних сикамбров*, другими словами—от варвара и полудикаря.

Я вспоминаю, что святой Реми*, готовясь облить святой водой голову Хлодвига в присутствии его войска, сказал ему: *Склони голову, гордый сикамбр.*

И если бы небеса внезапно открыли нашим взорам действительную родословную всех живущих на земле, какое бы получилось неожиданное и любопытное зрелище! Не оказалось бы ни одного короля, у которого не нашлось бы среди предков раба, и ни одного раба, который не имел бы среди своих родичей короля.

Настоящим дворянином не явится ли тот буржуа, который хвастал, что может доказать соответствующими грамотами, что за ним числится *более шестисот лет разночинства, переходящего из рода в род?*

Кто мог бы сказать Константину Великому*, что самые грубые люди сядут в один прекрасный день на его трон и гордо объявят себя владыками его царства? Могущественные монархии были основаны варварами, и потомок калмыка, одетого сейчас в звериные шкуры, возможно когда-нибудь возложит на свою голову вели-

коленную корону Франции. Что только ни делает время и какие только удивительные перемены ни приносит оно земле!

Наше происхождение во всяком случае более благородно, чем происхождение римлян. Основателем нашего государства не был пастух Ромул*, который, стремясь заселить свой маленький городок, обратился ко всем ворами, грабителям и разбойникам Италии и Тосканы, зазывая их к себе и обещая им постыдное покровительство.

Таким образом, гуляя по городу, я путешествую по древнему миру, перебирая в памяти любопытнейшие эпохи. Мне нравится мысль о том, что я происхожу от франков, носивших длинные волосы, а не от покоренного народа, которому волосы коротко стригли. Моя любовь к свободе доказывает мне, что я принадлежу к расе победоносного длинноволосого народа, и всякий раз, когда я вижу развевающиеся волосы наших президентов, советников и молодых адвокатов,—я говорю себе: *Вот они—франки!*

Я люблю представлять себе наш великолепный город только еще поднимающимся из топких болот—в конце второй династии*, когда он был заключен между двумя рукавами реки. Встречая на дороге быков, я всегда говорю себе: *Вот кони, которыми былапряжена некогда повозка короля Дагобера**:

Волы в Париже тихо, вчетвером
Провозят фэзтон с беспечным королем.

Как далека была эта повозка от экипажа, в котором проезжал по улицам Реймса* Людо-

вик XVI в день своего коронавания! Но добрый Дагобер, вероятно, и не представлял себе возможности большей роскоши.

В той части города, где были прежде улицы Пот-о-Диабль и Тир-Буден, я вижу теперь ряд прекраснейших улиц, окружающих Люксембург, Пале-Рояль и Тюильри. Жалкие деревушки бывали колыбелью великих империй, а рыбацкие лодки давали начало могущественному морскому флоту!

По мере того как я приближаюсь к *кладбищу Невинных*, вид которого печалит мой взор, впереди начинает вырисовываться восьмиугольная башня, где стояли часовые, следившие за норманнами, которые беспокоили город частыми и неожиданными набегами. На красивой улице Сент-Антуан выращивали капусту, морковь, репу. Здесь происходил и тот турнир, на котором был ранен Генрих II*, а позднее тут дрались гнусные любимчики Генриха III*.

Университетский квартал говорит мне о любви Филиппа-Августа* к науке и о том, что им был основан целый ряд школ. Ученики этих школ заселили город, и именно благодаря этой населенности парламент при Филиппе Красивом* сделался здесь постоянным учреждением. Отсюда следует, что образование всегда было полезно... Сейчас я слегка поскользнулся на плите мостовой; это напомнило мне о том, что мостить улицы в Париже начали только в 1184 году и что этим мы обязаны одному финансисту, который представил проект, а затем пожертвовал большие деньги на его осуществление.

Проходя по площади Победы, я говорю себе: прежде здесь среди бела дня грабили прохожих, грабили на том самом месте, где теперь виднеется статуя короля, желавшего прослыть завоевателем*. Этот квартал назывался кварталом Вид-Гуссе*. Небольшой отрезок улицы, ведущей к площади, где красуется бронзовое изваяние монарха, до сих пор сохранил это имя. На этой площади, так долго возмущавшей Европу, я не могу не вспомнить придворного¹, который, по свидетельству аббата Шуази*, намеревался купить подвал под церковью Пти-Пер и прорыть оттуда подземный ход к середине площади, чтобы быть погребенным и благоговейно гнить под статуей Людовика XIV, своего господина, *бессмертного мужа*.

Я никогда не перехожу улицы Феронри без того, чтобы не вспомнить об окровавленном кийжале Равайака*, извлеченном из великодушного сердца того, кто не заслужил смерти тиранов.

Именно добрый Генрих IV распорядился закончить сооружение моста Пон-Нёф. Его памятник* радовал мой взор почти во все дни моей жизни. Но до каких же пор будут стоять все эти дома, построенные на мостах, все эти зловонные, узкие и неудобные рынки и извилистые, тесные и грязные улицы?

Сейчас я вижу Бастилию*, которую выстроил Карл V, не предугадывая ее будущего применения,—ту самую Бастилию, на которую все

¹ Маршал Фейад. Не понравившись сначала королю, он сказал: «Он чувствует ко мне неприязнь? Хорошо, я ее преодолею и сделаю его любимцем»*.

друзья закона не могут взирать без негодования и горечи.

Поблизости оттуда, на набережной Целестинцев, в моей памяти воскресает дворец Сен-Поль, в котором жил мудрый Карл V. Королевская жизнь была в те времена проще: на дому, где жил король, помещались голубятни, в садах выращивались овощи, и чудовищная роскошь не поражала взоров граждан.

Улица Писателей. Имя Никола́ Фламеля*, столь любимого учениками, приходит мне здесь на память. Он делал много добра, и потому память его должно чтить. Он основал несколько больниц, и все его дары носили печать истинного человеколюбия. Что касается лично меня, то я боготворю память Никола́ Фламеля и его жены Пернели. Удалось ли ему найти философский камень или нет, все равно—его изыскания, его труды и основанные им учреждения свидетельствуют о нем как о человеке, возвышавшемся над своим веком.

Когда я сажусь в лодку на пристани Сен-Ландри или причаливаю к ней, я не могу не вспомнить о том, что тело Изабеллы Баварской, супруги Карла IV, злой королевы*, умершей в 1435 году, было поручено лодочнику, который должен был безо всяких почестей доставить его настоятелю Сен-Дени. Расходы на такое погребение были весьма незначительны!

Церковь Нотр-Дам, строившаяся около двухсот лет, с крайне любопытным порталом носит печать гениальности наших отцов и представляет собой исторический памятник, преисполненный величия; в эту церковь мне всегда бы-

вало приятно входить. Но недавно этот храм побелили, и он утратил налет старины и сумрак, вызывающие благоговейное чувство.

Дворец, служивший местопребыванием королям третьей династии и сгоревший три года назад*, теперь, когда я все это пишу, отстроен заново. В прежние времена городские чиновники не подъезжали ко дворцу в экипажах: советники в мантиях и белых воротниках являлись обычно, по-братски сидя вдвоем на одном муле, слезали с него у входа в главную залу и возвращались обратно таким же образом.

Я вхожу в маленькую церковь Сен-Пьер-о-Бё*, которую в 1503 году осквернил один юноша из Абвиля*. Он вырвал из рук священника облатку, воскликнув: *Как! До сих пор все еще длится это безумие?!* Этот юноша был хорошо образован, читал Гомера, Цицерона, Вергилия. За свою выходку он был сожжен на костре.

Дальше—улица Ада*; на ней не видно больше ни чертей, ни привидений, но так как она тянется над каменоломней, то представляет собою еще бóльшую опасность. Людовик Святой* отдал ее картезианскому монастырю, чтобы изгнать все эти призраки. С тех пор их больше не видели, а стоящие здесь дома стали приносить монастырю хороший доход.

Убежище *Трехсот** (для слепых) было основано тем же Людовиком Святым; его только что снесли, и место, на котором оно стояло, пусто. Раньше проповедники готовились здесь к проповедям, которые должны были произнести при дворе.

Улица Де-ла-Потри дала начало Французской комедии*. За порядком в театре наблюдал королевский прокурор, а не придворные камер-юнкеры, которые в те времена только стлали постель королю и больше ничего не делали.

На закрытом рынке Карл V*—тогда еще дофин—всячески старался унижить в своих речах Карла Злого, Наваррского короля; но его освистали, потому что он был не так красив и менее красноречив, чем его противник.

На улице Труверов португальский король Альфонс V* был прекрасно обставлен и обслужен в доме одного бакалейного торговца. Подобный же случай мы наблюдали и в наши дни, когда император* провел некоторое время в меблированной квартире на улице Турнон, чтобы располагать большей свободой.

На возвышении Бютт-Сен-Рок Орлеанская дева* отличилась в бою и была ранена во время атаки на Париж, находившийся во власти англичан. На вершине этого холма всего еще сто лет назад красовались мельницы.

Наконец, великий Цезарь* жил одно время в нашей столице, а также и император Юлиан*, очень любивший парижан и их город, за что я ему весьма признателен.

Университетская улица. Идя по ней, я думаю об университетских привилегиях, потерявших теперь силу. Прежде, едва только кто-нибудь пробовал посягнуть на эти права, университет закрывал все свои школы; прекращались уроки теологии и схоластики, умолкали проповеди, и испуганный двор бывал вынужден уступить. Мне вспоминаются при этом времена

Карла Великого. Папские буллы управляли тогда университетом, в котором были сосредоточены все знания. В настоящее время от его прежнего невероятного могущества осталось только несколько чисто внешних форм. При входе ректора университета к королю двери раскрываются настежь; раз в три месяца он совершает торжественную прогулку по Парижу в качестве единодержавного повелителя умов. Обычно ректор—жалкий педант, преисполненный латыни и глупости. Если он умрет во время ректорства, университет имеет право похоронить его в Сен-Дени, где хоронят королей.

Говоря о правах ректора, я не могу не улыбнуться, вспомнив, что Юлий II* грозил наложить интердикт на все королевство и призвать к ответу Людовика XII, все французское духовенство и парижский парламент.

Никогда не могу спокойно слышать упоминания о колоколе Сен-Жермен Л'Оссеруа, давшем первый сигнал к Варфоломеевской резне.

Новая церковь святой Женеьевы свидетельствует о том, что во все времена к этой святой пастушке обращались с молитвами об исцелении королей и принцев, а также о дожде во время засухи и о хорошей погоде в дождь. Новое здание будет поддерживать этот старинный обычай, который, по всем данным, сохранится еще надолго.

В прежней церкви я вместе со всем населением столицы приложился к открытой раке святой 10 мая 1774 года, в ту самую минуту, когда кончался Людовик XV. Помню острое слово, сказанное кем-то возле меня, но которое

я не повторю, ибо не следует всего повторять!

Любуясь фасадом Лувра, я говорю себе: Людовик XIV страстно любил архитектуру, так как, несмотря на всю свою гордость, относился к кавалеру Бернини* как к монарху. Тем не менее чертежам Клода Перро*, хоть он и был по профессии врач, было, к счастью, отдано предпочтение. И над таким-то человеком стихоплет Буало имел дерзость издеваться!

О!—порой говорю я себе,—если бы Людовик XIV истратил на Париж четвертую часть того, что ему стоил Версаль,—Париж превратился бы в самый изумительный город в мире.

Всякий раз, когда я попадаю на улицу Трус-Ваш, я вспоминаю о том, как кардинал Лотарингский*, возвращаясь с Тридентского собора и желая устроить нечто вроде триумфального въезда в Париж, был изрядно побит Монморанси* и как перепуганное его высокопреосвященство спряталось в доме одного торговца, а затем залезло под кровать служанки и вышло оттуда, только когда этой особе настало время спать.

А колодезь Любви на улице Трюандри! Я смотрю на него с благоговением: это престол, возле которого любовники доброго старого времени клялись друг другу в верности; свою клятву они держали крепко.

На улице Сен-Тома-дю-Лувр находился отель Рамбуйе*, Палата Ума, в которой заседала мадемуазель Скюдери*. Здесь не затрагивали особенно глубоких вопросов, не касались ни политики, ни метафизики, ни тому

подобного; здесь велась легкая, остроумная беседа, преисполненная той галантности, которую сменила впоследствии холодная и молчаливая вежливость.

Шутливый Скаррон*, наследником которого явился строгий Людовик XIV, женившийся на его вдове (как говорят, опасной недотроге), жил на улице Тиссерандри.

На том месте, где позднее появилась статуя милостивого Генриха IV, был сожжен гроссмейстер тамплиэров*, и среди них это была далеко не единственная жертва. Жестокий Филипп Красивый остается в глазах потомства виновником этого ужасного злодеяния. Привилегии, которыми пользовались тамплиэры, их владения, самый их образ жизни, их стремление к независимости вооружили против них короля, и, чтобы уничтожить их, были придуманы мнимые преступления; все движимое имущество ордена было конфисковано в пользу графа Прованского. Какой ужас!

На старой улице Тамбль герцогом Бургундским был злодейски убит герцог Орлеанский, единственный брат Карла VI*, продолжавшего носить скипетр, несмотря на свое безумие.

Всякий раз, когда я прохожу мимо новой Хирургической школы, мне вспоминается, что вскрытие человеческого трупа считалось святотатством еще в начале царствования Франциска I*. А сколько с тех пор сделано открытий в области анатомии! И с какой быстротой эта сильно запоздавшая наука развивается и совершенствуется в наши дни!

А вот и Морг. Бежим скорее прочь от этого

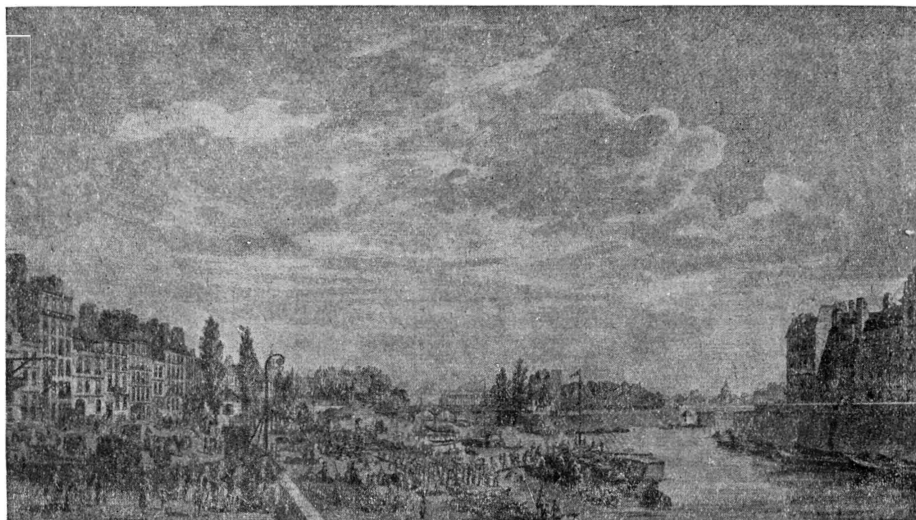
места! Это небольшой склеп, куда складывают трупы неизвестных лиц, чтобы их могли там найти и опознать. Чернь очень падка до этого ужасного зрелища, самого отталкивающего из всех, какие только можно себе представить.

Кто в наши дни поверит тому, что церковь Сен-Жак-де-ла-Бушри служила некогда убежищем злодеям! А между тем это истинная правда.

Я на Гревской площади*. Проходя здесь, нельзя не задуматься о нашем уголовном судопроизводстве, которое своей отсталостью представляет такой постыдный контраст со знаниями нашего времени.

Когда я попадаю на набережную Малаке или на набережную Четырех Наций, мне приходит на память разговор одного лодочника с Генрихом IV, которого он перевозил однажды в своей лодке. Не зная короля в лицо, он сказал ему, что плоды Вервенского мира* ему не очень-то по вкусу: *Теперь пошли налоги на все, даже на эту жалкую лодчонку, которую я еле-еле существую...—Но разве король,—возразил Генрих IV,—не собирается уничтожить все несправедливые налоги?—Король-то ничего себе—добрый малый, но у него есть любовница*, которой нужны красивые наряды и всякие там женские побрякушки. А платить за них приходится нам... Ничего еще, если бы она принадлежала ему одному, но говорят, она позволяет себя ласкать очень уж многим.* (Взято из *Очерков Парижа* Сен-Фуа*, т. III, стр. 278.)

Сейчас я стою перед Лувром, откуда Генрих III бежал от преследований герцога Гиза*,



Вид Парижа при Людовике XVI
С гравюры Берто по рисунку Л'Эспинаса

который, упустив его, тем самым упустил возможность возложить на свою голову корону и основать четвертую династию французских королей. При этой династии Франция приобрела бы, несомненно, совершенно другой облик; историки и историографы Франции не преминули бы... Но здесь речь не об этом; перейдемте к следующей главе.

179. Сент-Шапель

Взглянем теперь на часовню Сент-Шапель*, основанную Людовиком Святым и заменившую моленную Людовика Толстого.

Никола Буало-Депрео, так неосновательно очутившийся в ряду наших великих людей, похоронен в ней, как раз под воспетым им аналоем*.

Большие расписные окна, которым шестьсот с лишком лет и которые видела еще королева Бланш, любовница красивого кардинала, очень эффектны*. Они говорят о временах крестовых походов, и странные идеи, господствовавшие в то время, толпою встают в нашем воображении.

В те же самые годы император Балдуин*, нуждаясь в деньгах, заложил с чувством бесконечной печали реликвии своей часовни, а набожный Людовик*, французский король, обрадованный до глубины души, решил, что сделает великолепное приобретение, и купил за *два миллиона восемьсот тысяч* ливров кусочек креста, обломок копья, прободившего ребро Иисуса Христа, часть губки, которая была смо-

чена укусом, и осколок святого гроба. Потом он почти за такую же сумму выкупил терновый венец, который находился в закладе у венецианцев. Ничто не может сравниться с восторгом, который охватил короля, когда он сложил в раку все эти драгоценные приобретения.

В ночь на 10 мая 1575 года чья-то святотатственная рука похитила кусочек креста; какое горе! Приставили к дверям стражу, всех обыскали, устроили целую процессию, чтобы умолить небеса вернуть святыню. Но ни воров, ни украденного не нашли. Всюду говорили, что королева-мать, жадная до денег, продала святыню итальянцам, торговавшим тогда такими реликвиями по всей Европе.

Чтобы умерить народное горе, извлекли из сундука другой кусочек креста господня, но, увы, уступавший первому по длине, ширине и толщине. Его вделали в новый крест, точно такой же, как похищенный. Это тот самый крест, который выставлен в наши дни на поклонение верующим.

Череп Людовика Святого хранится в этой же церкви. Прежде он находился в ризнице церкви Сен-Дени*, но король Филипп Красивый добился у папы разрешения перенести череп и ребро Людовика Святого в парижскую часовню. Тем не менее, чтобы не слишком огорчить бенедиктинцев, горевавших об этой потере, в скровищнице Сен-Дени оставили нижнюю челюсть монарха.

Псаломщик носит на конце своего жезла древнее изображение императора Тита*, пере-

деланное в Людовика Святого ввиду некоторого сходства между ними.

Таким образом, император Тит ежедневно присутствует за богослужением в Сент-Шапеле, держа в одной руке маленький крестик, а в другой—терновый венец. Можно с уверенностью сказать, что этого он никак не ожидал!

В ночь с великого четверга на пятницу в часовне выставляют кусок подлинного креста господня. Все эпилептики, именуемые *одержимыми*, стекаются сюда толпой и всячески кривляются и извиваются, проходя мимо святыни. Их сдерживают; они ломаются, воют и таким способом собирают с прихожан порядочные деньги.

Власти терпят это нелепое зрелище, чтобы поддерживать в простом народе надежду на чудесное исцеление от болезней, считающихся неизлечимыми, а также для того, чтобы поддерживать в нем остаток веры.

Многие из мнимых одержимых, начинающие вопить только в полночь, как раз в ту минуту, когда извлекают из хранилища оружие истязаний спасителя, в эту ночь пользуются правом изливаться во всевозможных богохульствах, приписываемых наущению дьявола.

В 1777 году мне пришлось слышать самого отчаянного, самого невероятного богохульника этого рода. Вообразите себе всех вместе взятых ненавистников Христа и его божественной матери, вообразите всех нечестивцев, собранных вместе и воющих в один голос. И весь этот чудовищный хор все же будет далеко уступать в дерзости оскорбительному и неле-

тому святотатству этого человека. Для меня, как и для всех присутствовавших в церкви, было совершенно ново и в высшей степени странно видеть человека, который всенародно, громовым голосом посылает вызов богу, призывает его гнев, оскорбляет веру, изрыгает самые ужаснейшие поругания, причем все эти богохульства приписываются дьяволу.

Простой народ крестился, дрожа от страха, и, упав ниц, шептал: *Это говорит сам дьявол.* После того как одержимого силой заставили трижды пройти мимо креста (восемь человек с трудом сдерживали его), богохульства дошли до такой чудовищной, страшной силы, что его выставили из церкви как человека, навсегда преданного сатане и не заслуживающего исцеления от чудотворного креста. И подобное зрелище, такой уму непостижимый фарс имеет место в наши дни!

Я никогда не мог понять роли этого человека. Был ли это сумасшедший, маниак или просто нанятый актер? Все присутствовавшие при этом согласятся, что он зашел в своей роли очень далеко и что ничего более дикого нельзя себе представить. На следующий год великосветское общество снова собралось в этой церкви, чтобы присутствовать при вторичном представлении этой комедии, прославившейся благодаря рассказам очевидцев. Ждали великого *актера*, но он не явился. Полиция зажала ему рот; следовательно, умолк и дьявол. Явилось только несколько второстепенных эпизодиков, не стоящих того, чтобы их смотреть и слушать. Дьявол истощил, повидимому, в пре-

дыдущем году все свое красноречие; а надо со-
знать, что оно было весьма богато. Но можно
ли поверить, повторяю, что все это происходит
в Париже в восемнадцатом веке?! Почему? За-
чем? Каким образом? Я лично этого не знаю, и
думаю, что многие также затруднились бы на
это ответить.

180. Церковь святой Женевьевы*

Избави меня боже смеяться над святой Же-
невьевой*—древней покровительницей столицы.
Простой народ приходит сюда, чтобы потерять
простыни и рубашки о раку святой, испросить
у нее исцеления от всевозможных лихорадок
и выпить по этому случаю грязной воды из ис-
точника, славящегося чудотворной силой. А
городские чиновники, парламент и прочие госу-
дарственные учреждения приходят сюда молить
святую Женевьеву о дожде в дни засухи, об
исцелении принцев. Когда же последние нахо-
дятся при смерти, раку святой постепенно открыва-
ют, точно для того, чтобы заключающаяся
в ней благотворная сила излилась из нее в том
или ином количестве—смотря по степени опас-
ности. Когда же опасность доходит до предела,
раку совершенно открывают.

Избави меня боже смеяться над славным
народом, который поворачивается спиной к
алтарю, чтобы повергнуться ниц перед святой
пастушкой! В первую минуту невольно хочется
улыбнуться, но когда я замечаю на лицах
молящихся выражение горячей надежды, пыла-
ющей в их сердцах, когда я читаю в их гла-
зах чувство любви, которым они проник-

нуты, и воодушевляющую их веру, их ожидания,—я упрекаю себя в том, что не разделяю этих утешительных чувств. Разум и философия не дают человеку ничего взамен этих глубоких и благодатных иллюзий...

Да, вот башмачник горит любовью к святой Женевьеве, обращается к ней со своими горестями, призывает ее в дни несчастья и переживает восторги самой глубокой любви. Как хотелось бы мне, подобно ему, испытывать около раки святой такой же глубокий, сладостный восторг!

Я знаю, что нигде я не увижу такого счастливого сияния на лицах людей, находящихся вблизи предмета своей привязанности. Я видел здесь слезы, слышал рыдания и вздохи, взволновавшие меня до глубины души, и с этих пор я стал уважать этот культ, приспособленный для ограниченного ума простолюдина и приноровленный, быть может, еще больше к его тяжкой доле. Он молится горячо, молится всеми силами души; сердце его смягчается и тает, в то время как душа философа остается нередко сухой и бесплодной даже тогда, когда он стремится к более высокому, более совершенному поклонению. Я вернусь к подножью раки святой Женевьевы, стану на колени среди верующих и буду чтить и их веру и их упования!

Я видел, как одна женщина передала три рубашки высокому широкоплечему ирландцу, который с помощью тяжелого длинного шеста коснулся ими до раки святой, стоящей очень высоко. Когда рубашки достаточно потерлись о стенку раки, ирландец спустил их, но женщина стала утверждать, что средняя из

них не коснулась рака и не могла поэтому получить от нее чудотворную силу. Она заставила снова поднять эту рубашку на конце песта. На этот раз прикосновение продолжалось значительно дольше, и женщина осталась вполне удовлетворенной. Она опустила в ближайшую кружку несколько монет для бедных, но ирландец заявил, что она должна была положить эти деньги на тарелку, а не опускать их в кружку. Он, видно, сожалел о затраченном им двойном труде. Однако женщина унесла рубашки, не обращая внимания на его ворчанье, и проговорила, уходя: *Вот теперь они по-настоящему приложились к стенке раки—могу этим похвастаться.*

Любопытно читать записочки, привешенные к колоннам около раки. Вот что я прочел, подойдя к ним:

Поручается вашим молитвам молодая женщина, окруженная соблазнительями и готовая пасть.

Поручается вашим молитвам юноша, завязавший дурное знакомство и не ночующий дома.

Поручается вашим молитвам человек, которому угрожает вечное проклятие и который читает философские книги.

В настоящее время строят великолепную церковь, где эта рака будет помещена под исключительным по роскоши куполом, стоимостью от двенадцати до пятнадцати миллионов. Какая колоссальная и ненужная трата денег, которые можно было бы употребить на облегчение общественных нужд! Какой храм можно воздвигнуть тому, кому, как гово-

рится в священном писании, *ризой служит небо, а подножием—земля!* Любопытные придут любоваться на архитектуру, а народ—на святую. Эту церковь строят уже тридцать лет. Останки Декарта покоятся в старом храме с соответствующей эпитафией; перенесут ли их в новый*, чтобы положить неподалеку от чудотворной раки? Какое соединение! Святая Женеви́ева рядом с Декартом! Они беседуют друг с другом на том свете. Что говорят они об этом? Но у скромного Декарта нет раки...

181. Иезуитская обитель

О, изменчивость! О, превратности человеческого существования! Кто бы мог сказать, что франкмасонские ложи* расположатся на улице По-де-Фер, в иезуитской обители, в тех самых залах, где велись богословские споры; что *Великий восток* заменит собой *общество Иисуса**; что философская ложа *Девяти сестер* будет помещаться в молельне духовных детей Лойолы*; что г-н де-Вольтер* будет в 1778 году принят в франкмасонскую ложу*; что г-н де-Ла-Диксмери* посвятит ему следующие удачные стихи:

При имени одном сего собрата
В душе масона зреет торжество.
Пусть нашим светом мысль его богата,
Пусть мир приемлет свет наш от него,

что здесь будет произнесено надгробное слово о нем и, наконец, что его апофеоз будет воспет с наибольшей пышностью в том самом месте, где прежде взывали к святому Франсуа-Ксавье*.

О, потрясение! Достопочтенный мастер, занимающий место отца Гриффе*! Масонские таинства вместо... Не смею договорить... Всякий раз, когда я нахожусь под этими сводами, недоступными грубым солнечным лучам, когда меня опоясывает священный фартук, — мне кажется, что я вижу, как блуждают вокруг меня тени иезуитов, бросающие на меня полные злобы и отчаяния взгляды. Я видел, как входил сюда брат Вольтер, входил под бряцание инструментов в ту самую залу, где он столько раз предавался церковной анафеме. Такова была воля *великого архитектора* мира. Вольтера восхваляли за то, что он в течение шестидесяти лет боролся против фанатизма и суеверия, так как именно он нанес смертельный удар чудовищу, которое другие только ранили*. Чудовище живет со стрелой во чреве и сможет так прожить еще некоторое время, изливая на всех последние остатки своего бессильного бешенства; но скоро ему предстоит окончательно пасть и порадовать своим падением весь мир.

О иезуиты! Предугадывали ли вы все это, когда отец Ла-Шез* опутывал сетями искусной лжи своего царственного исповедника, между тем как другие представители вашего ордена внушали ему варварскую нетерпимость и низкие, мелочные мысли, посягающие на свободу и достоинство человека? Вы были упрямыми врагами благодетельного света философии, и философы теперь радуются в ваших прежних покаях вашему предстоящему падению! Франкмасоны, опираясь на милосердие, терпимость, благотворительность, будут существовать еще

тогда, когда ваши имена сделаются символами чудовищного эгоизма и безжалостного гонения.

182. По соседству с Крытым Рынком

Возле Крытого Рынка еще существует дом, где родился Мольер*—поэт, являющийся нашей гордостью. Тут тянется длинный ряд лавок старьевщиков, торгующих подержанным платьем в плохо освещенных помещениях, так что пятна и полинявшие краски материй становятся совершенно невидимыми.

Покупатель уверен, что купил черное платье, но как только он выйдет на свет,—оказывается, что оно зеленое или лиловое и покрыто пятнами, как шкура леопарда.

Бездельники-приказчики неучтиво зазывают вас к себе, а если одному из них удастся вас заманить, то все остальные начинают преследовать вас по пути своими надоедливими приглашениями. Их жены, дочери, служанки, собаки— все орут вам в уши; поднимается оглушительный визг и крик, продолжающийся до тех пор, пока вы не исчезнете у них из виду.

Случается, что эти плуты хватают почтенного прохожего за руки или за плечи и насильно вталкивают в лавку, и такие непристойные шутки служат им приятным времяпрепровождением. Иногда бываешь вынужден наказывать их за дерзость несколькими ударами трости; но они неисправимы.

В этих лавках можно найти также и все необходимое, чтобы обставить дом с чердака

до подвала: кровати, шкапы, стулья, столы и прочее. Если сегодня в Париж прибудет пятьдесят тысяч человек,—они завтра же получат пятьдесят тысяч коек.

Жены этих старьевщиков, их сестры, тетки и кузины отправляются по понедельникам на особую ярмарку, называемую ярмаркой *Святого духа* и помещающуюся на Гревской площади. В этот день не бывает казней, и они раскладывают там свои товары: всё, относящееся к женскому и детскому платью.

Представительницы мелкой буржуазии, жены стряпчих и все особо бережливые хозяйки приходят сюда за шляпами, платьями, сукнами, даже за готовой обувью, а полицейские подкарауливают тут воров, проходящих продавать краденые платки, салфетки и другие вещи. Здесь их ловят, равно как и тех, которые занимаются воровством на самом рынке; как видно, площадь не наводит их на мудрые размышления*.

Создается впечатление, что на этой ярмарке собраны поношенные женские вещи целой провинции или что это добыча от захваченной в плен армии амазонок*: всевозможные *юбки*, *кринолины*, *дезабилы* навалены здесь целыми грудами.

Вот платье покойной президентши,—его покупает жена стряпчего; юная гризетка приобретает себе чепчик горничной маркизы. Примеряют эти вещи на глазах у всех; скоро дело дойдет до публичной примерки рубашек.

Покупательница не задумывается над тем, откуда взялся корсет, который она торгует; и невинная бедная девушка на глазах матери

облачается в корсет, в котором танцевала накануне развратная оперная танцовщица. Все кажется очищенным атмосферой купли-продажи.

Так как и покупательницами и продавщицами являются здесь женщины, то хитрость с обеих сторон почти одинакова. Уже издали слышатся резкие, пронзительные, грубые голоса кричащих и ссорящихся женщин. Вблизи сцена еще любопытнее. Когда представительницы пола, который здесь никак нельзя назвать *прекрасным*, разглядывают предметы женского туалета, на их лицах появляется совершенно особенное выражение.

Вечером вся эта груда пожитков, весь этот скарб исчезает точно по волшебству: не остается ни единой накидки; а в следующий понедельник неистощимый склад опять выставляет свой товар.

183. Улица Тиршап

Выйдя из Крытого Рынка, вы попадаете на улицу Тиршап, милую сердцу каждого скряги. «Почему?»—спросят меня. Потому что он там составляет себе костюм, подобно тому как современный писатель создает трагедию из набранных отовсюду кусочков и лоскутков.

Скупой входит в узкую улицу, где развешены тысячи отрезков материи всевозможных цветов, размеров и кроек, и, путешествуя из лавки в лавку, находит наконец нужную ему ткань. Изошренный скупец узнает ее с первого взгляда. Глаз его не обманет; он знает, сколько кусочков требуется на платье, фасон



Судья, или разбитая кружка
С гравюры Ле-Во по рисунку Дебюкура

которого запечатлен у него в голове. Он поучает удивленного и недовольного портного и выдает ему и материи и подкладки ровно столько, сколько нужно: ни клочка лишнего. Какая точность! Какая аккуратность! Портной молчит, но удивлен и, видя перед собой человека бывалого, довольствуется одной платой за работу.

Кажется, будто на этой улице живут одни евреи, настолько жители ее грязны и скучены. И та же жадность во взглядах, та же вкрадчивость в речах! Лавки полным-полны; непонятно, где спят обитатели этих домов, внутренние перегородки которых образуются кучами товаров, возвышающимися до самых потолков. Развешенные ткани служат занавесками, и все спят погребенные под лоскутьями. Приходится зажигать сальную свечу, чтобы пообедать там в полдень, а чтобы разглядеть цвет какого-нибудь лоскута, приходится подносить его к самому окну, стекла которого покрыты грязью не зря.

Этот еврейский люд богат. Он с утра до вечера разрезает куски шелковых и бумажных материй и создает деньги из того, что другие сочли бы пригодным лишь для корзины тряпичника.

184. Тряпичник

Простят ли мне, что я произнес это неблагозвучное слово? Знаете ли вы человека, который с помощью крюка подбирает все, что падается в уличной грязи, и складывает в свою

корзину? Не отворачивайтесь; не нужно ни спеси, ни ложной изнеженности!

Эти презренные тряпки—сырье, которое превратится в украшение наших библиотек, в драгоценные сокровища человеческого ума. Этот тряпичник является предшественником Монтескье, Бюффона и Руссо.

Если бы не его крюк, настоящее мое сочинение не существовало бы для вас, читатель. В этом не было бы большой беды,—согласен; но у вас тогда вообще не было бы никаких книг; ему вы обязаны материалом, идущим на производство бумаги, происхождение которой кажется столь низким. Все это тряпье, превращенное в месиво, послужит к сохранению и пламени красноречия, и возвышенных мыслей, и великодушных проявлений добродетели, и самых достопамятных подвигов патриотизма.

Все летучие мысли будут запечатлены с такой же быстротой, с какой они были зарожжены. Все образы, зачерченные в сознании, будут закреплены, отпечатаны, наклеены, и, вопреки природе, заставляющей гениального человека умирать, его труды будут отныне принадлежать всему миру и погибнут только вместе с ним.

Честь же и слава тряпичнику!

185. Улица Юшетт

На этой улице 7 февраля 1767 года обвалился четырехэтажный дом, сверху донизу заселенный жильцами. Среди развалин был найден шестилетний ребенок, над головой которого две

балки скрестились так удачно, что спасли его от верной смерти; он даже не получил ни малейшего ушиба.

Турки, сопровождавшие последнего посла Оттоманской империи, не нашли во всем Париже ничего лучшего улицы Юшетт, пленившей их съестными лавками, торгующими жарким, и аппетитным запахом, исходящим от этих яств. Говорят, что каменщики приходят сюда есть свой черствый хлеб, вдыхая питательный запах*.

Во всякое время дня там можно найти жареную дичь. Очаг там всегда пылает, и вечный вертел, похожий на колесо Иксиона*, вертится беспрестанно. Большую печь перестают топить только во время поста. Если бы когда-нибудь пожар вспыхнул на этой улице, столь опасной в этом отношении из-за старых деревянных построек, то потушить огонь было бы совершенно невозможно.

186. Гро-Кайу

Этот квартал, где так много кабачков, находится на берегу реки, под *Инвалидами*. Здесь лакомятся *мателотом*—блюдом, являющимся излюбленным объектом всех заключаемых парижанами пари. Хорошо приготовленный мателот стоит целый луддор; но это действительно восхитительное кушанье. Самые знаменитые повара пасуют перед матросами, умеющими готовить эту смесь из карпа, угря и пицкаря; они уступают в этих случаях свое место

тем, чьи грубые руки привыкли работать веслами. Повара могут ревновать, сколько им вздувается; им предоставляют готовить все кушанья, за исключением одного мателота. Этого требуют лакомки и знатоки.

В начале войны хотели построить на Гро-Кайу фрегат, чтобы дать парижанам понятие о наших морских походах. Народ, восхищенный новизной такого зрелища, спешил, разиня рот, к берегу реки, воображая уже, что Сена может соперничать с Темзой и готова даже слиться с ней! Целая флотилия должна была отплыть от этих мирных берегов в открытый океан и перейти из пресных вод в соленые.

Все это было смехотворно: доверчивые парижане уже воображали англичан побежденными и униженными. Доски, из которых была сколочена внушительная верфь, были выкрашены, и за два су любопытным показывали стоявшие на песке пушки, которые должны были заставить уважать французский флаг. Но ручей, разлившийся ночью, снес фрегат, а с ним вместе и горделивые надежды судовладельцев!

Не представляет ли это в миниатюре точный образец наших больших и бесполезных морских операций?

187. Сите*

Это самый первый, самый древний квартал Парижа. Он представляет собой остров, имеющий в длину всего пятьсот туазов*. В этой старинной части города находится собор*, дом

архиепископа, Отель-Дьё, Воспитательный дом, дворец и около двадцати церквей. Господствующим ремеслом здесь является ювелирное дело. Все золото Перу стекается к площади Дофина, так как ни один народ в мире не отделяет этот металл с таким вкусом, как парижане. Совершенство парижской чеканки и гильюшировки заставляет драгоценности всей Европы проходить через руки парижских мастеров.

На набережной Золотых Дел Мастера красуются целый ряд магазинов, сверкающих серебром; это зрелище поражает всех иностранцев.

Париж был создан не в один день—говорит пословица, и справедливость этих слов доказывает Сите. Здесь убеждаешься собственными глазами в том, что этот город образовался случайно, благодаря произвольному скоплению множества домов.

Каждый домовладелец, выбирая себе место, сообразовался прежде всего с находящимися поблизости общественными зданиями, храмами, площадями; никто не задумывался о правильной прокладке улиц, другими словами — о будущем расширении города; отсюда все эти тесные площади, углы, закоулки, тупики. Вот почему этот старинный квартал производит неприятное впечатление своими маленькими придавленными домами; экипажи с трудом могут повернуть в некоторых улицах, и нужно быть очень искусным кучером, чтобы выйти из затруднения. Наличие нескольких больших зданий еще резче подчеркивает ничтожество остальных.

В новых же кварталах, наоборот, все прямолинейно; нет тесных площадей, нет узких пе-

реквестков; они широки и правильны; там работают на широкую ногу, как и полагается мировому городу, который постепенно сделался главной пружиной, центром и сердцем королевства, откуда исходят и где отражаются все движения государства.

188. Остров Людовика Святого

Когда-то этот остров был разделен надвое узким рукавом реки. Позднее оба острова были соединены в один. Этому кварталу словно удалось избежать городской испорченности, она словно еще не успела проникнуть туда. Ни одна распутница не найдет себе здесь пристанища, так как едва узнают, кто она такая, немедленно отошлют ее подальше. Представители буржуазии строго следят друг за другом; нравы частных лиц здесь всем известны, и каждая согрешившая девушка становится предметом осуждения; в этом квартале ей никогда уже не найти себе мужа. Ничто так хорошо не напоминает третьестепенный провинциальный городишко, как этот островной квартал, и вполне справедливы слова:

Житель Болота на этом острове — чужой.*

Попасть на остров можно через три моста. На одном из них—на мосту Пон-Мари—было построено пятьдесят совершенно одинаковых домов, шириной в четыре туаза каждый. Разлив Сены, повторяю, снес 1 марта 1658 года две арки моста и двадцать два дома. Это—новое предостережение жителям домов, построенных

на мостах и пока что пощаженных наводнениями.

189. Грунт некоторых кварталов столицы

Несколько обвалов, имевших место в окрестностях Парижа, и в особенности обвал у заставы Ада, случившийся лет семь тому назад, принудили правительство обратить внимание на каменоломни. Сначала работы в этой области были поручены финансовому бюро, ведающему благоустройством города.

В июне 1777 года эти работы были переданы Королевскому строительному управлению. Работы по-настоящему еще не начались, как в том же июне месяце во дворе одного из домов на улице Ада, около Люксембургского сада, провалились службы.

Дом был отремонтирован, и была отпущена незначительная сумма для обследования причин обвала, а 27 июля 1778 года в другом месте семь человек были погребены под развалинами гипсового карьера вблизи Монмартра.

Этот несчастный случай опять привлек внимание правительства. Были осмотрены шахты, высота которых местами достигает двадцати четырех футов, и оказалось, что упоры сделаны из весьма непрочного камня и что над шахтами расположены холмы вышиной приблизительно в восемьдесят футов; все это предвещало близкую катастрофу. Одновременно в окрестностях Бельвиля почти ежедневно происходили страшные обвалы, погубившие не мало несчастных рабочих. Диаметр этих каменоломен был

еще больше, чем диаметр каменоломен в Мениль-Монтане; высота их доходила до семидесяти футов.

Чтобы положить конец всем этим бедам, был издан указ, воспрещавший рыть новые каменоломни, и было решено уничтожить уже существующие.

Опасность была неминуема. Быть может, нужно благодарить судьбу за этот первый несчастный случай, так как он побудил к деятельной помощи и дал возможность избежать более серьезных бедствий.

Страшные пропасти этих каменоломен были засыпаны. Разбивая при помощи мин столбы, завалили пустоты камнями и землей. Подрывное дело в руках г-на Вандермака являло новое и занимательное зрелище. Можно было наблюдать, как значительный по величине холм склонялся и, выражаясь языком простонародья, *делал глубокий реверанс*. Около сорока каменных столбов было разбито одним взрывом.

Париж весь окружен каменоломнями, так как невозможно было построить столько зданий, не добывая камня из недр земли. Существуют значительные подкопы под многими улицами Парижа и его предместий в стороне Шайо, Пасси и старой Орлеанской дороги.

Желая взглянуть на эти покинутые каменоломни, я отправился туда, спустившись через подвалы обсерватории.

В прежние времена какой-нибудь хвостун-привратник заставлял вас странствовать по некоему лабиринту, не выходявшему за пределы здания обсерватории, и уверял при этом, что

вы находитесь под той или иной улицей. В тех же местах, где образовались сталактиты, он заявлял доверчивым парижанам: *Сейчас вы находитесь под Сенной*. Своим наглым враньем он зарабатывал деньги, и не мало иностранцев было убеждено, что они путешествовали под рекой, в то время как в действительности они не выходили из-под подвалов обсерватории.

В глубине этих подвалов были прорыты ходы в каменоломни; через один из них я и проник в длинные и просторные подземелья, где пробродил около трех часов.

Это целый подземный город, с улицами, перекрестками и площадями неправильной формы. Вы смотрите на потолок; он то высок, то низок, но когда вы видите на нем трещины и вспоминаете о том, как укреплена почва этого великолепного города, вы невольно содрогаетесь, представляя себе, что может натворить центростремительная сила.

Глубокие впадины, полуразрушенные своды, трещины, пока еще не дошедшие до поверхности земли, провалы, столбы, осевшие под давящей их тяжестью и грозящие падением; шахты, проложенные друг над другом,—какое зрелище! И люди едят, пьют, спят в зданиях, выстроенных на столь ненадежной земной коре!

Опасность, правда, с каждым днем уменьшается, так как власти приняли самые мудрые меры, чтоб пресечь это зло. Сразу укрепить и подпереть целое предместье, разумеется, было немислимо; принялись за самое неотложное: укрепили улицы, а теперь перейдут и к владениям частных лиц.

Вначале действовали наугад, вбивая сваи всюду, где только находили пустоты, и под полями и под садами; а на месте обвала ровно ничего не делали, даже если он произошел под улицей; от него отворачивались, не имея возможности исправить, и всякий раз, когда наталкивались на груды развалин, мешавших продолжению исследования в данном направлении, поворачивали назад. Вот почему затрачивали много денег, не предотвращая опасности.

Но с тех пор, как работы поручены Королевскому строительному управлению, все пошло иначе. Прежде всего было обращено внимание на улицы и дороги, и чем большая опасность им угрожает, тем больше о них заботятся. Теперь прямо пробираются через обвалы, следуя по направлению улиц; это делается не только с целью познакомиться с главным очагом зла, но и для того, чтобы иметь представление о его размерах и исправить его вполне надежно. Благодаря этому способу было сделано много открытий, путь к которым преграждали обвалы.

Так же поступают и с оставшимися в земле каменными породами: проходят прямо сквозь них, не заботясь об улицах. Образующие при этом отверстия обладают двойным преимуществом: во-первых, они не вводят администрацию в расходы, которые были бы неизбежны, если бы пришлось обходить эти массивы и затем отыскивать позади них направление улиц, а во-вторых, камень, извлеченный из этих проходов, идет на постройку свай там, где это требуется. Трудно даже представить себе, как много благо-

даря этому способу удалось открыть опасных пунктов, которые иначе обнаружались бы только после несчастного случая.

В старину двести частных лиц занимались разработкой почвы. Каждый из них впоследствии заделал вход в свою каменоломню. Многие каменоломни были со временем соединены; в некоторых еще остался камень. В первый год работ наличие камня считали признаком того, что шахта не была разработана, но опыт доказал ошибочность такого взгляда, и теперь принята система двух галлерей, которые прокладываются через каменные глыбы и скважины по обеим сторонам улицы. Эти галлерей идут вдоль домов; они укреплены сваями, вбиваемыми справа и слева, причем некоторые сваи помещаются под стенами фасадов, выходящих на улицу. Таким путем будут пройдены все улицы; и владельцы узнают, в каком состоянии находится почва под их домами; правительство намерено заставить в дальнейшем каждого владельца в случае грозящей опасности производить все необходимые починки за свой счет.

Правда, эти работы идут полным ходом только в предместье Сен-Жак, и не установлено еще, в каком положении находятся другие кварталы. Но раскопки производятся: роют галлерей, постепенно продвигаются вперед и, следуя по прямой линии, отдают себе ясный отчет в положении вещей.

Всем кварталам, находящимся вблизи реки, опасность обвалов, повидимому, не грозит. Предместьям Монмартр и Сент-Оноре нечего опасаться, но в Пасси, Шайо и в окрестности

церкви святой Женевьевы каменоломен очень много.

Мы не намерены внушать неуместные страхи, но хотим только в качестве правдивого историка рассказать то, что видели. Ни один дом еще не пошатнулся, если не считать конюшни на улице Ада. Говоря о зле, мы указываем в то же время и средство от него избавиться. Бдительная администрация приняла все меры, способные успокоить напуганные умы.

Было бы неуместно умалчивать о том, что уже всем известно. Человека повсюду окружают опасности; но из них наименее вероятна та, которую раздувают в иностранных брошюрах, а именно—что Париж готов провалиться в месте со всеми жителями в бездонную пропасть.

Это—один из тех образов, которые любит описательная поэзия; но это не мешает ему в то же время быть неверным, преувеличенным и противоречащим действительному положению вещей. Мы сделали все возможное, чтобы точно узнать степень опасности, и не говорим, что ее вовсе не существует,—мы говорим только, что она невелика и уж для настоящего-то поколения во всяком случае.

190. То, что я видел, и то, чего не видал

Я не видел дьякона, канонизированного в 1720 году, который, по отзыву одних, творил чудеса и которого другие всячески проклинали; но я видел приверженцев Янсения* и учеников Молины*, спорящих о благодати

действительной и благодати *достаточной**, и спорящих с таким ожесточением, которое вся сила насмешки, находящаяся в распоряжении Аристофана*, Лукиана* и Свифта*, не могла бы пресечь.

Но вскоре все эти аббаты, препирающиеся в качестве великих богословов, превратились в любезных щеголей, которые принимают тонзуру ради выгоды, весело проводят время в обществе, с самым безмятежным видом проживают церковные доходы и считают своим единственным главой того епископа, в руках которого находятся списки бенефиций.

Если бы кто-нибудь при виде их вздумал сказать: «Все эти господа в брызжжах, сочиняющие куплеты, бренчащие на гитаре, напевающие шансонетки, живут *симонией*», то дамы сначала непременно спросили бы, что означает это страшное слово, а затем сказали бы: «Как! Значит, когда мы с господином таким-то, давнишним распорядителем этой бенефиции, договорились относительно пособия молодому настоятелю монастыря, — настоятелю с таким нежным цветом лица, — мы участвовали в *симонии*?! Ах, как это забавно!»

Я видел *исступленных фанатиков*, и в какое время! При жизни Фонтенеля, Монтескьё, Вольтера, Жан-Жака Руссо, аббата Реналя*, Д'Аламбера; они исступленно бесновались, в то время как эти мудрецы держали перо в руках!

Я не видел, как Людовик XIV незадолго до смерти продал на тридцать два миллиона ассигнаций или кредитных билетов, а получил за них восемь миллионов, другими словами — отдал

четыреста облигациями, чтобы иметь сто серебром. Но я видел, как правительство приглашало подданных сдавать серебряную посуду на монетный двор, что было равносильно тому, чтобы открыто признаться Европе в своем безвыходном положении. Можно прочесть на объявлении, приложенном к *Меркюр де-Франс*, что некий башмачник в качестве щедрого гражданина сдал для облегчения нужд государства свою серебряную чашку, дабы ее превратили в несколько монет.

Я не видел, как кардинал Флэри* подписывал шестьдесят тысяч *приказов об аресте* за папскую буллу; но я видел, как дерево иезуитов было подрезано под самый корень и постепенно стерто с лица земли, которую оно покрывало своими гибкими извилистыми ветвями. Ненависть к иезуитам сейчас, повидимому, притупилась и прощает чадам Лойолы. В наши дни они пускают корни в Белоруссии*. Прусский король и русская императрица принимают их, несмотря на то, что им обоим хорошо известны и их образ действий и их принципы.

Я не видел, как шарлатанство Ло вызвало конвульсии алчности во всем королевстве и изменило самый дух французского народа, но я видел, как доктрина г-на *Кене** привела к голоду, в то время как жадные люди, стоявшие во главе коммерции, равнодушно смотрели на гибель множества поденщиков и чернорабочих.

Я не видел Франции в эпоху расцвета сил и жизнерадостности, непосредственно после битвы при Фонтенуа*; но я видел некую ребяческую междоусобную войну двора с чи-

новничеством*. Я дважды видел роспуск парламента; эта мелочная и смешная борьба оттолкнула от трона больше сердец, чем все прочие бедствия.

Я не видел кровавых столкновений из-за императорского наследства*; но я видел две войны*, плохо задуманных, плохо руководимых и доказывающих, что мы не сознаем наших действительных политических интересов и еще долго не будем их сознавать.

Я не видел городской ратуши запертой; не видел прекращения выплаты рент, но я видел министра, кравшего деньги, лежавшие не в королевских сундуках, взломавшего сундуки своих соседей и совершавшего проделки в духе Картуша. Кто мог бы этому поверить?! И его считали еще за ловкого человека, тогда как в действительности никогда не существовало менее способного и более наглого. Он едва не погубил навсегда доверия, которым еще пользуется монарх.

Я видел спесь и педантизм экономистов, этих агроманов, кичащихся своими воображаемыми открытиями и провозглашающих всемирное обновление, не заботясь о создании политических законов. Их нелепая напыщенность, их жесткий и многословный стиль не способствовали прославлению их *учителя**. Он был виновником вздорожания зерна благодаря ошибочным, торопливым и преждевременным теориям, которые навязал министру. А этот последний, довольный тем, что может свалить общее бедствие на партию, которую собирался вскоре покинуть, предоставив ее насмешкам,

думал лишь о деньгах, которые он на этом зарабатывает.

Я видел, как энциклопедисты не признавали ни заслуг, ни талантов, ни даже ума ни у кого, кроме людей своей партии, и вскоре возымели желание судить о всех искусствах, даже наименее доступных их пониманию. Этим они самих себя подвергли насмешкам. Говорили, что своим желанием прослыть умнее всех они доказали свою глупость. Над ними смеялись, и хорошо делали!

Я не видел гражданских войн, так как они свойственны только нациям, обладающим сильным темпераментом, но я видел два восстания *школьников*: одно из-за детей, подлежащих аресту, и детей, не подлежащих таковому¹, и другое, имевшее целью, как говорят, *заставить монарха отрешить от должности министра, безусловно честного человека*. Во время первого восстания был убит полицейский унтер-офицер; во время второго разграбили булочные и весьма некстати повесили двух мужчин (первых встречных), когда уже все было спокойно и тихо. Холодная, ни к чему ненужная жестокость! Подробный рассказ о *причинах* этого события—дело истории.

¹ Полицейским было дано распоряжение задерживать бродяжничающих и подбирающихся детей; они захватили нескольких детей из мелкобуржуазных семей, чтобы получить от родителей выкуп. В то же время существовали так называемые *кутузки*, то есть укромные места, куда вербовщики солдат заманивали молодых людей и выпускали их лишь после того, как они подпишут навязанное им обязательство. Теперь это гнусное злоупотребление пресечено.

Я видел, наконец, как смерть короля, которого раньше обожали, не вызвала ни одной слезы. Неужели же это был тот самый народ, который так увлекался своим монархом и наполнял своды церквей рыданиями и стонами, молясь о его выздоровлении, когда он болел в Меце*?! Что сделал этот король, чтобы заслужить такое поклонение и восторги? Чем провинился он, чтобы вызвать потом совершенно противоположные чувства? Что представлял собой этот человек, которого то обожали, то карали полнейшим равнодушием? Что он собой представлял? Сейчас я на это отвечу.

Можно описать нацию, народ, сословие, собрание; можно дать картину различных интересов, волнующих государства; можно догадаться о пружинах,двигающих политику Европы; подобные описания и картины требуют мощной, смелой, широкой кисти, которая всецело в нашем распоряжении, и наши описания, наши картины будут правдивы. Но кто обладает достаточно тонким инструментом, достаточно острым взглядом, чтобы исследовать глубины человеческого сердца, разложить его и описать?

Я видел, как тщательно, в продолжение целых тридцати лет изучали характер короля, о котором я сейчас говорю, и, в конце концов, до сих пор его себе не уяснили. А между тем кто другой был до такой степени у всех на виду?

Я не буду говорить обо *всем*, что видел: в правдивости истории обычно сомневаются, когда она говорит о тех или иных крупных недо-

четах правительства. Все такие факты считаются преувеличенными или сказочными. Приходится ждать появления нескольких авторитетов, которые могли бы поддержать историка и придать ему смелость изобразить то, что было в действительности. Поэтому я не отважусь рисовать здесь картину, которая может показаться вымышленной. Я не видел Домициана*, собирающего сенаторов для того, чтобы обсудить, под каким соусом лучше подать громадный тюрбо; но, без сомнения, он не так уж изумил тогда сенаторов, как мы воображаем. Мы, в свою очередь, видали вещи не менее изумительные, но не обратили на них особого внимания, и т. д., и т. д.

Во всяком случае, одни утверждают, что Франция обладает достаточным количеством звонкой монеты, чтобы ее могло хватить на все операции; другие же, наоборот, говорят, что звонкой монеты во Франции недостаточно для того, чтобы она могла поставить свои финансы на один уровень с английскими; что ее финансы в худшем состоянии, чем в других государствах; что голландец в пять раз богаче француза и что до тех пор, пока у нас не будет свободно обращающихся ассигнаций, у нас не будет и преимуществ, которыми мы должны бы пользоваться.

И наконец, я хочу сейчас похвалить политику тех государств, которые присоединяют к реальным финансам искусственные. Товарное обращение в таких странах усиливается, и, благодаря банку, становится известным денежный фонд страны,—осведомленность, которой

нам не хватает и которая была бы очень полезна нашему правительству, так как дала бы ему возможность знать свои возможности и ресурсы.

Вот вопросы, которые живо обсуждаются в то время, когда я все это пишу. Во что они выльются теперь, когда общественное мнение начинает превращаться в закон? Не знаю. Будет ли основан королевский банк в результате всех займов и именно вследствие этих займов, как это сделано в Англии? Но в Англии ответственно все государство. Сделаются ли, смогут ли сделаться французские граждане такими же? Я знаю только, что существует большая разница между этими серьезными спорами и спорами о сравнительном достоинстве двух сокетов, которые занимали город каких-нибудь сто лет назад.

191. Любовь к чудесному

В Лондоне некий человек объявил, что в такой-то день, в такой-то час на глазах всего народа он влезет в бутылку. Что же заставило всех заинтересоваться таким нелепым заявлением и дорого заплатить за места? Нельзя обвинять англичан в невежественной доверчивости, но любовь к чудесному повлияла и на этот народ так же точно, как это случилось бы в Париже, Мадриде или Вене. Каждый говорил себе: не может быть, чтобы человек захотел всех обмануть, раз он так торжественно обращается к публике, раз все афиши, расклеенные по стенам домов, гласят о его изумительном фо-

кусе. Когда он предстанет перед многочисленным и почтенным собранием, мнением которого нельзя безнаказанно пренебрегать, тогда, несомненно, произойдет нечто из ряда вон выходящее, чего заранее предугадать нельзя. Если бы этот шарлатан стал говорить каждому гражданину в отдельности: *Придите ко мне, и я при вас влезу в бутылку*,—всякий рассмеялся бы ему в лицо. Но напечатанные и расклеенные афиши, нахальные уверения фокусника, соучастие многочисленной публики, деньги, затраченные на билеты, толпа, реклама заставляют каждого в глубине души сказать себе: *Невозможно же, чтобы он до такой степени издевался над почтенной публикой!* Таков народ; он не допускает, что его могут обманывать в целом. Мысль о возможном побеге этого человека с деньгами любопытных и о покинутой на сцене пустой бутылке никому не пришла в голову. Самоуверенным обещаниям народ всегда верит, особенно когда дело касается денег. Сколько их было дано взаймы во Франции за последнее столетие!

Позже один подобный же кудесник, не думая о том и сам того не желая, увлек весь Париж, и если бы не полиция, из него сразу же сделали бы бога¹. Затем один ребенок заявил, что видит

¹ В 1772 году, если не ошибаюсь, на улице Ножниц, тридцать тысяч человек говорило: *Это пророк, он исцеляет прикосновением*. На улице постоянно стояли толпы калек, нищих и т. п. Это было безумие, но особенностью его было то, что оно носило спокойный, доверчивый, безмятежный характер. Не было ни шума, ни беспорядка, столь свойственных народным волнениям. Глубокая уверенность сделала всех умеренными. К



Шарлатан на площади Лувра

С гравюры неизвестного мастера по рисунку Дюпlessи-Берто

все, что находится под землей; и академики и журналисты ему поверили и заявили об этом печатно. Затем каноник из Этампа запросил сто тысяч ливров на постройку машины, *на которой можно будет путешествовать по воздуху*, и эти сто тысяч ливров были собраны и сданы в нотариальную контору.

Таким образом, любовь к чудесному постоянно увлекает нас, потому что, смутно чувствуя, насколько мы плохо осведомлены о силах природы, мы с восторгом приветствуем все, что ведет нас к каким-либо открытиям в этой области.

Мысль: *а может быть*, стучащаяся в наше сознание, заставляет нас надеяться на открытие чего-нибудь нового. Вот почему энтузиаст всегда будет затрагивать и волновать человеческое сердце. Его тон, его уверенность, его горящий взор, его пророческий вид невольно заставляют попасть в ловушку даже тех, кто знает о ней.

Иступленные проделывают чудеса, превосходящие, признаться, все самое удивительное, что только можно видеть в этом роде на ярмарках. Очень немногие знают, в чем тут секрет, а все эти судороги невольно удивляют и устрашают даже самых отважных и наиболее насто-

дому подходили, если можно так выразиться, в безмолвии: У *целителя* был скромный, простой вид: он стал *пророком* к собственному великому удивлению и как бы невзначай. Его выслали из Парижа вместе с женой. Народ, видя его отъезд, благословлял его, затем стал расходиться без ропота, без жалоб. Никогда еще не было видано такого стечения народа и такого спокойствия в толпе.

рожденных против всего чудесного зрителей. Иногда утверждают, что в этих фокусах есть доля чего-то действительно необыкновенного и непонятного, хотя и известно, на что способен пылкий фанатизм и желание проповедничать. А потому, если иные находят во всем этом что-то сверхъестественное, то это вполне прощательно.

Поэт по имени Гимон-де-Ла-Туш*—автор трагедии *Ифигения в Тавриде*—умер в Париже вскоре после того, как впервые увидел этих иступленных. Они привели его в такой ужас, что у него сделалась горячка. В бреду он видел перед собой все эти чудовищные образы и, не зная, чем их объяснить, умер, ибо был чересчур чувствителен по натуре, чтобы перенести такие волнения.

Новая секта, состоящая главным образом из молодежи, следует заветам, помещенным в книжке под заглавием *Заблуждение и истина**; она написана мистиком с горячей головой, которому, однако, не чужды проблески гениальности.

Члены этой секты страдают головокружением — болезнью, очень распространенной во Франции в последние пятьдесят лет; болезнью, дающей широкий простор всякого рода ненормальностям воображения и толкающей его в область чудесного и сверхъестественного. По учению этой секты, человек представляет собой падшее создание и в своих нравственных страданиях виноват сам: он вышел из *центра истины*; бог по своему милосердию еще удерживает его в пределах *окружности*, тогда как он мог бы уже отойти от нее на бесконечное рас-

стояние. Окружность представляет собой как бы *сияние*, исходящее из центра,—и от самого человека зависит приблизиться к нему по тангенсу.

Для того же, чтобы достигнуть по тангенсу центра, последователи этой секты ведут жизнь, преисполненную самого строгого воздержания; постятся вплоть до того, что впадают в маразм; вызывают этим экстатические видения и удаляют от себя все земное, чтобы предоставить душе большую свободу и возможность общения с *центром истины*.

Деятельность человеческого ума, возмущенного своим неведением; жажда все узнать и во все проникнуть силой собственного разума; смутное чувство, заложенное в человеке и заставляющее его думать, что он несет в себе зародыши самых высоких знаний,—вот что толкает людей с созерцательным воображением к познанию неведомого мира. И чем гуще покров, брошенный на этот мир, тем охотнее слабый и любознательный человек взывает к чуду и верит в чудесное. Воображаемый мир является для него миром реальным.

192. Навоз

Столица изобилует навозом—ибо здесь множество лошадей. Он служит удобрением окрестных огородов, где выращивают салат, капусту и другие овощи. Но все овощи, рост которых ускоряют этим искусственным способом, почти всегда приобретают какой-то неприятный при-

вкус. И вот подобно этому—осмелюсь ли сказать?—обстоит дело и с умами. Их тоже некоторым образом *унаважживают*, т. е. *подталкивают*, *развивают*. Желают, чтобы пятнадцатилетние щеголи выказывали необыкновенную эрудицию, и думают, что развили их ум, тогда как только нагрузили их память. Очень многие ослепленные отцы впадают в это роковое заблуждение. Заметив хорошие способности в своих детях, они разрушают их здоровье, стремясь сделать из них ученых. Жалкие награды, выдаваемые университетом, окончательно кружат головы отцам, которые воображают, что в этом предел славы и что весь мир устремляет взор на ученика, которого удостоивает поцелуем ректор университета. Таким образом, молодой парижанин, очень умный в восемнадцать лет, к двадцати пяти или тридцати становится самым заурядным человеком, ибо истощил все свои силы на учение. По выходе из университета голова его бывает так забита словами, что в ней уже не остается места для мыслей.

193. Садоводство

Садоводство, культивируемое в окрестностях Парижа, обходится без удобрений. Им занимаются с редкой заботливостью любители, всецело посвятившие себя этому невинному и полезному искусству. Они приятно и вполне законно расходуют свои богатства и получают от природы все блага, которыми она вознаграждает упорный и внимательный труд.

Овощи приобретают благодаря этому уходу превосходнейший вкус. Сорта фруктов теперь значительно улучшены. Персики, абрикосы, груши являются как бы новыми плодами как в отношении вкуса, так и в отношении красоты, а целый ряд успешных опытов еще более совершенствует эти новые превосходные сорта. Цветы также являются предметом культуры, и, знакомясь с ней, наглядно убеждаешься в том, какую она может представлять собой ценность, когда ею руководит не рутина, а знание и ум.

Глаз, усталый от черной, зловонной грязи столичных улиц, с наслаждением отдыхает на этих садах, где растительное царство сверкает во всем своем великолепии, где плодородие увенчано яркими цветами. Откупщику казенных доходов прощаешь его чрезмерное богатство, когда он употребляет его на то, чтобы сделать землю плодородной и украсить ее прекраснейшими урожаями. Его оправдание как бы написано на шпалерах, восхищающих взор и прельщающих обоняние. Этот драгоценный источник здоровой пищи—превосходные овощи, фруктовые деревья—сулит непрерывное изобилие. Откупщик на время прощен ради этого изобилия, создающего такую светлую картину; она заставляет забыть все, что на нее не похоже. Проклинать откупщика можно только в его раззолоченном доме, который он занимает в столице.

Я видел четыре тысячи горшков с ананасами у герцога Буйонского в Наварре, близ Эврё. Скоро их будет у него шесть тысяч. Этот превосходный плод, акклиматизировавшийся в Ан-

глии, во Франции рос бы еще лучше, если бы как следует занялись его культурой. К столу герцога таких, ананасов подается ежедневно от восьми до десяти штук. Но в других местностях культурой этой почему-то пренебрегают; а между тем она требует лишь недорогой оранжереи, которая щедро вознаграждает за все расходы и хлопоты. Я советовал бы любителям отправиться в Наварру и обучиться простым и дельным приемам садовника-англичанина, занимающегося выращиванием как этих прелестных плодов, так и нескольких других, не менее ценных. Любя нововведения, не будем пренебрегать ими и в области фруктов.

Одним из прекрасных плодовых садов является сад герцога Пентьева в Анэ. Его вид в тысячу раз приятнее вида раззолоченной мебели, зеркал, бронзы и скульптуры, украшающих замки, дворцы и загородные виллы.

В самом Париже сады герцога Шартра, герцога Бирона и г-на Бутена являются наиболее замечательными.

И тем не менее почему-то считают, что смешно устраивать сады в черте города или вблизи застав.

194. Королевская библиотека

Этот памятник людской гениальности и глупости служит доказательством того, что сокровище человеческого ума не измеряется большим числом книг. Всего только в какой-нибудь сотне томов заключаются его истинные богатства и слава.. Пройдитесь по этому зданию: в

залах этой колоссальной библиотеки вы найдете пространство в *двести футов* длиною и в *двадцать футов* высотой, занятое книгами мистического богословия; *сто пятьдесят футов*, занятых самой утонченной схоластикой; *сорок футов*, занятых гражданским правом; *длинную стену*, состоящую из громадных исторических сочинений, сложенных наподобие каменных плит и столь же тяжелых; около *четыре тысяч* эпических, драматических, лирических и прочих поэтов, не считая *шесть тысяч* романсов и почти стольких же путешественников. Разум затемняется этим множеством совершенно *незначительных* книг, занимающих столько места и только путающих память библиотекаря, который не в состоянии в них разобраться и содержать их в порядке. Да никакого порядка здесь и нет, а каталог, составленный тридцать пять лет тому назад, только увеличивает этот невообразимый хаос.

Если нужно пройти, как говорит Фонтенель*, сквозь все глушости, какие только можно себе представить, чтобы дойти до чего-нибудь разумного, то мы можем сказать, что уже приближаемся к истине. Наши отцы, очевидно, истощили все возможное сумасбродство, доказательством чему являются эти толстые тома юриспруденции, теологии, медицины, истории и прочее. Человеческий ум производит весьма жалкое впечатление в этой обширной коллекции; именно здесь уместно скорбеть о слабости человеческого разума и вздыхать над всеми этими совершенно невероятными произведениями.

Безумие и глупость собраны в этих *in-folio*, и устрица, спокойно сидящая в своей раковине где-нибудь на утесе, кажется более разумным существом, чем *доктор*, говорящий на протяжении шести тысяч страниц одни только глупости и хвастающийся к тому же, что постиг всеобъемлющую *науку*. Ничто так не огорчает, как зрелище этих внушительных архивов горделивого и беспросветного безумия; хочется в виде противоядия схватить какой-нибудь том Монтеня* и бежать оттуда со всех ног.

А между тем, все эти подонки людских мнений незаметно осаждаются, несмотря на усилия тех, кто их взбалтывает и погружается в них; и это дает надежду, что напиток, которым мы будем впоследствии наслаждаться, будет здоровым и чистым.

Но кто возьмет в руки факел, чтобы поджечь и уничтожить эту нелепую груду устаревших и безрассудных понятий, в которой роется, теряя драгоценное время, молодой талант, еще не отдающий себе отчета в собственных силах и доверяющий мнениям других? Но что говорю я! Сдержим этот порыв; не будем ничего сжигать. Перестаньте дрожать, тяжеловесные ученые, смешные библиоманы, снотворные компиляторы никому ненужных фактов,—ступайте упивайтесь своей жалкой наукой! Списывайте старые ошибки, сочиняйте груды новых, забудьте свой век и возвратитесь к веку Сестоприса*. Ваш педантизм меня забавляет, и одного презрения вполне достаточно...

Но подобно тому как глупый человек делается еще глупее благодаря книгам, ибо он

им верит, — гениальный человек, не верящий им, сумеет, быть может, высечь из них единую, великую истину. А потому сохраним их для него — до тех пор, пока он не докажет нам их полной бесполезности. Не будем же прибегать к всесожигающему факелу: глупость пребывает не в книге, она — в читателе... Да поймет меня тот, кто пожелает... Сейчас я не хочу высказываться яснее.

Это громадное учреждение бывает открыто лишь два раза в неделю в течение двух с половиной часов. Заведующий библиотекой изыскивает всякие предлоги, чтобы то и дело отлучаться. Посетителей обслуживают плохо, к ним относятся презрительно. Королевское великолепие сходит на-нет, когда приходится иметь дело с низшими властями, до крайности ленивыми. Не должны ли бы мы иметь возможность ежедневно пользоваться этими книгами, созданными скорее для справок, чем для чтения? Приходится ждать целыми месяцами, когда чиновники соблаговолят отворить дверь. Книги им надоели, и они выдают их с недобрым видом.

195. Фузилеры на спектаклях

Невозможно представить себе ни одного спектакля без присутствия в театре тридцати фузилеров* с порохом и патронами в карманах.

Здесь не мало свистков, но у нас есть защита!
Эта фраза сделалась поговоркой. Внутренняя охрана держит весь партер в состоянии полной

пассивности; и как бы он ни скучал, как бы ни был утомлен, какой бы ни было давки, он не имеет права выказывать ни недовольства, ни скуки.

И тем не менее бедная публика покорно платит деньги, платит за то, что ей преподносят, а не за то, что она желала бы видеть. Ее окружают ружья, и ей одинаково запрещается и смеяться несколько громче, чем полагается, во время веселой комедии, и слишком громко плакать, глядя на представление какой-нибудь трагедии.

Партер, если не считать мимолетных волнений, всегда погружен в самое мрачное уныние. При первой же его попытке проявить чем-нибудь свое существование, тут как тут солдаты, готовые тотчас же схватить вас за шиворот.

Потом вас ведут к комиссару, но в действительности *судит* вас не он, а караульный офицер, которому часовой весьма туманно докладывает о случившемся; комиссар же присутствует только для вида, для сохранения требуемой благопристойности; арестованного судят повоенному. Офицер отправляет его в тюрьму, комиссар же, не глядя, подписывает, основываясь лишь на рапорте, поданном человеком в синем мундире.

Злоупотребления такого рода достаточно всем известны, но не все знают, что гражданина тащат к комиссару только для вида и что арест или освобождение зависят вовсе не от него, несмотря на то, что *судит* именно он.

Наши спектакли нуждаются в писателе, который, так сказать, наблюдал бы за ними и

записывал бы все оскорбления, наносимые публике, будь то по небрежности, или по лени, или по глупости актеров.

Все искусства подвергаются благотворному влиянию критики, которая держит их на-чеку. Почему же одно только декламационное искусство избавлено от ежедневных замечаний, которые повели бы к его усовершенствованию? Когда дело касается удовольствия, доставляемого этим прекрасным искусством, необходимо проявлять особенную тонкость; если не достигнуто полной иллюзии, значит не достигнуто ровно никакой.

Как может критика относиться равнодушно к этим автоматам, которые убивают в зрителя всякую чувствительность, сводя на-нет красоту наших шедевров? Актер привыкает в конце концов к свисткам настолько, что самое единодушное шиканье кажется ему лишь мягким мимолетным ропотом. Вернувшись за кулисы, этот варвар вытирает вспотевший лоб, и все уже забыто им до следующего дня, когда он опять пригнет вас истязать.

Бдительный критик, который от имени публики стал бы преследовать этого жестокого врага ее удовольствий, неминуемо прогнал бы его со сцены или заставил бы его путем настойчивого труда преодолеть все недостатки, делающие его игру невыносимой.

Тот же строгий критик сумел бы пристыдить за лень актеров, отсутствующих целые полгода и осмеливающихся незаслуженно получать от театра деньги. Одновременно с этим критик справедливо хвалил бы каждого ревностного и

усердного актера и в особенности такого, который охотно посвящает себя исполнению театральных новинок. Тому же, который от них отказывается, он дал бы понять, что тот делает это или по неспособности охватить тот или иной характер, пока не сыграет этой роли раз тридцать, или из-за непростительного равнодушия к своему искусству. Таков был, между прочим, и актер Лекен*: посвятив себя исключительно исполнению произведений г-на де-Вольтера, он дал тайный обет губить всякую вещь, прибывшую не из Ферне*.

Я видал, как он бесстыдно притворялся больным после того, как сыграл не более семи-восьми раз за зиму. Он покидал столичный театр, садился в почтовую карету и отправлялся в провинцию, чтобы проверить, не будет ли там чувствовать себя лучше, играя по два раза в день, невзирая ни на какую жару! А если он милостиво соглашался снова выступить в Париже, то только для того, чтобы не забыть те восемь-десять почти одинаковых ролей, с которыми он затем повсюду разъезжал, едва только наступало тепло. Платили ему в Париже, в то время как он играл в Брюсселе!

Вместе с тремя костюмами и тюрбаном этот актер увозил с собою всю французскую трагедию. Ему больше ничего не требовалось, чтобы одеть свою Мельпомену*. Он знал ее только в одном образе и в одной позе,—отсюда его до крайности ограниченная игра: его ничто не интересовало, кроме нескольких костюмов, лежавших в его сундуке.

Этот не в меру прославленный актер никогда

не играл мало-мальски хорошо в новой пьесе, потому что непосредственный порыв души ему всегда был чужд. Ему нужен был продолжительный и упорный труд, для того чтобы произвести сильное впечатление. Вот почему его игра — плод рассуждений — могла охватить только очень небольшой круг ролей, в оттенках которых всегда было много общего. О великий Гаррик!* Твои возможности, неизмеримо более широкие, зиждились на иной основе!

196. Ложь

Это новейший плод распущенных нравов, непристойный обычай, приносящий как спектакль, так и публику в жертву двум-трем сотням высокомерных женщин, которые от нечего делать закрывают доступ в театр всем честным гражданам, ищущим в театре полезного отдыха и не имеющим возможности позволить себе столь дорогое удобство.

Благодаря этим *ложам* актеры, разбогатев в самом начале сезона, уже не стремятся разучивать новые роли. Их презрительная лень, небрежность и нерадение унижают искусство и содействуют его упадку. Актер, не показывающийся публике в течение целых шести месяцев в году, все же получает свои семнадцать или восемнадцать тысяч франков. Эту сумму выплачивает ему парижская публика, имеющая поэтому право требовать его присутствия на сцене.

Было предложено крайне простое средство для пресечения этого зла: платить актерам за

каждое представление отдельно. Это заставило бы их развернуть свои таланты; нужда создала бы соревнование; а ее голос является безусловно самым красноречивым и убедительным для парижских актеров.

Есть еще другая причина, заставляющая восставать против этих *лож*, а именно та, что, вопреки всякому праву и смыслу, актеры считают, что они не обязаны делиться получаемым ими доходом с авторами новых пьес, а потому, придя к такому решению, они разделили партер на *лож*и, не дав никому сказать ни слова.

Но если широкая публика жалуется на то, что актеры так распоряжаются залой, то какая-нибудь парижская щеголиха восклицает: «Как?! Хотят заставить меня смотреть всю комедию с начала до конца, тогда как я достаточно богата, чтобы просмотреть только одну сцену! Но ведь это произвол! Во Франции, очевидно, совсем не стало порядка?! Раз я не могу пригласить актеров к себе, я желаю по крайней мере пользоваться правом являться в театр в семь часов в том *дезабилле*, в каком я бываю, когда встаю утром с постели. Я хочу иметь при себе свою собачку, свою свечу и ночной горшок; я хочу иметь там свое кресло, свою кушетку; хочу, чтобы меня посещали там мои поклонники; чтобы я имела возможность уехать отсюда прежде, чем меня одолеет скука... Лишать меня всех этих удобств—значит посягать на свободу, даруемую хорошим вкусом и богатством»¹.

¹ Этот отрывок взят из брошюры, озаглавленной: *Бесхитростные суждения добряка*.



Актриса в ложе своего покровителя
С гравюры Патá по рисунку Моро младшего

Итак, парижанка непременно должна иметь у себя в *ложе* свою собачку, свою подушку, а главное—маленького фата с лорнетом, который докладывал бы ей обо всех входящих и выходящих из залы и называл бы имена актеров. В веер, который держит в руках эта дама, вделано маленькое стеклышко, сквозь которое она может всех видеть, не будучи видима никем.

Публика, не получив билетов, толпится у дверей залы, держа деньги в руках, и все это из-за *ложе*, абонированных на целый год и пребывающих часто пустыми, к великому огорчению любителей, которые бегут искать утешения на бульварах, потеряв всякую надежду побывать в национальном театре!

В интересах искусства, публики, авторов и самих актеров необходимо было бы организовать вторую труппу. Весь Париж этого желает, требует, чувствует в этом неотложную необходимость. Но что может сделать голос публики! Камер-юнкеры двора сказали искусству: *Не двигайся с места*; публике: *Вы получите то, что вам дадут*; авторам: *Мы сделаем из вас то, что сочтем нужным сделать*. И искусство, и публика, и авторы очутились под игом придворных!

Каким образом и зачем эти вельможи присвоили себе столь странные права? Как могут они притязать на вмешательство в создания человеческого гения? Как могут они противиться развитию искусства, затрагивающего и достоинство и счастье нации? Что общего может быть между их службой и театральными пье-

сами? По какому праву они подчиняют того или иного автора своему суду? Этого никто не знает; этого не знают и они сами. Влюбленные в свой странный деспотизм, они проявляют его, не считаясь с законом, а так как все мелкое перестает быть таковым, едва только в дело вмешивается страсть, то возможность распоряжаться принцами и принцессами закулисного мира и всем, что имеет отношение к театральным подмосткам, приобретает в их глазах не меньшую важность, чем вопрос о потере их основной должности.

Права авторов, этих отцов театра, кормильцев актеров, были вплоть до настоящего времени до такой степени неясны и изменчивы, были так подчинены людскому капризу и алчности, что, можно сказать, их и вовсе не существовало.

Три года тому назад писатели объединились с целью заявить о своих правах и добиться, чтобы с ними считались. Их оратором является г-н Карон де-Бомарше, сразивший в своих занятых мемуарах* одним ударом шпаги и докладчика Гесмана и парламент, причем нанесенная рана оказалась смертельной для этого беззаконного сборища*. Вскоре мы увидим, что может сделать союз нескольких писателей, обладающих умом и, вероятно, достаточной твердостью и смелостью, чтобы суметь защитить себя. Это любопытное явление поможет разрешить моральную задачу, которую многие наблюдатели уже не раз себе ставили¹.

¹ Писатели ничего не сделали. Им дали позабыться, зная, что их пыл скоро иссякнет. Они с

197. Учителя фехтования

Искусство мастерски лишить жизни противника! И так, оно возведено теперь в мастерство, в цех, да что говорю я!—в академию. Искусство наносить удар рапирю освящено привилегией монарха, и Доннадье теперь такой же академик, как и Д'Аламбер. Людовик XIV, подписывая указ, карающий смертной казнию дуэлистов*, в том же году подписал указ о выдаче дипломов учителям фехтования. Таким он был мудрым законодателем! По этому одному можно сразу узнать автора предусмотрительной отмены Нантского эдикта*.

Обучать тонким, неожиданным ударам рапирю и требовать, чтобы искусный фехтовальщик не поддавался искушению вызвать на поединок человека, недостаточно опытного в искусстве фехтования,—значит плохо знать дух бретёрства, которым люди заражаются в фехтовальных залах.

Дух бретёрства возник из страсти к турнирам. Позже он волновал наше надменное дворянство, затем заразил буржуазию, а в настоящее время господствует среди гвардейских солдат. Многие считают полезным поддерживать его в гарнизонах. Эта безумная страсть, терзавшая нашу суетную нацию еще в минувшем веке, повидимому нашла себе здесь последнее убежище.

открытыми глазами попались в явную ловушку. Это предвидели люди из общества, говорившие: *Объединение драматургов окажется глупее объединения бабичников.*

Здравый рассудок смотрит на учителей фехтования почти как на древних гладиаторов. Не знаю, для чего нужны все эти фехтовальщики в просвещенном государстве, где злоупотребление силой запрещено, где никто не имеет права мстить. Эта школа опасна и для того, кто посвятил себя такому роду занятий; ее можно рассматривать только как гнусный остаток варварского предрассудка, который все решал острием шпаги.

В наши дни можно отказаться от дуэли, если повод к ней недостаточно основателен. В таких случаях отвечают тому, кто вызывает: *Я не дерусь по такому поводу*, а если противник настаивает и, желая на вас подействовать, говорит, что только трус боится умереть, — вы можете ему ответить, как ответил один древний философ: *Каждый ценит свою жизнь в зависимости от того, чего она стоит.*

Жестокость предшествующих веков, таким образом, уже изжита, но я боюсь, как бы она не проявилась в какой-нибудь новой форме — более редкой, но во сто раз более отвратительной.

Никто не стыдится драться на пистолетах, излюбленном оружии Ниве и Каргуша, требующем от убийцы лишь хладнокровия и твердости смертоносной руки. Это какое-то исступленное безумие, противное истинной храбрости, не говоря уже о другой, более благородной храбрости, о той, которая проявляется при защите общественных интересов, так как всякий личный интерес, защищаемый вопреки всем божеским и человеческим законам, всегда

основывается на одной только яростной и бессмысленной гордости.

Предоставим гнусностям войны это жестокое и вероломное оружие. Пусть все условятся сообща бесчестить того, кто воспользуется им в самом сердце своей родины и домашнего очага.

Говорят, что нашлись люди (невероятная гнусность!), которые обратили во время дуэли друг против друга ружья, из которых у нас в лесах бьют свирепых вепрей и кровожадных волков. Я считаю, что в данном случае люди, носящие человеческий образ и столь приверженные призрачному отвратительному понятию о чести, оказались гораздо подлее и вепрей и волков.

Как мы должны быть обязаны философии, которая умеряет и клеймит позором все эти жестокие неистовства, внушая отвращение к ним всем разумным и достойным уважения людям!

198. Азартные игры

Китайский император сказал: *Я запрещаю игры; тот, кто преступит мое приказание, презрит этим само провидение, не допускающее никаких случайностей, и пойдет против природы, которая гласит нам: «надейтесь, но работайте: наиболее трудолюбивые заслужат наибольшую награду».*

Азартные игры приносят явный ущерб человеку. Они заменяют работу, бережливость, любовь к ремеслу; повергают человека к стопам фантастических существ: судьбы, случая, рока.

Вместо того чтобы сглаживать неравенства постоянный, они даруют золото тому, у кого оно уже имеется и кто алчнее других. Они заглушают в человеке желание разбогатеть законными путями; они питают, разжигают его корыстолюбие и обманом доводят его до отчаяния.

На собраниях, где происходят схватки престофиблей с пройдохами, можно наблюдать человеческие лица, изуродованные всеми позорными страстями—бешенством, свирепой радостью, раскаянием. Вполне справедливо называют игорные залы *адом*. Этот порок сам себя наказывает, но он неискореним из опустошаемых им сердец.

Прежде в азартные игры играли у посланников,—это были привилегированные дома; теперь там больше не играют. С некоторых пор новое распоряжение создало преграду этому неистовству, но оно нашло себе выход в другом месте. Этот порок чересчур тесно связан с другими политическими пороками, чтобы можно было рассчитывать искоренить его, позволяя процветать всем остальным.

Если бы, по крайней мере, золото или серебро при такой быстроте обращения, при постоянной смене рук попадало в руки бедняков! Но нет! Золото всегда устремляется к профессиональному банкиру, к тому, *кто держит банк или фараон, а понтёры-одиночки* всегда проигрывают, потому что несколько богачей, образуя тесный союз, действуют сообща.

Если бы была создана игра, дающая совершенно одинаковые возможности всем участникам, то, всё же оставаясь безусловно предо-

судительной, она, по крайней мере, перестала бы быть публичным грабежом.

Игорный дом по протекции передается женщине из общества, чтобы она могла поправить свое состояние. За вычетом всех расходов она выручает каждый вечер четыреста ливров, которыми делится со своими покровителями. Расходуется на десять луи карт; откупщикам налогов это выгодно. Говорят, что существуют вещи, которые нужно терпеть. Скоро, вероятно, скажут вместе с Мендвилем*, что *торговля замерла бы и государство обеднело бы, если бы женщины решили стать целомудренными, а отцы семейств — бережливыми.*

Игорные дома опасны; но при этом нужно сказать, что молодой человек, путешествующий по Франции или вступающий в свет с *пятьюдесятью тысячами ливров дохода* в год, не должен бояться потерять некоторую сумму денег в честной игре. Все будет зависеть от дома, который он выберет. Если же он от такой жертвы откажется, можно с уверенностью сказать, что путешествие его будет неудачно, что он не увидит общества, которое должен был посещать, что будет вести себя недостойным образом и, весьма возможно, попадет в дурную компанию, где потратит еще больше денег, чем в хорошей. Страх быть обманутым толкнет его на гораздо большие опасности, а для богатого человека так же грустно совсем не играть, как и играть азартно или играть с первым встречным.

Вот что принято говорить по этому поводу в обществе, а я лишь твержу: *minima de malis**.

Какая разница между лопатой, которой ого-

родник обрабатывает землю, чтобы умножить ее полезные дары, и той, которую игроки водят по столу, придвигая к себе выигранное золото! Благодаря тождеству названия невольно зарождаются в голове причудливые мысли, касающиеся трудной работы одной и праздной и алчной работы другой.

199. Законы против роскоши

Здесь таких законов не знают. Женщины пользуются в этом отношении полной свободой и выбирают себе наряды, какие им только вздумается. Жена приказчика или лавочника может наряжаться, как герцогиня. Правительство в это не вмешивается. Частное лицо может окружать себя самой безумной роскошью; если оно уплатило все причитающиеся с него налоги, никто не запретит ему разоряться.

У нас нет Катона-стойка*, который произносил бы громовые речи в защиту Аппиева закона*, запрещавшего знатным римлянкам употреблять на украшения более пол-унции золота, носить разноцветные одежды, ездить по городу в экипажах и прочее и прочее.

Бернский сенат запрещает женщинам носить ленты, газ, кринолины и маленькие обручи из китового уса, но в Париже все жители напоминают в этом отношении трибуна Валерия, который возражал против закона Аппия, защищая римских дам. Женщины не могут служить ни в суде, ни у подножья престолов, ни в армии; они не носят ни крестов, ни орденов, они лишены

знаков отличия, удовлетворяющих гордость мужчин и вознаграждающих их за службу. Что же в таком случае остается на долю женщин? Наряды и драгоценные украшения. Вот что составляет их радость и гордость. Зачем же их лишать этого минутного блеска и счастья, этого домашнего царства?

Все это, может быть, и хорошо сказано. Но ведь траты на этот бесполезный блеск отражаются на существовании детей. Жалка та роскошь, которая ради раззолоченного салона, ради свечей, кружев, вышитых платьев, драгоценных вещей, украшенных резьбой каминов и прочего уменьшает обеденные порции и оставляет постыться и гостей и слуг. А эта ребяческая роскошь присуща теперь всем буржуа, возгордившимся полученным званием или службой.

Расточительность женщин идет своим чередом; маленькие состояния приходят в разорение; родовые имения ко дню совершеннолетия детей оказываются в полном упадке.

Великий герцог Тосканский запретил чрезмерную роскошь, пригрозив нарушителям этого запрета одним лишь своим *неудовольствием*. И это возымело большую силу, чем все принудительные законы.

В настоящее время все благородные флорентинцы носят только черные платья. Наши проповедники и экономисты произносили громкие речи, но им не вняли. У нас полицейские комиссары не бранят всенародно, как во Флоренции, женщин, носящих перья, и не пытаются срывать с их голов эти украшения, до которых

как модистки, так и покупательницы—большие охотницы.

200. Иностранцы

Иностранец, приезжающий в Париж, часто бывает введен в заблуждение: он воображает, что несколько рекомендательных писем откроют ему настежь двери наиболее знатных домов. Это большая ошибка: парижане избегают сближаться с людьми, боясь, что такие отношения потом будут им в тягость. Проникнуть в старинные дворянские дома очень трудно; нелегко также попасть и в дома разбогатевшей буржуазии. Толпа ловких и смелых авантюристов, представительных по внешности, столько уже раз обманывала доверчивых людей, что теперь ко всем иностранцам стали относиться с большой осторожностью.

К тому же прием друзей и знакомых отнимает столько времени, что поддерживать еще знакомство с человеком, которого будешь видеть всего лишь в течение нескольких месяцев, уже нет возможности. Парижанин бережет каждый час и сходится с незнакомым трудно; он вежлив, но не общителен.

Итак, мошенники всех стран принесли не мало вреда честным людям, путешествующим с целью самообразования. Одни только знаменитости разрушают на своем пути все преграды и имеют доступ всюду. Прочих же удостаивают несколькими приглашениями на обед и официальными визитами, но не допускают на частные собрания, где присущие парижанам любезность и остроумие проявляются во всем блеске.

Иностранец, чувствуя, что с ним обращаются слишком церемонно, испытывает некоторую неловкость и на следующий же день устремляется в игорные дома, в кабаки, в общество продажных женщин; там он весело проведет время, но, вернувшись на родину, не будет иметь никакого представления о духе, господствующем в высших классах парижского общества, и разврат, с которым он имел дело, будет считать присущим всем жителям столицы.

Общественные увеселения вознаградят его за стеснение, которое он испытал в домах частных лиц, а увеселения эти многочисленны. Он будет поэтому прекрасно осведомлен и о театральных представлениях, и о новых модах, и о закулисных анекдотах, и о всех новостях дня, но он ничего не узнает о тайных пружинах, которые приводят в движение характеры и состояния и сообщают всем общественным событиям изумительную подвижность. Он так же мало узнал бы обо всем этом, если бы провел это время в Берлине, Дрездене или Петербурге.

Иностранец, не имеющий друзей, а следовательно и постоянного общества, путешествует как бы впотьмах по городу среди шестисоттысячного населения, занятого исключительно своими личными делами и удовольствиями. Он в один и тот же день может попасть и в более или менее сносную, и в плохую, и в отвратительную компанию, не научившись их различать. Очутившись же потом в своем превосходно меблированном доме, не сумеет распознать тысячу обманчивых вещей, к которым надо присматриваться внимательно, что-

бы увидеть их в настоящем свете. Если же он безвыходно просидит дома всего какие-нибудь три дня, все сочтут, что он уже уехал; о нем никто не вспомнит, его одолеет скука, и он будет проклинать столицу.

В силу этого ему необходимо приобрести знакомых во всех классах общества, так как в этом вихре тот, кого вам удалось поймать утром, ускользнет от вас вечером. Вы будете тщетно его разыскивать, и если не окружите себя преданной компанией, то рискуете остаться в полном одиночестве. Каждый точно тает у вас на глазах и, едва успев пожать вам руку, бежит веселиться в кругу своих друзей; и вы его уже не увидите вплоть до новой случайной встречи.

Вот почему иностранцы могут превосходно описывать спектакли, прогулки, общественные нравы, все, что бросается в глаза; но если они вздумают говорить о внутренности домов, о частной жизни богатых людей, о характерах должностных лиц, о различных тонкостях и оттенках,—они введут своих сограждан в заблуждение.

Громкое имя является лучшим рекомендательным письмом; высшие классы горят любопытством увидеть и познакомиться с его носителем. Он легко может завязать дружеское общение, часто бывать в доме и чувствовать себя вполне непринужденно и во всем, что будут говорить, сможет угадывать то, о чем умалчивают, потому что человек, привыкший размышлять, всегда почерпнет очень многое и из того, о чем в разговоре с ним не упоминают.



Уличный карнавал в Париже
С гравюры Ле-Вассера по рисунку Жора

Жалкие, грязные деревянные лачужки, находящиеся на окраинах предместий, служат преддверьем столице. Подъезжающий иностранец в первую минуту думает, что его обманули, и готов уже вернуться обратно, когда, указывая на эти лачужки, ему говорят: *Вот Париж!*

201. Объявления о специфических лекарственных средствах

Заразная болезнь, скрытая на дне наслаждений и уничтожающая человеческий род тончайшим и тайным ядом, получила такое широкое распространение, что ее перестают даже стыдиться.

Повидимому, этот бич появился независимо от открытия Нового Света: он существовал и раньше, только носил иной характер.

Это иудейская и арабская проказа. И если этот яд слабеет по мере того, как раздробляется, если он представлял собой *кошелек с жетонами*, как любят выражаться немножко вольно, то ему суждено исчезнуть именно в Париже, где его распространение не знает границ.

Посмотрите, сколько встречается на улицах бледных, изнуренных лиц, сколько впалых грудей, сколько разрушенных, подточенных организмов!

И не меньшим злом, чем самая болезнь, является множество мнимых антивенерических лекарств, — тоже разрушительных ядов, — из коих одно губительнее другого; а все они снабжены печатью королевской привилегии!

Могущество шарлатанов основывается главным образом на венерической болезни. Повсюду вы наталкиваетесь на самые заманчивые объявления; всюду слышите разговоры о специфических средствах, украшенных эффектными этикетками; больше уже не рассуждают о применении ртути: вам дают ее глотать под красивыми названиями различных пилюль, сиропов, эликсиров, таблеток, шоколадных конфет. Скоро у нас, вероятно, появятся антивенерические бриоши и пирожные! Сколько обманутых, сколько жертв! И, несмотря на то, что можно ежедневно наблюдать, как быстро все эти мнимые специфические средства предаются забвению и презрению, ими все еще продолжают пользоваться. Вам публично предлагают *верный, приятный* метод, который быстро, безболезненно и радикально излечит ваш недуг; и легкомысленная молодежь привыкает к мысли, что опасность не так могущественна, как лекарство. Страдания не замедлят убедить ее в том, с каким недоверием нужно относиться ко всем этим неизвестным и сомнительным лекарствам.

Как, однако, отличить фальшивые средства от настоящих, когда все эти специфические средства снабжены одобрением медицинского факультета и королевским патентом?

202. Ботики

Ботики, делающие рейсы в Сен-Клу, некрасивы по форме, а лодочки в большинстве случаев крайне невежественны. Парижане

так перегружают эти барки, что они иногда опрокидываются. Пришлось завести особых сторожей и надзирателей, которые препятствуют парижанам бросаться в лодки целой гурьбой и следят за тем, чтобы в лодке помещалось одновременно не более шестнадцати человек. Самый храбрый моряк скорее побоится довериться этим дощечкам на какие-нибудь два часа, чем ступить на борт парохода, идущего в Новый Свет.

Другие ботики пересекают реку в промежутках между мостами и дополняют последние; это лодки Харона*: они делают рейсы во всякое время дня.

Лодочник с веслом в руке одинаково принимает в свою лодку и лакея и барина, башмачника и финансиста, солдата и священника, молодежь и стариков. Всякий смертный может войти в лодку и, заплатив одинаковые деньги за переезд, доехать до того берега. Свой путь лодка совершает раз двести в течение дня; один выходит из нее, другой тотчас же входит. Для того, кто желает дорогой пофилософствовать, такие переезды являются символом вечного чередования жизни и смерти.

Переезд стоит только шесть денье, но аренда промысла дает, за вычетом расходов, довольно значительный барыш. Можете судить по этому о числе перевозимых за день людей.

203. Глиняная посуда

Вся глиняная посуда, обслуживающая наши кухни, покрыта лаком, обладающим свой-

ством растворяться под действием серной печени. Глиняные и металлические предметы могут, следовательно, выделять особый яд, попадающий в нашу ежедневную пищу. Г-н Дантик изобрел новую глиняную посуду, которая, не уступая фарфоровой, может выдерживать самый сильный огонь и вполне безопасна. Это очень интересное открытие, способное вызвать благотворную революцию и послужить к сохранению человеческого рода. Неужели не обратят внимания на эту посуду, имеющую столь существенные преимущества, в то самое время как фарфоровой посуде, являющейся предметом роскоши, оказывают всевозможное покровительство?! Новому изобретению, о котором здесь идет речь, предстоит войти во всеобщее употребление. Его умеренная цена доступна каждому гражданину; оно ведет к сохранению народного здоровья и ждет только правительственного одобрения и покровительства.

204. Санитарный совет

Его еще не существует, но не следует ли его учредить? Он должен был бы состоять не из докторов,—столь опасных из-за своей рутины, столь невежественных в своей науке,—но из химиков, которые сделали так много новых прекрасных открытий, обещающих познакомиться нас со всеми тайнами природы.

На обязанности этого совета должны лежать заботы обо всем, что относится к питанию человека: о воде, вине, пиве, водке, растительных маслах, хлебе, овощах, рыбе и прочем. Он дол-

жен распознавать все вредные примеси, входящие в эти вещества. Часто *свежая* морская рыба доставляется нам в уже испорченном виде, так же как и устрицы; в овощах нередко скрываются долгоносики. Отсюда разного рода заболеваний, причины которых неизвестны.

Естественники, которым будет поручено наблюдать как за пищевыми продуктами, так и за всякого рода напитками, смогут пресечь эпидемические болезни в самом начале. Обычно докторов зовут тогда, когда опасность уже налицо, но почему бы ее не предупредить? Доктора не думают о сохранении здоровья пациента, они ждут лишь дохода, приносимого им болезнями.

Бenedиктинцы, кармелиты и картезианцы, питающиеся лучшей морской рыбой, поручают одному из братьев, знающему в этом толк, наблюдение за качеством рыбы. Почему же товар, который достается на долю голодного народа, приходящего на рынок покупать остатки от стола богачей, ибо ему необходимо поужинать вечером, чтобы быть в состоянии работать на другой день,—почему не подвергать этот товар строгому надзору, раз голод и нужда заставляют народ не обращать внимания на его качество? Почему тухлую рыбу не включить в разряд контрабандных товаров, подобно эльзасскому табаку?

205. Улучшение

Спешу сообщить новость: *кладбище Невинных* в конце концов закрыли,—то самое кладби-

ще, на котором хоронили покойников со времен Филиппа Красивого*!

Тогда оно было далеко за городом; в наши дни оно оказалось в центре. Парламент, выслушав требование всех проживающих вблизи этого кладбища, обратился за советом к химикам и естественникам. Применив с пользой недавние открытия, касающиеся тлетворного воздуха, пришли к заключению, что воздух *кладбища Невинных*—самый нездоровый во всем Париже. В прилегающих к нему погребам атмосфера была такова, что пришлось замуравить все двери; опасность была велика,—кладбище закрыли 1 декабря 1780 года.

Выразим же благодарность усердию чиновника, который вел это дело с истинно патристическим жаром; он, возможно, пресек в самом начале какую-нибудь заразную болезнь.

Полиция должна часто прибегать к помощи химии, чтобы знать средства, которые наука употребляет для уничтожения очагов заразы, губящих здоровье. Деятельная и бдительная инспекция исправила бы недостатки, являющиеся следствием большого скопления народа.

Рафинным образом набережная де-Жевр, которая находится под аркой свода, соединяющего мост Нотр-Дам с мостом Понт-о-Шанж, представляла собой отвратительную клоаку, куда четыре сточные трубы вливали грязь, куда стекала кровь из боен и сливались нечистоты из всех отхожих мест. В течение целых восьми месяцев в году река не обмывала зловонных арок моста, и воздух, распространяясь из этих очагов гниения, заражал все кругом. Невыноси-

мое зловоние стояло также на набережных *Сыромятников* и *Скорняков*. Мы жаловались на это в *Две тысячи четыреста сороковом году**. В конце концов, когда зло достигло своего апогея, а жары последнего времени еще усилили заразу, городское управление сооблаговолило заняться работами, содействующими оздоровлению воздуха и сохранению здоровья жителей.

Мы будем избавлены от этих предательских испарений, и в итоге многочисленных жалоб в столице окажется двумя бичами меньше. Поэтому безусловно полезно обращать внимание на непорядки и представлять их в их настоящем виде: громкие протесты достигают слуха должностных лиц, которые всегда бывают или немного туги на ухо или рассеянны.

Остается устранить еще не мало других недочетов; это дело времени и патриотического красноречия. Но почему наиболее невыносимые из них продолжают существовать, вопреки книгам и знаниям, вопреки единодушным жалобам всех честных граждан? Потому, что нет ни одного злоупотребления, из которого не извлекало бы выгоды множество лиц; а также потому, что некоторые люди ничего не читают, не имеют времени читать и свою весьма непрочную и кратковременную власть используют только на то, что им кажется нужным с точки зрения их мелкого и узкого честолюбия.

Только на известном расстоянии, только иностранец может правильно судить об ошибках данного народа или данного города.

Приблизьтесь, и тысяча коварных рассуждений скроют от вас истину.

Отмена барщины вызвала страшные крики. Тщетно справедливость и здравая политика со-обща восставали против этого опасного установления; благодарный голос всего королевства, внезапно почувствовавшего облегчение, не мог заглушить ропота отдельных недовольных лиц.

Не удивляйтесь же, что добро совершается так медленно!

Конец второй части

КОММЕНТАРИИ

Картины Парижа вышли впервые анонимным изданием в Париже в июне 1781 г. в 2-х томах, за которыми тотчас же последовало еще 2 тома.

Первоначально Мерсье предполагал ограничиться этими 4 томами, но колоссальный успех очерков побудил его продолжить издание, и в течение 1783—1789 гг. он написал еще 8 томов.

Предлагаемый читателю перевод сделан с амстердамского анонимного издания 1783 года: «Tableau de Paris». Nouvelle édition corrigée et augmentée. Quærens quem devoret. Tome I. A Amsterdam. 1783.

Этому изданию предпослано *Предупреждение издателей*, в котором говорится, между прочим, следующее: «Настоящее четырехтомное издание *Картин Парижа* выходит под наблюдением автора и является единственным признанным им изданием». Тут же сообщается, что в печати находятся томы V, VI и VII.

В действительности, как было указано выше, это издание разрослось до 12 томов. Кроме того, в конце 1790-х годов Мерсье написал 8 книг *Нового Парижа*, рисующих парижский быт революционной эпохи.

Картины Парижа появляются в русском переводе впервые. Издание «Academia» выходит в двух томах, в которые войдет полный текст 4-х первых книг французского издания,—другими словами, та часть очерков, которая по первоначальному замыслу автора должна была составить законченное целое.

3.* *Quærens quem devoret*—«[бродит] в поисках кого бы поглотить»—говорит о дьяволе апостол Петр в своем I послании (V, 8).

10. *Крассы*.—Семейство Крассов дало древнему Риму нескольких выдающихся государственных деятелей; наиболее известен Марк Лициний Красс (Marcus L. Crassus, 115—53 до н. э.)—военачальник, подавивший руководимое Спартаксом восстание рабов (71 до н. э.); он погиб во время войны с парфянами. Утверждали, что он незаконно обогатился на проскрипциях (изгнании нежелательных граждан и конфискации их имущества). На это обстоятельство и намекает Мерсье.

15. *Белые негры*—т. е. негры, страдающие альбинизмом (отсутствием красящего пигмента в коже). Альбиносы встречаются среди всех рас, но у «цветных» народностей, в том числе и у негров, это явление дает наибольший зрительный эффект.

— *Квакеры*—религиозная секта, возникшая в Англии в XVIII веке. Квакеры—решительные противники применения оружия; они осуждают войны, дуэли, смертную казнь; они запрещают своим приверженцам не только носить оружие, но даже торговать оружием и порохом. Однако во время борьбы американцев за свою независимость, т. е. в эпоху, когда Мерсье писал свои «Картины Парижа», квакеры взяли за оружие и образовали в Америке отдельную общину «свободных и воинственных людей».

Упомянув о *белых неграх и квакерах, носящих шлагу*, Мерсье хочет сказать, что в Париже можно найти любые диковины.

— *Идолопоклонника*—т. е. археолога.

22. *Индия, за которую три великих державы вели между собой долгую и ожесточенную войну*.—Имеются в виду войны, длившиеся в течение всей второй половины XVIII века за господство в Индии, в частности войны между Англией, Францией и Голландией (1750—1761).

23. *Дидро*, Дени (Diderot, 1713—1784)—французский философ, публицист и романист, один из основа-

* Цифры в начале примечаний обозначают соответствующие страницы книги.

телей «Энциклопедии»; был сыном ремесленника и в молодости сильно бедствовал.

23. *Автор «Эмиля»*—Жан-Жак Руссо (1712—1778) «Эмиль»—философско-педагогический роман (1762), описывающий идеальное воспитание человека со дня рождения до зрелого возраста. В романе проводится мысль о необходимости дать ребенку полную свободу развития, устранив вред, наносимый книжной ученостью и клерикальной ортодоксией.

— *Грёз, Жан-Батист* (Greuze, 1726—1805)—французский жанровый живописец, создатель ряда сентиментально-нравоучительных картин.

— *Фрагонар, Оноре* (Fragonard, 1732—1806)—французский художник. Его творчество проникнуто изысканной чувственностью.

24. *Верне, Клод-Жозеф* (Vernet, 1714—1789)—французский художник-пейзажист; известен сюитой видов французских портов.

30. *Об охоте*—см. примеч. к стр. 267.

36. *Инсургентами* называли в то время американцев, обитателей английских колоний, восставших за свою независимость.

— *Дерю, Антуан-Франсуа* (Desrues, род. 1744)—сын кабатчика; убийца и отравитель. Дерю был казнен в Париже 6 мая 1777 г., но его имя долго еще жило в памяти населения.

— *Франклин, Бенджамин* (Franklin, 1706—1790)—американский государственный деятель и ученый; руководил борьбой Северо-Американских Соединенных Штатов за независимость; в 1777 г. приезжал во Францию и заключил с Людовиком XVI военный союз, оказавший решающее значение на победу руководимых Франклином инсургентов.

37. *Александр Македонский* (356—323 до н. э.) разгромил войска индийского царя *Пора* и взял его в плен (336), но потом вернул ему его царство, после чего Пора сделался союзником Александра.

— *Прусский король*—Фридрих II (1712—1786).

38. *Несколько других царственных имен, заслуживающих славы.*—Имеются в виду Екатерина II и австрий-

ский император Иосиф II, увлекавшиеся под влиянием энциклопедистов идеями «просвещенного абсолютизма».

43. *Монтескье*, Шарль де-Сегонда, барон де-ла-Бред (Montesquieu, 1689—1755)—французский философ и публицист, автор сатирических «Персидских писем» (1721) и трактата «О духе законов» (1748).

46. *Ло*, Джон (Law, 1671—1729)—экономист и финансист, родом шотландец. В 1708 г. он поселился в Париже, а в 1716 г. основал там с разрешения правительства «Всеобщий банк», получивший право выпуска банковых билетов. В 1719 г. Ло был назначен министром финансов. Увлечшись финансовыми спекуляциями, Ло допустил чрезмерный выпуск билетов, не обеспеченных ценностями. Это повлекло за собой крах банка и разорение широчайших слоев населения (1720).

49. *Ла-Фонтен*, Жан (La Fontaine, 1621—1695)—французский поэт и баснописец. Цитата взята из басни «Скупой, у которого украли клад» (IV, 20). У некоего скряги выкрали клад, зарытый им в землю. Когда прохожий, видя его отчаяние, узнал, что он никогда не пользовался кладом, он сказал ему: «Раз вы никогда не пользовались этими деньгами,—положите на их место камень: он будет вам столь же полезен».

— *Шестьдесят лет тому назад*—т. е. в эпоху Регентства (1715—1723).

55. *Приветствуя их гражданскую войну*—см. примеч. к стр. 36.

— *Я знаю только трех великих людей*—слова танцовщика Гаэтано Вестр-Аллара (1743—1781).

56. *Бюффон*, Жорж-Луи Леклер, граф (Buffon, 1707—1788)—французский натуралист, член Французской академии, автор «Естественной истории» (выходила с 1749 по 1789 гг.).

58. *Людовик Толстый* (Louis le Gros, 1081—1137)—французский король с 1108 г.

60. *Отец Жак Мартен* (dom Jacques Martin, 1684—1751)—ученый бенедиктинец, занимался историей Галлии и кельтов. Издал ряд исторических трудов; кроме того обнаружил несколько вновь найденных им мелких сочинений блаженного Августина.

— *Деланд*, Андре-Франсуа Буро (Deslandes, 1690—1757), писал по разнообразнейшим вопросам (филосо-

фия, политика, морское дело, путешествия, судостроение, история), а также стихи. Его трехтомная «Критическая история философии» вышла в Амстердаме в 1737 г. Он был сторонником энциклопедистов.

61. *Фрерон*, Эли-Катрин (Fréron, 1719—1776)—известный в свое время критик и журналист, ярый противник «философов» (энциклопедистов). С 1754 г. начал издавать журнал «L'Année littéraire», находившийся под покровительством королевы и духовенства; нападки Фрерона были обращены главным образом на Вольтера, который в свою очередь не оставался в долгу. Помимо нескольких эпиграмм, Вольтер написал комедию «Шотландка», где высмеял Фрерона под именем Фрелона. Эта пятиактная пьеса была представлена в театре «Французской Комедии» в июле 1760 г.; Фрерон мужественно присутствовал на спектакле, не подавая виду, что речь идет о нем. Известно также четверостишие Вольтера: «Однажды Фрерон был укушен змеей; и что же, вы думаете, произошло? Сдохла змея!»

— *Пирон*, Алексис (Piron, 1689—1773)—французский поэт и драматург. Лучшей его комедией является «Метромания», высмеивающая страсть к стихотворству. Пирон славился остроумием и состязался в острологии с самим Вольтером, причем победа нередко оставалась за Пироном.

62. *Николь*, Франсуа (Nicole, 1683—1757)—французский математик, член Академии наук. В 1727 г. он выиграл три тысячи ливров, предназначенные неким Матюлоном тому, кто докажет ошибочность предложенного им, Матюлоном, разрешения квадратуры круга. Николем написано несколько ученых трудов.

63. *Владельцы вод Сены и Марны*—т. е. откупщики.

64. *Водевиль*—см. примеч. к стр. 233.

65. *Борьба трона с законом*—т. е. борьба канцлера Мопу с парламентом (см. примеч. к стр. 151).

66. ...в нем [в Париже] хозяйничали англичане.— Это один из эпизодов столетней англо-французской войны; англичане владели столицей Франции шестнадцать лет (с 1420 г.)

— *Мальборо*, Джон Черчилль (Marlborough, 1650—1722)—так называемый «Мальбрук»—английский госу-

дарственный деятель и полководец. Он одержал ряд побед над французами в войне за «испанское наследство» (1701—1712).

66. *Виллар*, Луи-Эктор, герцог (Villars, 1653—1734)—один из крупнейших французских военачальников, пэр Франции, член Французской академии. В 1711 г., пока Виллар был болен от полученных им незадолго перед тем ран, его войска потерпели поражение в битве с Мальборо при г. Бушене. Но через год Виллар отвоевал этот город обратно.

— *Зевака*—по-французски badaud; Мерсье строит свое предположение о происхождении этого слова на том, что оно звучит так же, как вместе взятые слова: «bats» («ба»—бью) и «dos» («до»—спина), означающие «бьющий в спину». В действительности слово «badaud» происходит от «baueг» (завезаться) и вовсе не обязано своим существованием нраву парижан.

— *Самаритен* (Самаритянка)—фонтан возле моста Пон-Нёф, построенный в 1603 г.

67. *Сен-Клу*—городок на берегу Сены, в окрестностях Парижа; известен своим парком, распланированным знаменитым садовым декоратором Андре Ле-Нотром (1613—1700).

— *Галиот*—маленькая галера (гребное судно).

— ...*встречаются с Индийской компанией*,—т. е. с флотом этого торгового общества, существовавшего во Франции с 1719 по 1770 г.

68. *Друиды*—древние галльские жрецы.

— *Гора Мон-Валериен*—холм в окрестностях Парижа, где, начиная с XIV века и вплоть до революции, жили монахи-отшельники; в 1634 г. на вершине его был водружен крест.

— *Мадрид*—местечко вблизи Парижа, возникшее около замка, построенного здесь Франциском I в 1528 г.

— *Замок, в котором был заточен в Испании Франциск I*.—Франциск I, оспаривая императорскую корону у римского императора и испанского короля Карла V, потерпел поражение, попал в плен и был временно заточен в г. Падуе (северная Италия), а затем в Испании (в 1525 г.)

69. *Расинисты*—т. е. поклонники французского драматурга Расина (1639—1699).

69. *Монтень*, Мишель (Montaigne, 1533—1592)—французский философ-скептик, автор «Опытов».

— Острота о наивности парижанина, который вышел поглядеть, как по облакам проедет *равноденствие*, приписывается дипломату и географу. Одифре (Audifret, 1657—1733).

— *Мушка* (mouche—муха)—карточная игра, в которой игроки стремятся собрать в своих руках пять карт одной масти; эта комбинация также называется «mouche».

71. *Ювенал*, Децим-Юний (Juvenalis. около 60—140 н. э.)—римский поэт-сатирик.

76. *Луара*—самая большая река Франции.

77. *Плиний Младший* (62—ок. 120 н. э.)—римский писатель, автор «Писем»—памятника, богатого картинками древнеримских нравов. Цитата взята из IX письма I книги «Писем». Вслед за цитатой Мерсье приводит и ее перевод.

87. *Бисепр*—замок, построенный в XIII веке; в XVIII столетии служил одновременно больницей, приютом и исправительным домом; тут же помещалась тюрьма и убежище для сифилитиков.

89. *Турго*, Анн-Робер-Жак (Turgot, 1727—1781)—французский государственный деятель и экономист; будучи министром финансов (contrôleur général des finances), он снизил некоторые пошлины в интересах торгово-промышленной буржуазии, чем вызвал недовольство дворянско-феодалных кругов, принудивших его к отставке в 1776 г.

90. *Геркулесовы столбы*—так назывался в древности Гибралтарский пролив.

92. *Персонаж Мольера*.—В III действии «Несносных» Мольера одно из действующих лиц собирается подать королю следующее прошение: «Ваше величество, ваш наисмирненнейший, наипокорнейший, наивернейший, наученейший подданный и слуга Каритидес, француз по происхождению, грек по профессии, усмотрев важные погрешности в надписях на вывесках домов, лавочек, трактиров, игрищ и других мест вашего славного города Парижа, между тем как круглые невежды, составители вышеупомянутых надписей, своей

варварской, вредной и гнусной орфографией искажают в них всякий смысл, не обращая ни малейшего внимания на этимологию, аналогию, энергию и аллегоричность, к большому соблазну как ученого сословия, так и всей нации, которая вышеуказанными погрешностями и грубыми ошибками бесчестится перед иностранцами, особенно немцами, с любопытством читающими и наблюдающими вышеуказанные надписи...—нижайше умоляет ваше величество учредить для блага государства и для вышней славы царствования должность контролера, директора, корректора, ревизора и возобновителя вышеуказанных надписей» и т. д.

Пожелание мольеровского персонажа было исполнено, но несколько позже: в 1810 г. в Париже было учреждено особое наблюдение за вывесками.

92. *Cul-de-sac*—означает «тупик». Отдельно слово «cul» (кю) в просторечии означает дно какого-нибудь предмета, а также—«зад» и звучит не совсем пристойно. Вольтер возмущался подобным обозначением «тупика» (см. примеч. к стр. 391).

95. *Хильдебер*—имя трех франкских королей. Наиболее известен сын Хлодвига—Хильдебер I (495—558); столицей его королевства был Париж.

— *Ольтрогота* (ум. после 558)—жена Хильдебера I.

— *Хильперих*.—Имеется в виду Хильперих I, сын Хлотара, франкский король из династии Меровингов; жил с 539 по 584. Перевод надгробной надписи: «Я, Хильперих, умоляю, да не тронут отсюда костей моих».

— *Фредегунда* (545—596), будучи придворной дамой в свите Одоверы, супруги Хильпериха, сделалась любовницей короля и целым рядом преступлений, интриг и убийств расчистила себе дорогу к трону. Став королевой, она вдохновила убийство короля. Впоследствии ей пришлось вести несколько междоусобных войн, защищая права своего малолетнего сына, причем иногда она сама шла во главе войск. Она изображена на надгробной плите в королевском облачении, с лицом, закрытым вуалью в знак вдовства. Эта прекрасная мозаика находилась в монастыре Сен-Жермен-де-Пре еще в XVIII веке; впоследствии она была перенесена в Кюльнский музей.

95. *Северные разбойники*—норманны, полудикие германские племена, населявшие Скандинавию и занимавшиеся пиратством. Во Франции они появились впервые в начале IX столетия, затем стали делать набеги почти ежегодно, все глубже и глубже проникая в страну и доходя до самого Парижа. В X веке норманны основали на северном берегу Франции герцогство Нормандию.

— *Геркуланум*—древнеримский город, залитый лавой при извержении Везувия в 79 г. н. э. *Портичи*—современный город, выросший на месте Геркуланума. Здесь у Мерсье описка—он имеет в виду не Портичи, а Помпею, которая была засыпана одновременно с Геркуланумом.

— *Людовик Кроткий*—Людовик I (778—840), сын Карла Великого, король франков и германский император.

— *Отец Даниэль*, Габриэль (Daniel, 1649—1728)—французский иезуит, богослов и историк. Его «История Франции» (полное издание вышло в 1755—1760 гг. в семнадцати томах) подверглась резкой критике со стороны Вольтера и Мабли. Кроме «Истории» известны его «Entretiens de Cléandre et d'Eudoxe», заключающие в себе защиту иезуитов от нападок Паскаля (в «Провинциальных письмах»).

96. *Колиньи*, Гаспар де-Шатильон, граф (Coligny, 1517—1572)—французский адмирал. Около 1560 г. перешел из католичества в кальвинизм и с тех пор стал одним из вождей гугенотов. К началу 1570 г. французский король Карл IX примирился с Колиньи, так как задумал присоединить к Франции Нидерланды, а примирение с Колиньи должно было расположить в его пользу реформатское население Нидерландов. По пропискам католической Лиги на Колиньи было совершено несколько покушений, в том числе 22 августа 1572 г., когда Колиньи был легко ранен в руку; на другой день он пал одной из первых жертв Варфоломеевской ночи.

97. *Карл IX стрелял в своих подданных*.—Эта версия не подтверждается историческими данными.

— *Отправиться в Луар*—т. е. во Французскую академию. Первоначально Академия не имела собственного

помещения, а собиралась на дому у одного из своих членов; Людовик XIV предоставил ей одну из зал Лувра, где она и заседала вплоть до революции, когда была распушена «как рассадник интеллектуального аристократизма».

97. *Д'Аламбер*, Жан Ле-Рон (d'Alembert, 1717—1783)—французский геометр и литератор, один из основателей «Энциклопедии»; идеолог предреволюционной буржуазии, член Французской академии с 1754 г.

99. *Руссо*, Жан-Жак (Rousseau, 1712—1778)—французский философ и писатель, один из провозвестников французской буржуазной революции XVIII века. Упоминаемый в тексте эпизод рассказан им в автобиографическом сочинении «Прогулки одинокого мечтателя».

— *Фаятон* (греч. миф.)—сын Гелиоса (Света), управлявший колесницей своего отца; в переносном смысле вообще правящий лошадьми.

105. *Пасифая* (греч. миф.)—женщина, восплававшая страстью к быку; ее образ является олицетворением женской чувственности.

109. *Опыты по разложению и соединению элементов воздуха*.—Имеются в виду опыты Лавуазье (1743—1794).

114. *Вестр-Аллар* (Vestr'Allard), или Вестрис II (1760—1842)—сын Газтано Вестриса, французский танцовщик, выступавший на сцене Парижской оперы с 1780 по 1818 г. Из слов Мерсье можно заключить, насколько быстро распространилась его слава (Мерсье пишет в 1781 г.).

116. «*Две тысячи четыреста сороковой год*»—утопический роман Мерсье (1770), в котором автор под прикрытием фантастики дал резкую критику существующего строя и предложил ряд мероприятий, частично осуществленных во время французской революции 1789 года. Роман Мерсье был в свое время запрещен к продаже.

119. *Ленуар*, Жан-Шарль-Пьер (Lenoir, 1732—1810)—начальник парижской полиции; значительно улучшил благоустройство города, учредил ломбард.

120. *Биас*—один из семи древнегреческих мудрецов; жил в Лидии (Малая Азия) во времена царя Креза (VI век до н. э.). Когда персы подходили к его родному

городу, все жители бросились бежать, причем каждый старался захватить с собою как можно больше имущества; один Биас уходил с пустыми руками. На вопрос, почему он так поступает, он ответил фразой, которая в латинской интерпретации гласит: «*Omnia mea mecum porto*» («Все свое ношу с собой»), давая понять, что нет ничего ценнее мудрости.

123. *Бисетр*—см. примеч. к стр. 87.

124. *Лиар*—денежная единица, равная четверти су.

125. «*Бабийяр*» («Болтун») — название трех французских журналов; оно заимствовано у английского журнала «*The Tattler*», издававшегося Стилем.

— *Пон-Нёф* (Новый мост) — один из старейших парижских мостов, заложенный на месте сгоревшего в 1578 г.; долгое время являлся самым оживленным пунктом Парижа — местом прогулок, гуляний, торговли, — тем, чем стали в XIX веке бульвары.

126. *Картуш*, Луи-Доминик (*Cartouche*, 1693—1721) — знаменитый французский вор; долгое время был неуловим; в своих приключениях и грабежах он выказывал незаурядную ловкость, изобретательность и хладнокровие. В 1721 г. его, наконец, поймали и колесовали. Жизнь и приключения Картуша послужили темой нескольких книг.

— *Гастон Орлеанский* (1608—1660) — брат Людовика XIII; всю жизнь вел неудачную борьбу на стороне феодальной аристократии против кардинала Ришельё и участвовал во многих заговорах.

— Мы условно передали словом «кутузка» французское «*four*» (дословно «печь»). Так во времена Людовика XIII и Людовика XIV назывались во Франции рекрутские конторы, куда заманивали молодых людей с целью завербовать их в солдаты.

128. «*Первый, кто стал королем, был удачливым солдатом*» — стих из трагедии Вольтера «*Мероп*» (1743).

— *Том*, прозванный Великим — известный лекарь-шарлатан, живший в XVII столетии; он обычно действовал на мосту Пон-Нёф, где, стоя в своеобразной повозке, торговал чудодейственной целебной водой, лечил больных и рвал зубы.

130. *Ле-Кур* (*Le Cours la Reine*) — вязовая аллея в Париже, посаженная в 1616 г.; в старину была

местом прогулок придворных и высшей аристократии; бедно одетые горожане туда не допускались; в наше время—рядовая улица.

133. *Театинцы*—католический монашеский орден, основанный в Риме в 1524 г. Их церковь стояла на набережной Сены; теперь это набережная Вольтера.

135. *Туаз*—старинная французская мера длины, равная почти двум метрам.

141. *Бенефиция*—должность католического духовного лица, вознаграждением за которую служил доход с какой-нибудь недвижимости.

145. *Алквиад* (451—404 до н. э.)—древнегреческий полководец и государственный деятель, ученик Сократа; богато одаренный от природы, он отличался тщеславием и высокомерием и не раз переходил от одной партии к другой.

146. *Кавалер ордена Сен-Луи*.—Этот орден был основан Людовиком XIV в 1693 г.; им жаловались военные, прослужившие не менее двадцати восьми лет и отличившиеся подвигами; вначале он состоял из тридцати двух человек; незадолго до революции (1779 г.) число кавалеров 1-й и 2-й степеней было увеличено до ста двадцати человек, при неограниченном числе кавалеров 3-й степени (chevaliers).

— *Превиль*, Пьер-Луи (Préville, 1721—1799)—французский комический актер, славившийся искусством перевоплощения.

148. *«Газет де-Франс»* («Gazette de France») — старейшая французская газета, основанная 30 мая 1631 г.

151. *Мопу*, Рене-Никола-Шарль-Огюстин (Maureou, 1714—1792)—французский канцлер при Людовике XV; вел упорную борьбу с парламентом, стремясь ограничить его права, и в конце концов вовсе разогнал его (1771). Своей деятельностью Мопу заслужил всеобщую ненависть; памфлеты сыпались на него градом; один из таких памфлетов имеет в виду Мерсье.

153. *Полицейские Тезей*.—Тезей—легендарный греческий герой, которому, среди прочих подвигов, миф приписывал освобождение соотечественников от разбойников.

Последнее обстоятельство и дает повод к сравнению с ним парижских полицейских.

154. *Мушар* (mouchard)—полицейский сыщик, шпион; некоторые производят это слово от фамилии Антуана де-Муши (Mouchy). Муши был профессором Сорбонны и французским инквизитором, упорно борющимся с протестантами. Он умер в 1574 г. Другие выводят слово «mouchard» от «mouche» (муха): сыщик, подобно мухе, проникает всюду. Правильно, повидимому, второе объяснение.

157. *Педро Жестокый* (Pedro el Cruel, 1334—1369)—кастильский король, прославившийся своими преступлениями; он погиб в рукопашной схватке со своим братом Энрике де-Трастамара, ставшим во главе недобровольных королей. Жизнь Педро описана Проспером Мериме («Histoire de don Pierre I, roi de Castille», 1848).

158. *Ревербер*—фонарь, снабженный отражателем.

162. *Бисетр*—см. примеч. к стр. 87.

— *Прюот* (Hôpital)—исправительный дом для бродяг, нищих и проституток.

164. *Отель-Дьё* (Hôtel-Dieu)—старейшая парижская больница, основанная в IX веке.

— *Морн* (La Morne).—Так Мерсье ошибочно называет городской морг; в действительности по-французски морг—«la morgue».

166. *Отель-Дьё*.—Во время пожара, вспыхнувшего в этой больнице в ночь на 31 декабря 1772 г., сгорело три четверти всех ее строений; на пепелище было обнаружено одиннадцать обуглившихся трупов; пожар длился одиннадцать дней. Пожар 1 августа 1737 г. был гораздо меньших размеров; он захватил только верхние этажи.

— *Понт-о-Шанж* (мост Менял)—один из старейших парижских мостов, соединяющий остров Сите с правым берегом Сены; по сторонам его в старину ютились многочисленные лавочки.

167. *Пале* (Palais)—бывший королевский дворец; начиная с XIV века и вплоть до революции—резиденция парламента. В марте 1618 г. почти все здание дворца было уничтожено огнем. Пожар приписывали тогда сообщникам католика-фанатика Равайака, убившего короля Генриха IV в 1610 г.; предполагали, что католическая партия, боясь разоблачений, надеялась этим

пожаром уничтожить хранившиеся в Пале следственные данные по делу Равайака. Сам подсудимый, несмотря на жестокие пытки, утверждал, что действовал единолично. Позднейшие исторические разыскания заставляют думать, что у него действительно не было сообщников. Во время пожара 10 января 1776 г. все здание Пале было уничтожено огнем.

167. *Г-н де-Сартин*, Антуан-Ремон-Жан-Гальбер-Габриэль, граф д'Альби (Sartine, 1729—1801)—начальник полиции; ввел много полезных мероприятий в области благоустройства города и народного образования. Поставив на большую высоту тайную полицию, он злоупотреблял и пользовался ею для всевозможных интриг. В 1774 г. он был назначен государственным советником, а вскоре затем—морским министром.

171. *Флора и Помона* (римск. миф.)—богини цветов и древесных плодов.

172. *Антре* (entrée)—первое блюдо, подаваемое за обедом или ужином (помимо закусок).

— *Антрме* (entremets)—легкие промежуточные блюда (в том числе и салат, который во Франции подается в виде особого блюда).

173. *Ваде*, Жан-Жозеф (Vadé, 1720—1757)—французский поэт и драматург, сын мелкого торговца. Ваде создал особый литературный стиль, так называемый «genre roissard»,—стиль рыночных торговки. Ваде имел большой успех у пресыщенного великосветского общества и заслужил прозвище «Калло поэзии» или «Тенирса литературы» (по именам французского гравера Калло, 1592—1635, и фламандского живописца Тенирса, 1610—1690, известными воспроизведением народной жизни). Одно из лучших его сочинений—маленькая «эпикотраги-рыночно-герои-комическая» поэма «Разбитая трубка» (1757).

— *Маркиз де****.—Повидимому, речь идет о маркизе де-Саде (1740—1814), скандальные приключения которого привлекали в то время всеобщее внимание. Порнографические романы маркиза еще не появились (он начал писать, сидя в Бастилии, в 1784 г.), но в 70-х годах много разговоров возбуждало предъявленное ему обвинение в разврате и отравлении; де-

ло это длилось несколько лет; де-Саду не раз удавались побег из тюрем, и не раз дело возобновлялось сызнова.

173. *«Жанно»*.—Повидимому, речь идет о комедии Флориана (1755—1794) *«Жанно и Колен»* (*«Jeannot et Colin»*), в основе которой лежит одноименная повесть Вольтера. Комедия Флориана была представлена в первый раз в парижском Итальянском театре в ноябре 1780 г.

— *«Разбитая трубка»*—см. примеч. к стр. 175.

— *«Графиня Тасион»*—модная в то время шуточная повесть *«Lettre écrite à M-me la Comtesse Tation par le sieur de Bois-Flotté»* (1770). Название ее можно прочитать и как «Письмо к графине Пасьон от сеньера де-Буа-Флотте» и как «Письмо к графине Ссоре от Пильщика сплавного леса». Весь текст повести состоит из таких же каламбуров. Автором этой шутки является известный каламбурист, маркиз де-Биевр (*de-Bievre*, 1747—1789), внук придворного врача Людовика XIV.

179. *Милон Кротонский*—греческий атлет, живший в VI веке до н. э. и отличавшийся необыкновенной силой и пророчливостью.

181. *Баваруаз*—сладкий напиток из смеси чая, молока и настоя душистой травы капилярии.

183 ...*накладывает свой штемпель на все деловые бумаги*—т. е. свидетельствует об уплате гербового сбора, взятого им на откуп.

185. *Никола Сальвар, Лоран Давид и Жан Алятер*—откупщики того времени.

191. *Изгнать из своих владений докторов, как это сделал римский сенат*.—В древнем Риме врачами были, главным образом, греки, которые в качестве иностранцев не пользовались правом гражданства и изгонялись, когда в стране наступал голод.

192. *«После меня—хоть потоп!»* (*«Après moi le déluge!»*)—слова Людовика XV: «Парламент—это собрание республиканцев; они в конце концов погубят государство. Впрочем, до моей смерти изменений опасаться нечего, а после меня—хоть потоп!»

193. *Большой и малый траур*.—Траурный этикет в XVIII веке был разработан чрезвычайно тщательно и представлял собою сложную систему различных правил; придворный траурный этикет был сформулирован в книге: «*Ordre chronologique des deuils de la cour*» («Хронологический порядок трауров при дворе», 1765).

196. *Cursum consummavit*—по-латыни «досыта набегался».

198. *Брут*, Марк-Юний (85—42 до н. э.)—римский государственный деятель; участвовал в заговоре против Юлия Цезаря и в его убийстве, организованном аристократической республиканской партией, отстаивавшей свое господствующее положение в стране.

— *Катон*, Марк-Порций—имя двух выдающихся римских государственных деятелей: Катон Старший жил с 234 по 149 до н. э.; правнук его—Катон Утический—с 95 по 46 до н. э.

— *Сципион Африканский* (185—129 до н. э.)—римский полководец; покорил Испанию, одержал решающую победу над войсками Аннибала.

199. *Цицерон*, Марк-Туллий (Сисего, 106—43 до н. э.)—римский государственный деятель и оратор. Оставшиеся после него, в числе других его многочисленных сочинений, «Письма» или «Послания» являются ценнейшим документом той эпохи; переписка его была огромна (около ста томов), но большая часть ее до нас не дошла.

— *Тит Ливий*—крупнейший римский историк (59 до н. э.—17 н. э.). «*Декады*»—позднейшее название его «Истории»; первоначальное название ее до нас не дошло. Из всего труда, состоявшего из 142 книг, сохранилось лишь 35 (три с половиной декады).

— *Аннибал* (247—183 до н. э.)—карфагенский военачальник; вел продолжительную войну с римлянами.

— *Поход Цезаря*—см. примеч. к стр. 245.

200. *Юлий Цезарь*, бывший в последние четыре года жизни единовластным диктатором в Риме, был убит заговорщиками в 44 г. до н. э.

— *Катон Утический* покончил жизнь самоубийством, пронзив себя кинжалом, в 46 г. до н. э.

200. *Тарквинии* — древнеримский царский род. Мерсье имеет в виду Люция Тарквиния Коллатина. После самоубийства его жены Лукреции, оскорбленной сыном царя Тарквиния Гордого, Коллатин стал вместе с Брутом во главе народа, восставшего против Тарквиниев.

— *Трибуны*—должностные лица в древнем Риме, избиравшиеся плебсом (простым народом) для защиты его интересов.

— *Децемвиры*—члены коллегии Десяти, правившей одно время Римом.

— *Сенаторы*—члены собрания старейших (в Риме). Число сенаторов колебалось в разные эпохи от трехсот до девятисот человек. Сенат являлся, главным образом, совещательным органом, но в разные эпохи на него возлагались и некоторые административные функции; так, например, в эпоху республики (510—31 до н. э.) он ведал делами внешней политики, финансовыми и религиозными вопросами.

— *Консулы*—в древнем Риме два выборных лица, в руках которых была сосредоточена верховная власть.

201. *Уинслоу*, Джемс (Winslow, 1669—1760)—анатом, член Французской академии наук, датчанин по происхождению. В 1698 г. поселился в Париже, где под его руководством был построен анатомический театр.

202. *Феррен*, Антуан (Ferrein, 1693—1769)—французский анатом; был известен, главным образом, как педагог. Из его немногочисленных научных трудов наибольшее значение имело исследование о человеческом голосе; в этой книге, вызвавшей много толков, Феррен высказал мысль, что голос человека является «струнным инструментом».

203. *Кламар* (Clamart)—одно из парижских кладбищ. Любопытно отметить, что как раз на этом кладбище, где во времена Мерсье анатомы выкрадывали трупы, много лет спустя (1833) был построен анатомический театр.

— *Сальпетриер* (Salpêtrière)—убежище для престарелых женщин и лечебница для душевнобольных в Париже.

203. «*Hic labor, hoc opus*»—неточная цитата из «Энеиды» Вергилия (VI, 129). Предупреждая Энея о трудностях, связанных с возвращением из ада, Сибилла говорит ему: «*Hoc opus, hic labor est*», т. е.: «Вот в чем трудность, вот в чем задача».

— *Королевская хирургическая академия* основана в 1731 г.

— *Сорбонна*—старейшее высшее учебное заведение Франции. Оно было основано в XIII веке духовником Людовика Святого, Робером де-Сорбон (Sorbon).

204. *Бюффон*—см. примеч. к стр. 56.

205. *Мавзолей кардинала Ришельё*—одно из лучших произведений знаменитого скульптора Франсуа Жирандона (1628—1715).

— *Кардинал Ришельё* основал Французскую академию (1634) и выстроил новое здание Сорбонны (заложенное в 1627 г. и существующее поныне).

206. *Писцы из Шарнье-Инносан*.—Шарнье-Инносан—прозвище, данное кладбищу Невинных благодаря тому, что там имелось обширное место для складывания костей умерших (charniers).

Общественные писцы сидели обычно на площадях или возле кладбищ. Для подбодренья клиентов и клиентов, доверявших им свои тайны, иные из них вывешивали у своих будочек вывеску: «Могила тайн».

209. *Регент*—Филипп Орлеанский (1674—1723); правил Францией за несовершеннолетнего Людовика XV с 1715 по 1723 г.

210. *Диакон Парис*, Франсуа (Paris, 1690—1727), происходил из судейской семьи, но пошел в духовенство. Когда он умер, распространились слухи о чудесах, творящихся на его могиле; народ хлынул туда: верующие в исступлении ели землю с могилы или уносили ее с собой как святыню; кликуши и одержимые впадали в экстаз. Возбуждение народа достигло такой силы, что в 1732 г. правительство вынуждено было закрыть кладбище, где был похоронен диакон. Богословские труды его были изданы посмертно (1732 и 1740 гг.).

211. *Маре* (Болото)—один из восточных кварталов Парижа, застроенный при Людовике XIII.

212. *«Меркюр де-Франс»*—один из старейших французских журналов, основанный в 1672 г. В XVII—XVIII столетиях являлся органом, рассчитанным на вкусы высшей аристократии; значительное место уделял придворным и великосветским новостям.

213. *«Астрея»*—пятитомный роман д'Юрфе (написан в 1610—1624), *«Клелия»*—роман в десяти томах мадемуазель де-Скюдери (1656), *«Артамен, или Кир Великий»*—ее же десяти томный роман (1650). Еще Буало в своих сатирах (III, X) и в поэме «Аналой» (V) осмеял эти приторные и бесконечно длинные романы.

215. *Келюс*, Анн-Клод-Филипп де-Тюбиер, граф (Caylus, 1692—1765)—французский археолог, член Французской академии художеств и Академии надписей, производил раскопки в Азии и вывоз оттуда много ценного материала. Келюс был кроме того офортисом и литератором, написавшим ряд беллетристических произведений.

216. *Лувр*—королевский дворец, заложен в 1541 г. Франциском I; с тех пор как Людовик XIV стал увлекаться Версалем, т. е. начиная с 1680 г., Луврский дворец был почти заброшен; в 1754 г., при Людовике XV, начались работы по обновлению дворца, но из-за отсутствия денег они подвигались так медленно, что к началу революции еще не были закончены. Со времени революции большая часть луврских зданий превращена в музей.

— *Пале-Бурбон* был построен в 1722 г. для герцогини Бурбонской, а в 1770-х годах обновлен и расширен ее внуком, принцем Конде; работы, предпринятые последним, длились вплоть до начала революции; в наше время в этом дворце заседает Палата депутатов.

— *Патт*, Пьер (Patte, 1723—1814)—французский архитектор и гравёр, руководил иллюстрационной частью «Энциклопедии», но затем поссорился с Дидро и Д'Аламбером и стал сотрудничать в газете Фрерона (см. примеч. к стр. 61). Когда Суффло выстроил церковью святой Женевьевы (будущий Пантеон), Патт предупредил о предстоящем неминуемом обвале здания ввиду ошибки в расчетах. Слова его, однако, были встречены насмешками, причем особенно язвительно выступали энциклопедисты. В 1780 г. строение дало значитель-

ные трещины; но укреплением здания занялись только после революции, когда из этой церкви был сделан Пантеон для погребения особо отличившихся граждан, причем работы по укреплению велись под руководством Патта, так как сам Суффло к тому времени умер.

218. *Пожар Пале*—см. примеч. к стр. 167.

222. «*Neto dat quod non habet*»—латинская поговорка, означающая: «Нельзя дать того, чего сам не имеешь».

— *Тонзура*—кружок, выбриваемый на макушке у католических духовных лиц в знак отречения от мирских дел. Этим обрядом человек посвящается в первый духовный сан.

— *Лауса*—имя нескольких знаменитых древнегреческих куртизанок, сделавшееся нарицательным для женщин легкого поведения.

224. *Триденнский собор* происходил в 1545—1563 гг. в Триенте (северная Италия); он был создан для примирения католичества с протестантизмом, в действительности же привел к укреплению католичества, усилению власти папы и обоснованию еще более нетерпимого отношения к «еретикам».

225. *Пирон*—см. примеч. к стр. 61.

226. *Дуэль* возникла у германцев как следствие господствовавшего у них условного понятия о чести. Особенно распространены были дуэли во Франции при Людовике XIII и Людовике XIV, причем они большей частью возникали по ничтожным поводам. Для борьбы с ними Людовик XIV издал одиннадцать указов, из которых один (1679) карал как участников поединка, так и секундантов смертной казнью, а другой (1704) устанавливал ряд наказаний за оскорбление чести (в том числе и тюремное заключение); кроме того, пострадавший имел право сам отплатить своему обидчику тем же оскорблением. Но все эти мероприятия не достигали цели.

232. *Мазарини*, Джулио (Mazarini, 1602—1661)—кардинал, родом итальянец, французский государственный деятель; управлял Францией во время несовершеннолетия Людовика XIV. Оппозиция осыпала его градом памфлетов, так называемых «мазаринад», часть которых была издана в 1853 г. и составила пять томов.

Мазарини мало тревожился эпиграммами, пасквилями и песенками своих противников, говоря: «Пусть поют,— лишь бы платили!»

233. Мерсье употребляет слово *водевиль* в его первоначальном значении, т. е. в значении веселой, легкомысленной песенки.

— *Вилларе и Гарнье*—французские историки. Claude Villaret (1716—1766) в молодости, разорившись, сделался странствующим комедиантом. Он известен, главным образом, как продолжатель «Истории Франции», начатой Велли. После него этот труд продолжал Jean-Jacques Garnier (1729—1805), который, кроме исторических трудов, оставил ряд философских работ.

236. *Чемерица*—растение, которому в прежние времена приписывалось лечебное действие против безумия.

— ...*покайся всенародно*.—Публичное покаяние—один из видов наказания в дореволюционной Франции.

240. *Николь*—см. примеч. к стр. 62.

243. «*Nec puda, nec ornata placet alma veritas*»—латинская поговорка, означающая: «Правда не нравится ни в обнаженном, ни в приукрашенном виде.

245. *Илион*, или *Троя*—город в Малой Азии, осада которого воспета в «Илиаде» Гомера.

— *Атлантида*—легендарная земля, якобы находившаяся некогда к западу от Гибралтарского пролива, а затем затопленная морем. Существование Атлантиды хотя и возможно, но достоверно не доказано.

— *Байи*, Жан-Сильвен (Bailly, 1736—1793)—выдающийся французский астроном, член Французской академии наук; являясь представителем либеральной буржуазии, играл видную роль в начале революции (был избран мером Парижа и председателем Национального собрания), но затем был обвинен в сочувствии королю и гильотинирован. Мерсье имеет в виду его «Историю астрономии» (1781); автор развил здесь гипотезу о существовании в незапамятные времена некоего высококультурного народа, который передал историческим народам свои знания, а сам остался неизвестен. Эта гипотеза Байи не выдерживает критики.

— *Бюффон*—см. примеч. к стр. 56. Опыты Бюффона с раскаленным бронзовым ядром послужили

основанием его теории образования земли, изложенной им в трактатах: «Теория земли» (1749) и «Эпохи природы» (1778).

245. *Нашествие римлян.*—Завоевание римлянами Галлии началось в 154 г. до н. э. и было завершено Юлием Цезарем в 59—51 гг. до н. э.

— *Паризии-мореходы.*—Париж зародился на островке, образованном двумя рукавами Сены (нынешний квартал Сите). Жители древнего Парижа—паризии—занимались торговлей, передвигаясь по Сене. Отсюда и прозвище «паризии-мореходы».

— *Армориканская республика.*—нынешняя Бретань. Во времена римского завоевания арморийцы (кельты) стойко боролись за свою независимость.

246 *Хлодвиг*—см. примеч. к стр. 249.

— *Как китайцы поступили с татарами.*—Татары, или, вернее, монголы вторглись в Китай в XIII веке при Чингис-хане, занявшем Пекин в 1215 г.; монголы многое позаимствовали у более культурных китайцев.

— *Буке*, Мартен, аббат (Bouquet, 1685—1754)—бenedиктинец-историк; опубликовал материалы по истории Галлии.

— *Буленвилье*, Анри, граф (Boulainvilliers, 1658—1722)—французский историк средневековья; являясь представителем феодального дворянства, он утверждал, что феодальные отношения—наиболее совершенная форма государственности.

249. ...его брак с *Клотильдой.*—Франкский король Хлодвиг I женился на дочери бургундского короля Хильперика—Клотильде. Отец ее был убит родным братом, захватившим в свои руки всю Бургундию. Клотильда, как и все бургундцы, была христианкой и, выйдя замуж за Хлодвигу, обратила его в свою веру; он принял крещение в Реймсе в 496 г. от Реми (437—533). По преданию, во время обряда Реми сказал королю: «Склони голову, гордый сикамбр; отныне возлюби то, что ненавидел, и ненавидь то, что любил». Хлодвиг вел многочисленные и успешные войны и объединил под своей властью всю Галлию, но после его смерти она вновь была разделена (между его сыновьями).

249. *Аларих II*—король германского племени вестготов, совершавшего набеги на Францию в конце V и начале VI веков. Хлодвиг разбил полчища вестготов и собственноручно убил Алариха (507).

249. *Законы бургундский, салический и рипуарский.*—Бургундский закон (*Lex Gundobada*) составлен при бургундском короле Гундобальде, около 501 г.; в основе его лежит римское право. Салический закон—так называемая «Салическая правда» (*Pactus legis salicæ*)—возник приблизительно в ту же эпоху у салических франков. Рипуарский закон (*Lex Ribuariorum*)—сборник народного права рипуарских (прирейнских) франков; он составлен в VI—VII веках по образцу «Салической правды».

250 *Граф Эд* (*Eudes*, ум. 898)—граф Парижский; успешно защищал Париж от нападений норманнов в 885 г. и после свержения Карла Толстого был избран королем Франции (887).

— *Гуго Капет* (938—996)—родоначальник третьей династии французских королей—Капетингов.

— *Карл Великий* (742—814)—король франков, путем непрерывных войн объединивший под своей властью громадное государство; в 800 г. папа короновал его римским императором.

251. *Генеральные штаты*—собрание сословных представителей в дореволюционной Франции; впервые были созваны в 1302 г. королем Филиппом Красивым, искавшим в стране поддержки во время распри с папою Бонифацием VIII. Впоследствии, вплоть до 1610 г., Генеральные штаты неоднократно созывались для решения важных государственных, преимущественно налоговых вопросов. В последний раз они были созваны в 1789 г. и вскоре провозгласили себя Национальным, а затем Учредительным собранием. Этим было положено начало французской революции.

— *Валуа*—ответвление рода Капетингов, занимавшее французский престол с 1328 по 1498 г.

— *Ангюлемский дом*—младшая линия рода Валуа; ее представители были на троне с 1515 по 1589 г.

— *Вторая династия*—Каролинги, занимавшие французский престол с 752 по 987 г.

252. ...*Париж разорен норманнами*. Во второй половине IX века норманны шесть раз захватывали Париж.

— *Последний отпрыск Карла Великого*—французский король Людовик V Ленивый (966—987), наследовавший своему отцу Лотарю в 986 г. Он умер на второй год после восшествия на престол; предполагают, что он был отравлен по наущению Гуго Капета, родоначальника третьей династии французских королей (Капетингов).

253. *Баяр*, или *Баярд*, Пьер дю-Террай (сеньёр de Bayard, 1473—1524)—знаменитый французский военачальник, прозванный «рыцарем без страха и упрека».

— *Дюгеклен*, Бертран (du Guesclin, 1320—1380)—крупнейший французский полководец, прославившийся в нескольких войнах.

— *Крийон*, Луи (de Crillon, 1543—1615)—французский полководец, сподвижник Генриха IV Наваррского.

254. *Сражение при Фарсале*.—Перед сражением при Фарсале (48 до н. э.) Юлий Цезарь дал распоряжение своим солдатам не метать копий издали, а держать их при себе и метить в лицо противнику; он знал, что конница противника состоит из юношей-аристократов, весьма дорожащих своей внешностью. И действительно, конница Помпея первая обратилась в бегство, тем самым предрешив блестящую победу Цезаря.

259. *Воды Леты* (греч. миф.).—Лета—река забвения в подземном царстве. Выпив из нее воды, умершие забывали все прошлое.

260. *Тюрлюпинады*—грубые веселые фарсы, обаянные своим происхождением трем уличным парижским комедиантам XVII века—Тюрлюпену, Гро-Гийому и Готье-Гаргюю.

261. *Фемида* (греч. миф.).—древнегреческая богиня правосудия.

262. «*Крючоктворство дает за кусок золота груды бесполезных бумаг*»—цитата из шуточной поэмы Буало «Аналой» (V).

263. *Юстиниан* (483—565)—византийский император. Составленный по его распоряжению кодекс законов включает в себе все ранее изданные императорские указы. Императрица Феодора, жена и деятельная

помощница Юстиниана, в молодости была цирковой актрисой.

264. *Шатле* (Grand Châtelet)—верховный суд в Париже.

266. *Дигесты*—одна из частей кодекса Юстиниана (см. примеч. к стр. 263). Дигестами называются также компилятивные труды римских юристов, дающие систематический обзор всего римского права или отдельных его частей.

— *Д'Аржанс*, Жан-Батист де-Буайе, маркиз (d'Argens, 1704—1771), в молодости был военным, но вследствие увечья при падении с лошади вынужден был бросить военную карьеру и посвятил себя литературе; долгое время провел в Берлине при дворе Фридриха II. Им написаны: «Еврейские, китайские и кабалистические письма», «Философия здравого смысла», «Воспоминания» и др.

267. *Генрих IV Наваррский*—король Франции с 1589 по 1610 г. В старину французские законы предусматривали суровые наказания за браконьерство: штраф, плеть, изгнание, клеймение, в повторных случаях—сылку на галеры; указы 1515 и 1601 гг. карали злостных браконьеров смертной казнью (указы эти были отменены в 1669). Мерсье касается этого вопроса, несомненно, под впечатлением указа от 9 марта 1780 г., который предусматривал за организованное браконьерство (составление шаек и т. п.) ссылку на галеры. Однако Мерсье ошибается, говоря, что смертную казнь за незаконную охоту впервые ввел Генрих IV: его указ (1601) лишь подтверждал указ 1515 г.

268. *Протей* (греч. миф.)—морское божество, обладающее способностью принимать разнообразные облики.

271. *Эшвен*—чиновник городской управы, член коммунального совета (в дореволюционной Франции).

274. *Биньон*, Жером (Vignon, 1589—1656)—французский чиновник, один из образованнейших людей своего времени, автор «Трактата о превосходстве французского короля и французского королевства» (1610) и других сочинений. Его первая работа «Хронология Святой земли» была издана в Париже, когда автору было десять лет (1600). Впоследствии он занимал ряд

высоких должностей. Генрих IV назначил его воспитателем дофина—будущего Людовика XIII.

274. *Лукиан* (125—200)—греческий софист и сатирик, автор «Диалогов», высмеивающих нравы, философию и религию античного мира.

— *Буриданов осел*.—Схоластический философ XIV века Жан Буридан (или, вернее, Бюридан), опровергая теорию свободы воли, привел в пример осла, который испытывает одинаково острые голод и жажду; если поставить осла на равное расстояние между ведром воды и охапкой сена,—он неминуемо должен умереть, не сойдя с места, так как не будет иметь стимула для движения в ту или другую сторону.

275. *Пирроник*—т. е. скептик, последователь древнегреческого философа Пиррона (III век до н. э.), который считал, что человеку не дано познание качества предметов, а потому следует воздерживаться от каких бы то ни было суждений и быть ко всему равнодушным.

276. *Ленге*, Симон-Никола-Анри (Linguet, 1736—1794)—французский литератор и знаменитый адвокат, отличавшийся язвительным умом и крайне строптивым характером. Он выиграл несколько громких судебных процессов, но за памфлет, направленный против адвокатов, был исключен из адвокатского сословия (1774) и занялся журналистикой. В 1779 г. по проискам своих врагов был неожиданно заключен в Бастилию, где просидел два года. Плодом этого невольного досуга явились его «Мемуары о Бастилии», вышедшие в Лондоне в 1783 г. и имевшие громадный успех. Во время революции был гильотинирован.

280. *Де-Бомон*, Кристоф (Beaumont, 1703—1781)—парижский архиепископ, известный своей борьбой с яansenистами и с философами-энциклопедистами.

— *Улица Сен-Мартен*—одна из центральных торговых улиц Парижа.

281. *Морель*, Клод (Morel)—французский богослов XVII столетия, профессор Сорбонны; ярый противник яansenистов.

— *Катон-цензор и цензор Кокле*.—Катона Старшего называют иногда Катон-цензором, так как он занимал некоторое время должность цензора—одного из высших государственных чиновников, на обязан-

ности которого лежало наблюдение за финансовыми мероприятиями консулов. Мерсье играет словами, подчеркивая разницу в обязанностях древнеримского цензора и цензора новейшего времени. *Кокле де-Шосельер*, Шарль-Жорж (Coqueley, 1711—1790)—французский юрист, писатель и актер; долгое время был цензором юридических книг. Он славился остроумием, обменивался эпиграммами с Вольтером и Ленге (см. примеч. к стр. 276). Кроме нескольких юридических сочинений, известны его шуточные поэмы.

282. *Лон-Шан* (Long-Champ)—монастырь в Булонском лесу в Париже, основанный в XIII столетии и разрушенный во время революции. В XVIII веке монастырь этот являлся модным местом прогулок; он особенно славился своими певчими; весь Париж стекался туда на страстной неделе, не столько из набожности, сколько ради развлечения. Незадолго до революции архиепископ де-Бомон положил этому конец, закрыв двери монастыря для посторонних лиц. Но, как говорит историк, парижане не унывали, и прогулки их не прекратились, только вместо монастыря целью их стал просто Булонский лес.

286. *...если когда-либо и можно будет повесить откупщиков.*—Слова Мерсье оказались пророческими: во время революции все двадцать восемь откупщиков налогов (*fermiers généraux*) были гильотинированы (1794).

293. *Протей*—см. примеч. к стр. 268.

294. *«И скупой Ахерон не выпускает из рук своей добычи»*—слова Федры из одноименной трагедии Расина (д. II, сц. 5). *Ахерон* (греч. миф.)—река в аду, через которую перевозятся вновь прибывшие души умерших.

297. *«Победа достается тому, у кого осталось последнее эю»*—слова прусского короля Фридриха II (1712—1786).

— *Сюлли*, Максимильен де-Бетюн, герцог (Sully, 1560—1641)—один из крупнейших французских государственных деятелей, ближайший сотрудник короля Генриха IV; упорядочил финансовое хозяйство Франции.

— *Вильруа*, Николà де-Невиль, маркиз (de Villeroy, 1597—1685)—при Людовике XIV был председателем финансового совета Франции (с 1661).

297. *Жанен*, Пьер (Jeannin, 1540—1622)—французский государственный деятель. Старший современник Сюлли, а не его преемник, как говорится в тексте. Мерсье пользуется его именем лишь для обозначения типа чиновника, неспособного, по его мнению, продолжать разумную политику Сюлли.

303. *Agnus Dei*—католическая молитва.

304. *Te Deum*—католическое песнопение.

— *Дакен*, Луи-Клод (Daquin, 1694—1772)—органист, автор нескольких сочинений для клавесина.

Его сын *Пьер-Луи* (1720—1796)—второстепенный литератор; из многочисленных его сочинений известны «Письма о знаменитых ученых и художниках эпохи Людовика XIV» (1753).

— *Курпен* (Courperin)—семейство, давшее за два века десять выдающихся музыкантов, из которых наиболее известен композитор и органист *Франсуа Курпен*, прозванный Великим (1668—1733). Мерсье имеет в виду либо Армана-Луи (1721—1789), либо его сына Пьера-Луи (ум. 1789); они одновременно носили звание королевских органистов и играли в главнейших церквях Парижа.

305. *Мотет*—хоровое музыкальное сочинение, написанное на изречение из Библии.

306. *Довернь*, Антуан (Dauvergne, 1713—1797)—французский скрипач и композитор, директор Парижской оперы; известен своим «Обменом» («Les Troqueurs»), являющимся первой французской комической оперой, пришедшей на смену «комедиям с куплетами».

— *Грессе*, Жан-Батист-Луи (Gresset, 1709—1777)—французский поэт, автор шуточной антирелигиозной поэмы «Vert-Vert» (1733), переведенной В. С. Курочкиным под названием «Попугай».

312. *Аюлит*—младший церковный служка у католиков.

317. *Мольер... не узнал бы ни одного из своих докторов.*—Лжеученость и шарлатанство докторов неоднократно высмеивались Мольером (в «Любви-целительнице», «Господине де-Пурсоньяк», «Лекаре поневоле»,

«Мнимом больном»). *Пюргон, Диафуариус, Гено*—доктора из перечисленных комедий.

317. «*Согласитесь с прописанным мною рвотным, и я соглашусь с вашим слабительным*» («*Passes-moi l'émétique, je vous passerai le séné*») — французская поговорка, укоренившаяся в языке со времен Мольера. В «Любви-целительнице» один доктор говорит о другом: «Пусть он согласится с прописанным мною рвотным, и тогда я в свою очередь соглашусь со всем, что бы он ни прописал» (д. III, явл. 1).

320. *Месмер*, Фридрих-Антон (Mesmer, 1733—1815)—немецкий врач, автор учения о «животном магнетизме». В то время медицина увлекалась применением магнита в качестве целебного средства. Месмер объявил, что он нашел магнетическую силу, не нуждающуюся в посредничестве физических предметов, а исходящую непосредственно из человека. В 1778 г. он приехал в Париж и после нескольких удачных случаев исцеления завоевал доверие больных и получил громадную практику. Он отверг предложение Французской академии наук, желавшей тщательно изучить его теорию и удостовериться в ее истинности, и требовал громадные деньги за открытие секрета своего изобретения. Но еще в самый разгар его успеха многие усматривали в его врачевании одно шарлатанство. Наконец, в 1784 г. Академии наук совместно с медицинским факультетом удалось образовать комиссию для изучения «месмеризма»; вывод комиссии был отрицательным, и слава Месмера стала быстро тускнеть. По существу вся теория Месмера заключается в применении (зачастую неправильном) гипноза.

323. «*Per fas et nefas*» — латинская поговорка, соответствующая нашей: «Всеми правдами и неправдами».

324. *Эскулап* — римское название греческого бога врачебного искусства.

— *Оба Корнеля* — т. е. великий драматург Пьер Корнель (Corneille, 1606—1684) и его брат Томà (1625—1709), автор нескольких второстепенных трагедий.

— *Фонтенель*, Бернар Ле-Бовье (Fontenelle, 1657—1757) — французский писатель, племянник Корнеля; предтеча буржуазной идеологии, разработанной фило-

софами-энциклопедистами. В своей «Истории оракулов» он косвенно нападал на христианство.

324. *Кребийон*, Проспер Жолио (Crébillon, 1674—1762)—французский драматург, отчасти наметивший пути мещанской мелодрамы.

— *Кребийон младший*—см примеч. к стр. 378.

— *Руссо*. Кроме знаменитого Жан-Жака, в свое время большой известностью пользовался поэт Жан-Батист Руссо (1670—1741), типичный представитель французского «ложноклассицизма»; в наше время его холодная поэзия совсем забыта. «Ода к судьбе»—одно из лучших его произведений. Третий Руссо—Пьер (1725—1785), второстепенный литератор, автор нескольких комедий и издатель небольшой газеты.

325. *Бребёф*, Гийом (de Brébeuf, 1618—1661)—второстепенный французский поэт, автор двух сборников стихотворений, пародии на VII песнь «Энеиды» Вергилия и перевода Лукановой поэмы «Pharsalia».

327. *Дюкло*, Шарль Пино (Duclos, 1704—1772)—французский писатель, известный, главным образом, своими «Мыслями о нравах нашего времени» (1750; русский перевод 1813).

329. *Рассодия*—музыкальное или литературное произведение, состоящее из отдельных, не связанных друг с другом отрывков.

330. *Поэт Руссо*—см. примеч. к стр. 324.

333. *Басра*—город в Малой Азии, у слияния Тигра с Евфратом. Один из крупнейших малоазиатских торговых городов.

— *Оссер* (Auxerre)—французский город в 175 километрах на юго-запад от Парижа.

334. *Вокансон*, Жак (de Vaucanson, 1709—1782)—французский механик, член Академии наук. Он прославился своими автоматическими куклами: утками, которые передвигались, кричали, глотали зерна, флейтистами, барабанщиками, шахматистами и проч. Работы Вокансона разбросаны теперь по европейским музеям.

336. *Кир* (558—529 до н. э.)—персидский царь; основал древнеперсидское царство, объединив под своей властью Мидию, Лидию и Вавилон.

338. *Авторское право* в XVIII веке во Франции еще не существовало. Со времени введения книгопечатания (т. е. с XVI столетия) король выдавал так называемые «привилегии» на печатание книг. Привилегии первоначально были действительны на определенный срок и на одно издание; они выдавались большей частью книготорговцам, которые были одновременно и издателями. В XVIII веке укоренился обычай выдавать привилегии на неограниченный срок, что упрочило право издателя, а тем самым несколько улучшило и положение автора. В 1777 г. был издан закон, дававший право автору, как таковому, получать привилегию на свое сочинение и даже передавать ее по наследству; но привилегия все же толковалась этим законом не как исконное право автора, а как «милость короля». Право собственности автора на свое сочинение во Франции было впервые (хотя и весьма туманно) установлено во время революции (в 1793 г.). Однако реальная защита авторского права осуществилась только тогда, когда по этому вопросу было заключено международное соглашение (т. е. в середине XIX века).

340. *Герцог де-ла-Вальер*, Луи-Сезар Ла-Бом Ле-Блан (de la Vallière, 1708—1780)—внучатный племянник знаменитой фаворитки Людовика XIV. Его известная библиотека вошла в состав парижской библиотеки Арсенала.

— *Поми д'Аржансон*, Антуан-Рене Буаье, маркиз (de Paulmy d'Argenson, 1722—1787)—французский государственный деятель, военный министр, посол в Швейцарии, Польше и Венеции. Его библиотека, одно из крупнейших в мире частных собраний, легла в основу парижской библиотеки Арсенала.

341. «*Дух законов*»—трактат Монтескьё (см. примеч. к стр. 43).

— «*Эмиль*»—сочинение Ж.-Ж. Руссо (см. примеч. к стр. 23).

342. *Ла-Брюйер*, Жан (La Bruyère, 1645—1696)—французский писатель; в своем единственном сочинении «*Характеры*» дал тонкие психологические зарисовки современного ему великосветского общества.

— *Монтескьё*—см. примеч. к стр. 43.

342. *Буланже*, Никола-Антуан (Boulanger, 1722—1759)—французский писатель; объяснял происхождение религии страхом перед явлениями природы, а священное писание толковал как отражение астрономических явлений.

Его сочинения были изданы философом-материалистом Гольбахом, который придал им еще более антирелигиозный оттенок.

— *Бюффон*—см. примеч. к стр. 56.

343. *Подложные письма папы Ганганелли*.—Климент XIV (в миру Ганганелли, 1705—1774) был избран папою в 1769 г.; основным событием его деятельности, вокруг которого долго бушевали страсти, был роспуск ордена иезуитов. Сторонники иезуитов написали множество памфлетов, стремившихся очернить Климента XIV; существуют не рассеянные и в наше время подзвонки о том, что он был отравлен.

Упомянутые Мерсье «Письма»—один из эпизодов этой борьбы.

— *Английские романы*, в частности сентиментально-нравоучительные романы Ричардсона (1689—1761), имели во Франции во второй половине XVIII века громадный успех: являясь выражением буржуазной идеологии, они были особенно близки крепнущей французской буржуазии. Ричардсон оказал сильное влияние на виднейших французских писателей того времени: Дидро, Руссо, аббата Прево, самого Мерсье и других.

— *Аббат Прево*, Антуан-Франсуа (Prevost, 1697—1763)—французский романист, автор знаменитой «Манон Леско»; много переводил с английского, в частности перевел романы Ричардсона «Памела», «Кларисса» и «Грандиссон», затмившие его собственные произведения.

— *Ретиф де-ла-Бретон*, Никола-Эдм (Restif de la Bretonne, 1734—1806)—французский писатель, выходец из мелкобуржуазной среды, друг Мерсье, автор множества романов и повестей, ярко рисующих быт и типы людей последних лет старорежимной Франции и эпохи революции.

344. *Буало-Депрео*, Никола (1636—1711)—французский литератор, в ряде стихотворных произведений («Ис-

кусство поэзии», «Сатиры», «Послания») обосновавший поэтику классицизма, подчинявшую чувство действительности и фантазию отвлеченным правилам.

344. *Синедрион* — верховное судилище в древнем Иерусалиме; в данном случае — в переносном значении: собрание знатоков-судей.

345. *Дора*, Клод-Жозеф (Dorat, 1734—1780) — восторженный французский поэт; его сентиментально-эротические стихотворения имели в свое время большой успех в парижских салонах.

346. *Рампоно*, Жан (Ramponneau, ум. ок. 1765) — парижский трактирщик, прославившийся добродушием, веселым нравом и, главное, тем, что стал продавать вино за полцены. Это послужило ему недурной рекламой: народ валом повалил в его трактир. Вскоре и в великосветском обществе, падком до сенсаций, стало модным ездить к Рампоно; трактирщик стал фигурировать во множестве стихотворений, пьес и даже картин. Вольтер написал ему шуточную защитительную речь («Plaidoyer de Ramponneau, prononcé par lui-même devant ses juges»).

349. *Мармонтель*, Жан-Франсуа (Marmontel, 1723—1799) — французский писатель, сотрудник «Энциклопедии», автор «Нравоучительных повестей» и ряда романов, соединяющих буржуазно-сентиментальную поучительность с ярко выраженным эротизмом.

— *Отец Элизе* — Жан-Франсуа Копель (Copel, 1726—1783). Был скромным проповедником, пока его однажды случайно не услышал Дидро. Простота и четкость построения проповеди так понравились философу, что он стал всюду его расхваливать, и слава проповедника начала быстро расти. Его проповеди были изданы в Париже в 1784 г. в четырех томах.

350. *Слава министра финансов*... — Имеется в виду Этьен Силуэт (de Silhouette, 1709—1767) — французский государственный деятель, министр финансов в 1759 г. Его неудачные финансовые мероприятия дали парижанам повод называть «силуэтным» все несовершенное, скудное, плачевное. Теневые портреты, вошедшие в моду в то время, тоже стали называть «силуэттами» из-за их упрощенной техники.

— *Белиль*, Шарль-Луи-Огюст Фуке, герцог (Belle-

lisle, ум. 1761)—маршал, член Французской академии, внук Фуке (см. след. примеч.)

351. *Фуке*, Никола́ (Foucquet, 1615—1680)—французский министр финансов; нажил огромное состояние, вел очень широкий образ жизни; в 1661 г. Кольбер указал Людовику XIV на злоупотребления Фуке, который был смещен и осужден на пожизненное заключение. Фуке известен как покровитель писателей и художников (в частности, Ла-Фонтена, Мольера, Скаррона и многих других).

— *Кольбер*, Жан-Батист (Colbert, 1619—1683)—государственный деятель, министр при Людовике XIV. Его деятельность была направлена к развитию торговли и промышленности в ущерб сельскому хозяйству.

— *Демаре*, Никола́, маркиз де-Майбуа (Desmarets, 1650—1721)—племянник Кольбера, министр финансов с 1708 по 1721 г.

— *Ло*—см. примеч. к стр. 46.

— *Орри*, Филибер (Orgy, 1689—1747)—министр финансов при Людовике XV.

— *Силуэт*—см. примеч. к стр. 350.

— *Бертен*, Анри-Леонар-Жан-Батист (Bertin, 1719—1792)—министр финансов в 1759 и 1774 гг.

— *Л'Аверди*, Клеман-Шарль-Франсуа (L'Averdi, 1723—1793)—министр финансов с 1763 по 1768 г.; гильотинирован во время террора.

— *Терре*, Жозеф-Мари, аббат (Terraу, 1715—1778)—министр финансов при Людовике XV, с 1769 по 1774 г. Ставленник Мопу (см. примеч. к стр. 151). При восшествии на престол Людовика XVI заменен Тюрго.

354. *Гельвеций*, Клод-Адриен (Helvétius, 1715—1771)—французский философ-материалист, автор трактата «Об уме», в котором он доказывал, что способность к суждению сводится к способности ощущать и что поэтому у всех людей «одинаково правильный ум», разнообразие же его проявлений зависит всецело от воспитания и окружающей среды.

355. *Ньютон*, Исаак (Newton, 1642—1727)—английский математик и физик, сделал ряд крупнейших научных открытий, в том числе установил «закон всемирного тяготения». По преданию, мысль о всемирном

тяготении возникла у Ньютона, когда он, гуляя по саду, заметил падение яблока с дерева.

355. *«Вербовщики»* («Les Rasoleurs») — одноактная комическая опера Ваде (см. примеч. к стр. 172), написанная простонародным языком; была представлена в первый раз в Париже в 1756 г.

356. *Николе*, Жан-Батист (Nicolet, 1710—1796) — сначала канатный плясун, затем антрепренер труппы странствующих комедиантов. Приехав в Париж, Николе стал давать представления на столичных ярмарках, где имел огромный успех; с каждым представлением публики набиралось все больше и больше, так что имя Николе даже вошло в поговорку: «De plus fort en plus fort—comme chez Nicolet» («Все больше и больше—как у Николе»). Успех дал Николе возможность обосноваться в Париже; он основал свой театр и содержал его целых полстолетия, ставя пьесы легкого жанра; в антрактах у него выступали цирковые артисты. Репертуар театра Николе состоял, главным образом, из пьес Таконне (см. след. примеч.). С 1792 г. его театр стал называться театром «Gaité» («Веселье»).

— *Таконне*, Туссен-Гаспар (Taconnet, 1730—1774), сначала был рабочим в театре «Французской комедии», затем поступил в ярмарочную труппу в качестве актера. Написал множество комедий, рассчитанных на вкус простонародья и шедших в театре его друга Николе; в числе его пьес имеется, между прочим, пародия на «Шотландку» Вольтера. Таконне умер в больнице Шарите от увечий, полученных при падении.

— *Фуке* — см. примеч. к стр. 351.

357. *Доллонд*, Джон (Dollond, 1706—1761) и сын его Петер (1730—1820) — известные английские оптики; внесли значительные усовершенствования в микроскоп и телескоп.

358. *Ливр* — старинное название франка.

359. *Денье* — старинная монета. Шесть денье равняются пол су или двум с половиной сантимам.

360. *Гальба*, Сервий-Сульпиций (I век до н. э.) — известный римский юрист; о нем упоминает Гораций в своей II сатире.

361. *«Вы золотых дел мастер, господин Жосс»* — слова из комедии Мольера «Любовь-целительница» (д. I, явл. 1).

У Сганареля затосковала дочь-невеста; он спрашивает у окружающих, как помочь беде. Каждый дает ему совет сообразно со своей собственной выгодой. Ювелир Жосс советует подарить ей бриллиантовый убор, что, по его словам, всегда радует девушек. На это Сганарель отвечает: «Вы золотых дел мастер, господин Жосс». Ответ Сганареля стал поговоркой; когда хотят дать понять человеку, что его совет не бескорыстен, ему говорят: «Вы золотых дел мастер, господин Жосс».

361. *Меценат*, Гай-Цильний (60—8 до н. э.)— римский государственный деятель; имел большое влияние на императора Августа; был покровителем искусств; прославлен поэтами того времени, превратившими его имя в нарицательное обозначение.

366. «*Осторожное молчание покойного Конрара*»— намек на слова из I послания Буало: «J'imite de Congart le silence prudent», т. е. «Я подражаю осторожному молчанию Конрара». Валантен *Конрар* (Congart, 1603—1675)—французский литератор, оставивший 42 тома неизданных сочинений—«Мемуаров» и «Писем». Не обладая талантом, он осторожно воздерживался от издания своих сочинений: на это и намекает Буало. Тем не менее он пользовался большим весом в среде литераторов. У него на дому зародилась Французская академия, после официального учреждения которой он был избран ее первым неперменным секретарем.

369. *Копье Ахиллеса*.—Ахиллес—древнегреческий легендарный герой, один из участников похода на Трои («Илиада» Гомера). Его копье отличалось способностью залечивать нанесенные им раны.

371. *Физиономисты*—т. е. последователи учения Лафатера.

— *Латур*, Морис-Кентен (de Latour, 1704—1788)— знаменитый французский художник; его портреты, писанные пастелью, отличаются большим сходством и проницанием в психологию изображаемых лиц.

372. *Лафатер*, Иоханн-Каспар (Lavater, 1741—1801)—швейцарский священник и богослов, известный своими трудами по физиономике (занимающейся определением связи между характером и чертами лица человека.) Лафатер примешивал к своим наблюдениям всевозможные мистические домыслы, вследствие чего

его работы лишены научного значения. Его «Физиономика» впервые вышла в свет в 1772 г. и имела большой успех; французский перевод ее появился в 1775 г.

375. *Ла-Брюйер*—см. примеч. к стр. 342. Мерсье приводит мысль Ла-Брюйера об изящной шутке из его «Характеров» (глава V, п. 4).

— *Пуэнсине*, Антуан-Александр-Анри (Poinsinet, 1735—1769)—французский драматург, известный одноактной комедией «Кружок, или Модный вечер» (1764) и музыкальной комедией «Том Джонс» (по Филдингу). Пуэнсине много путешествовал; во время путешествия по Испании он утонул, купаясь в Гвадалквивире.

376. *Экран*—щиток, ставящийся перед камином, чтобы умерять жар.

378. *Кребийон-сын*, Клод-Проспер Жолио (Crébillon, 1707—1777)—сын драматурга (см. примеч. к стр. 324), автор остроумных и в значительной степени порнографических романов и новелл.

385. *Анжисвийе*, Шарль-Клод Лабилардри, граф (d'Angiviller, ум. 1810)—управляющий королевскими дворцами и парками при Людовике XVI, член Академии наук и Академии художеств. При старом режиме пользовался большим авторитетом; покровительствовал ученым и художникам. После революции эмигрировал в Россию; умер в Германии.

386. *Поппея Сабина* (Porpæa)—сначала любовница, а затем жена римского императора Нерона; славилась красотой и жестокостью; умерла от удара в живот, нанесенного ей Нероном в пылу ссоры (65 н. э.).

— *Береника*—жена египетского царя Птолемея III Эвергета. Она посвятила богине Афродите свои прекрасные волосы, воспетые римскими поэтами Катуллом и Каллимахом. Когда однажды волосы ее исчезли из храма, астрономы разъяснили, что они взяты богами на небо; с тех пор одно из созвездий вблизи Льва называется «Волосами Береники».

— *Семирамида*—легендарная ассирийская царица, славившаяся своей красотой.

— *Елена*—героиня «Илиады» Гомера, жена спартанского царя Менелая. Ее похищение Парисом послужило поводом к Троянской войне.

386. *Иезавель*—израильская царица, жена царя Ахава; ввела в Иудее культ финикийского бога Ваала. (по библейскому преданию). Когда династия Ахава была свергнута, Иезавель выбросили из окна дворца, и ее тело было съедено псами.

387. *Чепчик а-ла-бебе*.—В 1780 г. королева Мария-Антуанетта потеряла много волос и вынуждена была носить гладкую прическу и чепчик. Придворные дамы, а следом за ними и остальные парижанки сочли нужным носить такой же чепчик, которому было дано название чепчика а-ла-бебе.

388. *Визави*—двухместная карета.

389. *«Журнал ученых»*—один из старейших французских литературных журналов, основанный в 1664 г.

— *«Невшательская газета»* издавалась в Швейцарии, в г. Невшателе. Опубликовав в Париже (хотя и анонимно) два первых тома «Картин Парижа», Мерсье вынужден был выехать из Франции и некоторое время жил в Невшателе.

— *Оссиан*.—В 1760 г. шотландский поэт Джеймс Макферсон (1738—1796) выпустил сборник эпических поэм, выдав их за произведения шотландского барда III века Оссиана. Поэмы имели громадный успех, ими увлекалась вся Европа. Талантливая подделка Макферсона была разоблачена лишь после его смерти; когда Мерсье писал свои «Картины Парижа», никто не сомневался в подлинности Оссиановых поэм.

390. *Бюффон*—см. примеч. к стр. 56.

391. *Кребийон*—см. примеч. к стр. 324.

— *Реньяр*, Жан-Франсуа (Regnard, 1655—1709)—французский комедиограф, один из продолжателей мольеровской традиции; происходил из богатой буржуазной семьи. Его лучшие комедии—«Игрок», «Безумства любви», «Двойники», «Всеобщий наследник».

392. *«Литературный год»*—журнал Фрерона (см. примеч. к стр. 61).

— *«Бармакиды»*—посредственная трагедия из персидской истории Жана-Франсуа Лагарпа (Lagarpe, 1739—1803)—французского поэта и критика, друга Вольтера; он известен, главным образом, своей «Историей литературы». «Бармакиды» были впервые предста-

влены в Париже в 1778 г. и, несмотря на все старания друзей Лагарпа, в числе которых видную роль играл русский посол, граф Шувалов, потерпели полную неудачу. Трагедия выдержала только одиннадцать представлений. С Жаном Лагарпом не следует смешивать швейцарца Фредерика-Сезара Лагарпа (La Harpe, 1754—1838), воспитателя Александра I.

392. Мерсье ошибся, утверждая, что предложенное Вольтером слово *impassé* не войдет в язык: оно постепенно завоевало себе право гражданства и совершенно вытеснило ненавистное Вольтеру «cul-de-sac». (См. примеч. к стр. 92.)

397. «*Жорж Данден*»—комедия Мольера (1668), где выведен богатый крестьянин, который из тщеславия женился на дочери разорившегося аристократа. Жена над ним издевается и открыто изменяет ему.

403. *Комюс*—французский фокусник (ум. 1820), величавший себя «первым физиком Франции». Его настоящее имя осталось неизвестным; прозвище «Комюс» заимствовано им у ученого физика Ледрю (1731—1807), славившегося своими занимательными физическими опытами, а также фокусами, которые он показывал как любитель. Ледрю получил прозвище «Комюс» от имени бога Комуса, который ведал увеселениями богов (греч. миф.).

405. *Фонтенель*—см. примеч. к стр. 324.

— *Concetto* — итальянское слово; употребляется французами в значении «острое слово», «острота».

— *Стиль бюрлеск*—шутовской стиль.

406. *Ваде*—см. примеч. к стр. 172.

— *Жано и Превиль*.—Речь идет о статуэтках, изображающих Превиль (см. примеч. к стр. 146) и Жано. *Жано* (Janot, а не Jeannot, как пишет Мерсье)—тип простофили, созданный второстепенным драматургом, побочным сыном Людовика XV, Луи Аршамбо-Дорвиньи (Dorvigny, 1734—1812), и прочно укоренившийся во французской литературе. Жано появился впервые в комедии Дорвиньи «Битые платят штраф» (1779) и имел грандиозный успех: театр не мог вместить всех желающих, приходилось давать по два представления в день; появились прически а-ла-Жано, суп а-ла-Жано и пр. и пр. Севрская мануфактура выпустила фарфоровую

статуэтку, изображавшую Жано длинным, сухопарым человеком с колпаком на голове и с фонарем в руках. Эта статуэтка имела такой успех, что в одну только Россию ее было вывезено на 28 000 ливров.

406. *«Эпохи природы»*—сочинение Бюффона (см. примеч. к стр. 56).

409. *Монтескьё*—см. примеч. к стр. 43.

410. *Монтень*—см. примеч. к стр. 69.

— *Сен-Сюльпис*—церковь в Париже, место погребения знатных лиц. Отметим, что в этой церкви венчался Камилл Демулен, причем свидетелями его были Робеспьер и автор настоящей книги.

415. *Димитрий Фалерийский* (345—283 до н. э.)—греческий философ и государственный деятель.

— *Корабль Тезей*.—Тезей—легендарный греческий герой, совершивший множество подвигов, в том числе—освобождение Афин от дани критскому царю Миносу. Минос наложил на афинян дань в виде семи юношей и семи девушек, которых афиняне должны были отвозить каждые девять лет на остров Крит, где их пожирал рожденный Пасифаей получеловек-полубык Минотавр. Когда настало время в третий раз платить дань Миносу, Тезей сам отправился на Крит и убил Миноса.

416. *Маркомир*—имя нескольких полулегендарных франкских королей, предшественников *Фарамона*, о котором, в свою очередь, не сохранилось никаких исторических данных.

— *Сикамбры*—германское племя, обитавшее вдоль среднего и нижнего течения Рейна; в 8 г. н. э. император Тиверий частично переселил их в Галлию.

— *Святой Реми* (437—533)—архиепископ Реймский (см. примеч. к стр. 249).

— *Константин Великий* (274—337)—римский император с 306 г.; провозгласил христианство господствующей религией и перенес столицу империи из Рима в Византию в интересах развития торговли с Востоком.

417. *Пастух Ромул*.—Легендарные основатели Рима братья Ромул и Рем были, согласно преданию, рождены царевной Реей-Сильвией от бога Марса; дядя Реи, занявший престол брата, приказал утопить их; но вол-

ны выбросили их на берег, и они были найдены волчицей, которая вскормила их; затем их взяли на воспитание пастухи.

417. *Вторая династия французских королей.*—Династия Каролингов занимала престол с 752 по 987 г.

— *Дагобер*—французский король с 622 по 638 г.

— ...*проезжал по улицам Реймса Людовик XVI.*—Коронование французских королей совершалось в Реймсе, в память крещения Хлодвига.

418. *Генрих II* (1518—1559)—французский король с 1547 г.; во время турнира по случаю бракосочетания его сестры был смертельно ранен в лицо.

— *Генрих III* (1551—1589)—сын предыдущего, французский король с 1574 г.; окружил себя многочисленными фаворитами («mignons»), в обществе которых предавался разгулу.

— *Филипп-Август* (1165—1223)—французский король с 1180 г.; провел ряд мероприятий, направленных к поднятию культуры страны; в частности, Филиппом-Августом был основан парижский университет; при нем Париж был обнесен крепостной стеной, некоторые улицы были вымощены.

— *Филипп Красивый* (1268—1314)—французский король с 1285 г.

419. *Статуя короля, желавшего прослыть завоевателем*—намек на разорительные войны Людовика XIV и на памятник, поставленный ему герцогом де-Ла-Фейад.

— *Вид-Гуссе* (vide-gousset)—означает «вор», «грабитель».

— *Герцог де-Ла-Фейад*, Франсуа, виконт д'Обюссон (de La Feuillade, 1625—1691)—французский маршал. Известна его преданность Людовику XIV. Он купил в Париже обширное владение, снес находившийся в нем дом, а на образовавшейся площади поставил статую Людовика XIV с надписью: «Бессмертный человек». Памятник был уничтожен во время революции (1792). Над привязанностью Ла-Фейада к королю много потешались; рассказ аббата Шуази о подкопе под памятник—не более как анекдот.

— *Аббат Шуази*, Франсуа-Тимолон (Choisy, 1644—1724)—французский литератор; происходил из

чиновничьей семьи; член Французской академии. Известны его «Письма» и «Воспоминания».

419. *Кинжал Равайака*.—Франсуа Равайак (Ravail-las, 1578—1610)—католик-фанатик, убивший короля Генриха IV, когда в народе распространился слух, будто король затевает войну против римского папы.

— *Статуя Генриха IV* на мосту Пон-Неф была заложена в 1614 году; ее металлические части были перелиты на пушки во время революции; в эпоху Реставрации (1818) она была восстановлена.

— *Бастилия* была начата постройкой при Карле V, в 1370 г., и закончена при Карле VI в 1382 г. Первоначально должна была служить крепостью, но вскоре была превращена в тюрьму.

420. *Фламель*, Никола (Flamel, 1330—1418)—французский чиновник, славившийся богатством и благотворительностью. Ему приписывается несколько сочинений по алхимии.

— *Изабелла Баварская*—жена французского короля Карла VI, известная своими любовными приключениями. Желая отстранить своего сына от трона, она содействовала заключению позорного для Франции мира с Англией (1420). После смерти мужа (1422) отошла от политики и стала вести уединенный образ жизни, замкнувшись во дворце.

421. *Дворец, сгоревший три года тому назад*.—Ralais de Justice (см. примеч. к стр. 167).

— *Церковь Сен-Пьер-о-Бё* (Saint Pierre aux Bœufs), основанная в X веке и разрушенная в 1837 г., получила свое название (bœuf—вол, бык) от того, что находилась в районе мясной торговли и являлась приходом парижских мясников.

— *Абвилль* (Abbeville)—городок близ Ламанша.

— *На улице Ада* (rue de L'Enfer, нынешняя rue Denfert-Rochereau) помещался замок Вовер (Vauvert), построенный в XI веке и пожертвованный Людовиком Святым картезианским монахам в 1257 г. В народе ходили тогда слухи, что замок этот—место нечистое; это отразилось на поговорке: «Aller au diable Vauvert»—«Отправиться к Воверскому чорту», смысл которой приблизительно тот же, что и нашей поговорки «у чорта на куличках».

421. *Людовик IX Святой* (1215—1270)—французский король с 1226 г.

— *Убежище Трехсот* (Les Quinze-Vingts) было основано Людовиком Святым между 1254—1261 гг. Оно было рассчитано на триста слепых. В декабре 1779 г. убежище было переведено в новое здание, купленное правительством за 45 тысяч ливров; старое же владение, несмотря на то, что строения пришли в полную ветхость, было продано за 6 миллионов ливров. Эта сделка вызвала в свое время грандиозный скандал.

422. *Улица де-ла-Потри дала начало французской комедии* — нынешняя улица Ренар. В старину здесь находился особняк д'Аржан (hôtel d'Argent), где в самом начале XVII века обосновалась провинциальная труппа, руководимая Матёй Лефевр-Лапорт; этот театр звался театром Маре. Однако Мерсье неправ, говоря, что этот дом явился колыбелью французского театра: в то время уже существовал театр Отель-де-Бургонь, возникший в середине XVI века.

— *Карл V Мудрый* (1337—1380)—французский король с 1364 г. Вел успешную, но длительную борьбу с наваррским королем Карлом Элым (1332—1387), домогавшимся французской короны.

— *Альфонс V* (1432—1481)—португальский король; приехал в 1476 г. с визитом к Людовику XI и остановился в доме богатого буржуа Жака Дюшиэ на улице Трувер, которая в то время являлась одной из лучших улиц Парижа.

— *...в наши дни, когда император...*—т. е. Иосиф II (1741—1790), германский император с 1765 г., брат жены Людовика XVI Марии-Антуанетты. Он инкогнито приезжал в Париж в 1777 г. под именем графа Фалькенштейна.

— *Орлеанская дева*—Жанна д'Арк (см. примеч. к стр. 425).

— *Цезарь жил в Париже*—см. примеч. к стр. 245.

— *Юлиан*, Флавий-Клавдий (331—363 н. э.)—римский император с 361 по 363 г., прозванный церковью Отступником за попытку возродить язычество; в молодости управлял Галлией и жил в Лютеции (нынешнем Париже).

423. *Юлий II* (1441—1513)—папа римский с 1503 г. Распря его с Людовиком XII была вызвана отказом папы от Камбрейской лиги, заключенной им, Германской империей, Францией и Испанией для борьбы с Венецианской республикой (1508).

424. *Бернини*, Джованни-Лоренцо (Bernini, 1598—1680)—итальянский архитектор, скульптор и художник, один из создателей стиля «барокко», автор колоннады вокруг собора св. Петра в Риме. В 1665 г. Людовик XIV пригласил его в Париж для перестройки Луврского дворца, который был, однако, перестроен по проекту Перро. О Лувре см. также примеч. к стр. 216.

— *Перро*, Клод (Perrault, 1613—1688)—французский врач и анатом, особенно прославился в области архитектуры, которой занимался в качестве любителя. Его проект перестройки Лувра (знаменитая колоннада) был предпочтен проекту Бернини (1666). Мерсье возмущается, что Буало неуважительно намекнул на Перро в «*Art roétique*» (IV), где рассказывается о некоем флорентинском враче, уморившем столько народу, что ему пришлось уехать из города. Злополучный врач попадает к своему приятелю, строящему себе дом, и дает ему несколько дельных советов, а затем, поняв свое истинное призвание, бросает медицину и превращается «из плохого врача в хорошего архитектора». «Его пример,—говорит Буало,—является полезным уроком; будьте лучше каменщиком, если в этом ваше призвание».

— *Кардинал Лотарингский*—герцог Шарль де Гиз (Guise, 1525—1574)—один из деятелей Тридентского собора (см. примеч. к стр. 224) и организатор Католической лиги.

— *Монморанси*, Анн (Montmorency, 1493—1567)—французский маршал, ревностный борец с протестантами.

— *Отель Рамбуйе*—салон маркизы Катрин Рамбуйе (Rambouillet, 1588—1665) в 1620—1650 гг. являлся средоточием аристократического общества, задавшегося целью очистить французский язык от «неблагородных слов». Это движение, отражавшее борьбу аристократии с молодой буржуазией, привело литературный язык к нарочитой утонченности и жеманству (поэты Вуатюр, Бенсерад и др.).

— *Мадмуазель Скюдери* (Scudéry, 1607—1701)— виднейшая представительница этого кружка, автор романов «Кир Великий» и «Клелия». Мольер осмеял представляемое ею направление в своей комедии «Жеманницы» (1659).

425. *Скаррон*, Поль (Scarron, 1610—1660)— французский писатель и поэт, создатель стиля «бюрлеск» (шутливой, буфонной), явившегося реакцией на аристократическую литературу, в частности на салон Рамбуйе (см. предыд. примеч.). Скарроном написан «Комический роман» (1651; русский перевод Н. Кравцова, «Academia», 1934), «Вергилий наизнанку» (1648) и др. Его жена Франсуаза (1635—1719) после смерти мужа поступила в воспитательницы детей Людовика XIV и его фаворитки г-жи Монтеспан (1660); в 1684 г., после смерти королевы, король вступил со вдовой Скаррона в тайный брак; г-жа Скаррон получила титул маркизы Ментенон. В этом смысле Мерсье и называет Людовика XIV «наследником шутливого Скаррона».

— *Гроссмейстер тамплиеров*.— Тамплиеры— монашеско-рыцарский орден, основанный в Иерусалиме в 1119 г. для защиты паломников, идущих в Святую землю. В начале XIV века по приискам французского короля Филиппа Красивого, стремившегося захватить громадные богатства ордена, против тамплиеров был начат процесс; инквизиция обвиняла их в кощунстве и дурных нравах. Дело тянулось несколько лет, пока однажды ночью (1307) все жившие во Франции тамплиеры не были арестованы и вскоре сожжены на костре; среди сожженных был гроссмейстер ордена Жак де-Моле. Имущество тамплиеров было передано ордену иоаннитов, за что последние уплатили казне 260 тысяч ливров.

— ...герцогом Бургундским был злодейски убит герцог Орлеанский, единственный брат короля Карла VI...— Карл VI (1368—1422) наследовал престол в двенадцатилетнем возрасте, а потому в первые годы его царствования Францией правили четыре его дяди— герцоги Беррийский, Анжуйский, Бургундский и Бурбонский. В 1388 г. Карл освободился от опеки, но вскоре сошел с ума, и снова выступили на арену его

опекуны. В 1407 г. на улицах Парижа по наущению герцога Бургундского был убит Луи Орлеанский, брат и главный советник короля. Герцог Бургундский сделался главою Верховного королевского совета и фактическим хозяином Франции. Родственник убитого, граф д'Арманьяк пошел во главе своего войска на Париж, который не раз переходил из рук в руки (так называемая «распря Арманьяков с Бургиньонами»). Англичане воспользовались их борьбой, чтобы захватить Нормандию. Несмотря на вторжение англичан, голод и чуму, распря продолжалась, пока, наконец, герцог Бургундский не был убит (1419). Сын его вошел в соглашение с англичанами и выдал им Париж. Большой король под давлением своей жены Изабеллы Наваррской подписал мир, по которому законный наследник отстранялся и корона переходила к английскому королю. Наследнику (Карлу VII) с оружием в руках удалось отвоевать свои права. В освобождении Парижа от англичан принимала участие Жанна д'Арк.

425. *Франциск I* (1494—1547)—французский король с 1515 г.

426. *Гревская площадь* (place de la Grève) в продолжение пяти с лишним столетий (1310—1832) служила местом казни преступников.

— *Вервенским миром* закончилась война между Францией и Испанией (1598), из которой первая вышла победительницей. Финансы Франции в то время (царствование Генриха IV) находились в большом расстройстве; налоги были очень велики; лишь к концу царствования Генриха IV Сюлли удалось упорядочить финансовое хозяйство страны.

— *Любовница Генриха IV*.—В данном случае речь идет о Габриэли д'Эстре, с которой король встретился в 1591 г., когда восемнадцатилетняя Габриэль была любовницей герцога Бельгарда.

— *Сен-Фуа*, Жермен-Франсуа Пуллен (Saint-Foix, 1698—1776)—плодовитый французский писатель и драматург, известный в свое время дуэлист. Его пятитомные «Исторические очерки Парижа» вышли в Париже (с пометкой «Лондон») в 1754—1757 гг.

— *Герцог Гиз* и *Герцог III*.—Герцог Анри де-

Гиз (Guise, 1550—1588) — глава Католической лиги, один из вдохновителей Варфоломеевской ночи, хотел воспользоваться ненавистью народа к Генриху III, чтобы захватить корону. 13 мая 1588 г., когда он возвращался в Париж после победоносных сражений с протестантами, народ, вопреки приказу короля, устроил ему торжественную встречу, а король был вынужден бежать из столицы. Однако герцог не сумел воспользоваться случаем. Он последовал за Генрихом III в Блуа, где, несмотря на состоявшееся между ними примирение, был убит по приказу короля. С его смертью Лига распалась.

429. *Сент-Шапель* — церковь во дворе Пале-де-Жюстис, построенная в 1246 г.

— *...под воспетым им аналогом.* — Буало является автором шуточной поэмы «Аналой», описывающей ссору церковного старосты и дьячка из-за аналоя. Сам Буало в предисловии сказал, что им описано действительное происшествие, а современники добавили, что оно имело место в церкви Сент-Шапель.

— *Королева Бланш, любовница одного красивого кардинала.* — Бланш Кастильская (1188—1252), французская королева, правила страной во время несовершеннолетия своего сына Людовика IX. Известна ее связь с папским легатом, кардиналом Бонавентурой.

— *Император Балдуин* — Балдуин II (1217—1273), последний император Латинской империи, основанной крестоносцами в Константинополе в 1204 г. и распавшейся в 1261 г.

— *Набожный Людовик* — т. е. Людовик IX (1215—1270).

430. *Сен-Дени* — монастырь в окрестностях Парижа, усыпальница французских королей.

— *Тит, Флавий - Веспасиан* (41—81 н. э.) — римский император с 79 г.

433. *Женевьева* (420—512) — католическая святая, считается покровительницей Парижа; церковное предание говорит, будто она предрекла, что вождь гуннов Аттилла не дойдет до Лютеции (латинское название Парижа).

— *Церковь святой Женевьевы* начиная с револю-

ции несколько раз преобразовывалась из церкви в Пантеон—усыпальницу знаменитых людей Франции—и наоборот, в зависимости от смены правительства; революция сделала из церкви Пантеон в 1791 г.; в 1806 г.—это снова церковь, в 1830 г.—Пантеон, в 1852 г.—церковь; с 1885 г. и до нашего времени—снова Пантеон.

436. *Франкмасонство*—мистическое антиклерикальное либеральное течение, распространившееся в Европе в XVIII столетии и существующее и поныне, но играющее в настоящее время реакционную роль. Ячейки масонского общества называются ложами; допущенный в члены ложи должен дать клятву, что он не разгласит тайн общества. Собрания масонов сопровождаются выполнением обрядов, во время которых масоны пользуются орудиями каменщиков—лопатой, молотом и т. п. По масонскому учению, мир управляется божеством, именуемым ими «великим архитектором». Из содержания этой главы видно, что Мерсье был масоном; однако впоследствии он стал правоверным католиком.

— *Великий Восток*—название одной из масонских лож.

— *Общество Иисуса* (Compagnie de Jésus)—название ордена иезуитов.

— *Девять сестер* (девять муз)—название масонской ложи.

— *Лойола*, дон Иньиго-Лопес де-Рекальдо (Loyola, 1491—1556)—испанский монах, основатель ордена иезуитов.

— *Вольтер*. — В 1778 г. Вольтер, после двадцатисемилетнего отсутствия, приехал из Ферне в Париж, где ему был устроен грандиозный триумф. Он умер в Париже три месяца спустя.

— *Ла-Диксмери*, Никола́ Брикер (de La Dixmerie, 1731—1791)—французский писатель, автор «Философических и поучительных сказок» (1765), рассуждения о преимуществе XVIII века над XVII («Les deux âges du goût et du génie, sous Louis XIV et Louis XV») и др.

— *Франсуа-Ксавье* (1506—1552)—друг Лойолы, миссионер в Японии, Китае и Индии; канонизирован католической церковью.

437. *Отец Гриффет*, Анри (Griffet, 1698—1771)— французский иезуит, историк литературы, автор ряда исторических и философских трудов. Получил звание «королевского проповедника». После изгнания иезуитов из Франции (1764) переехал в Бельгию.

— ... *нанес смертельный удар чудовицу* — т. е. христианской церкви, с которой борется масонство. Известно изречение Вольтера: «Раздавите чудовище!» («Ecrasez l'infâme!»).

— *Отец Ла-Шез*, Франсуа (La Chaise, 1624—1709)—французский иезуит, духовник Людовика XIV. Он пользовался большим доверием короля; в 1705 г. получил от него в подарок поместье под Парижем, являющееся в настоящее время самым большим парижским кладбищем (Пер-ла-Шез).

438. ...*дом, где родился Мольер*.—Мольер родился (в 1622) на улице Сент-Оноре, в самом оживленном квартале Парижа, вблизи Крытого Рынка (Halles) и Пон-Нефа. Дома, где родился великий французский комедиограф, теперь уже не существует; на его месте выстроено новое здание (дом № 96).

439. ...*как видно, эта площадь не наводит их на мудрые размышления* — т. е. вид Гревской площади, где казнят преступников, не устрашает воров.

— *Амазонки*—легендарное племя, состоявшее исключительно из женщин и отличавшееся воинственностью (греч. миф.).

445. ...*каменщики приходят сюда есть свой черствый хлеб*.—Мерсье перефразирует французскую поговорку: «Manger du pain comme un limousin»—«Есть так много хлеба, как его едят каменщики».

— *Иксион*—мифологический царь лапифов, допущенный Юпитером на Олимп (местопребывание богов). За оскорбление Юноны был низвергнут в ад и осужден вечно вращаться на огненном колесе.

446. *Сите* (Cité)—дословно значит «город».

— *Туаз*— см. примеч. к стр. 135.

— *Собор*—т. е. Notre-Dame (собор Парижской богородицы).

448. *Болото* (Marais)—парижский квартал; о нем см. примеч. к стр. 211.

454. *Янсений*, Корнелий (Iansenius, 1585—1638)—голландский богослов; отрицал свободу воли. Янсенизм—близкое к протестантизму буржуазное течение в католической церкви, боровшееся против папского и королевского абсолютизма. В XVII—XVIII веках янсенизм имел во Франции очень многих приверженцев. В 1713 г. папа издал известную буллу «Unigenitus», осуждающую янсенизм.

— *Молина*, Луис (Molina, 1535—1600)—испанский богослов, автор известного трактата «О свободе воли», пытающегося примирить положение о свободе воли с детерминизмом. Молина утверждал, что божественная благодать не действительна сама по себе, а нуждается для воплощения в воле человека. Это утверждение вызвало длительные споры между богословами (в частности, между иезуитами и янсенистами), на что и намекает Мерсье.

455. *Действительная благодать и благодать достаточная*.—По учению католической церкви, достаточная благодать дает человеку возможность творить добро при условии участия его воли; действительная же благодать ведет человека к добру независимо от его воли.

— *Аристофан* (ок. 450—385 до н. э.)—древнегреческий комедиограф.

— *Лукиан*—см. примеч. к стр. 274.

— *Свифт*, Джонатан (Swift, 1667—1745)—английский писатель и публицист, автор «Путешествия Гулливера» и «Сказки о бочке» (изд. «Academia», 1932). Свифт выступал защитником феодально-дворянских идеалов и высмеивал подымавшуюся буржуазию.

— *Аббат Реналь*, Гийом-Тома-Франсуа (Raynal, 1713—1796)—французский философ и литератор, один из видных энциклопедистов. Главный его труд—«Философическая и политическая история торговли европейцев с Индией» (1770), содержащий нападки на колониальный деспотизм, на торговлю неграми и выпады против церкви,—был приговорен парижским парламентом к сожжению (1781). Реналь много путешествовал; был, между прочим, и в России по приглашению Екатерины II. В эпоху террора он чуть было не был гильотинирован; его спасло личное вмешательство Робеспьера.

456. *Кардинал Флёрн*, Андре-Эркуль (Fleurbaey, 1653—

1743)—французский государственный деятель; стоял во главе правительства с 1726 г. Упорно боролся с янсенистами, изгнал профессоров-янсенистов из Сорбонны и заключил в тюрьму многих священников, не желавших принять папскую буллу, осуждавшую янсенизм.

— ... они пускают корни в Белоруссии.—Орден иезуитов был уничтожен папою в 1773 г. (см. примеч. к стр. 343), но прусский король Фридрих II и Екатерина II из политических соображений, желая подчеркнуть свою независимость от Рима, не приняли никаких мер к уничтожению ордена, и иезуиты продолжали свою деятельность в Пруссии, Литве и Белоруссии.

— *Кене*, Франсуа (Quesnay, 1694—1774)—известный французский экономист, основатель школы физиократов, хирург по образованию; родился в бедной крестьянской семье. Кене учил, что только земледельческий труд, благодаря участию самой природы, является производительным трудом и создает новые ценности, в то время как в промышленности происходит лишь переработка одного продукта в другой. Учение Кене отражает интересы капиталистических землевладельцев.

— *Битва при Фонтенуа* (11 мая 1745 г.) ознаменовалась победою французских войск над соединенными войсками Англии, Голландии и Австрии в войне за «австрийское наследство».

457. *Междоусобная война двора с чиновничеством*— см. примеч. к стр. 151.

— *Столкновения из-за императорского наследства*— т. е. война за «австрийское наследство» (1741—1748), последовавшая за смертью императора Священной римской империи Карла VI Габсбургского, который умер в 1740 г., не оставив мужского потомства. В возникшей войне приняло участие большинство европейских держав.

— *Две войны*. — Имеются в виду: 1) «Семилетняя война» между Францией, Австрией и Россией, с одной стороны, и Пруссией с Англией—с другой (1756—1763) и 2) восстание американцев против английского владычества; в последней войне Франция стала на сторону инсургентов (1775—1783). Обе войны окончились для Франции неудачно.

— *Экономисты, агрономы и их учитель* — т. е. Кене и его школа (см. примеч. к стр. 456).

459. ...*когда он болел в Меце*.—Людовик XV опасно заболел в Меце в августе 1744 г., во время войны за «австрийское наследство».

460. *Домициан*, Тит-Флавий—римский император (81—96 н. э.)

466. *Гимон-де-ла-Туш*, Клод (Guimond de la Touche, 1719—1760)—французский поэт и драматург. Его трагедия «Ифигения в Тавриде» (1757) имела в свое время большой успех.

— «*Заблуждение и истина*»—философско-мистическое сочинение масона-мартиниста Сен-Мартена (1743—1803), прозванного «Неведомым философом». В этой книге, появившейся в 1775 г. (русский перевод—1785), Сен-Мартен доказывал, что творимое человеком добро есть реализация закона, установленного некоей высшей разумной силой, управляющей миром. Вольтер осмеял эту книгу в одном из своих писем к Д'Аламберу. Следует, однако, отметить, что мистика Сен-Мартена имеет резко антиклерикальный характер. Воззрения Сен-Мартена имели большое влияние на Новикова, Шварца, Лопухина и других видных русских мастеров.

471. *Фонтенель*—см. примеч. к стр. 324.

472. *Монтень*—см. примеч. к стр. 69.

— *Сезотрис*—имя нескольких древнеегипетских царей.

473. *Фузилер*—солдат, вооруженный кремневым ружьем.

476. *Лекен*, Анри-Луи (Lekain, 1729—1778)—французский трагик; сделал первый шаг в деле приближения сценической игры к жизни.

— *Ферне*—поместье Вольтера на границе со Швейцарией (около Женевы).

— *Мельпомена* (греч. миф.)—муза трагедии, покровительница театра.

477. *Гаррик*, Давид (Garrick, 1716—1779)—знаменитый английский актер, один из лучших толкователей Шекспира.

482. «*Мемуары*» *Бомарше*.—Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (Beaumarchais, 1732—1799)—известный фран-

цузский писатель и драматург, автор «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро», выразитель идей и интересов революционно настроенной буржуазии. Бомарше был компаньоном банкира Дюверне, после смерти которого возникло судебное дело между Бомарше и наследниками Дюверне. Дело разбиралось в парламенте; чтобы склонить на свою сторону парламентского докладчика Гесмана, Бомарше передал его жене крупную взятку. Несмотря на это, Бомарше проиграл дело. Согласно условию, Гесман вернул ему деньги, удержав лишь пятнадцать луидоров, которые пошли якобы секретарю Гесмана. Эти пятнадцать луидоров послужили поводом к ссоре; подкуп обнаружился, возникло новое дело по обвинению Бомарше в даче взятки (1773). Чтобы оправдаться, Бомарше написал упоминаемые Мерсье «Мемуары», имевшие громадный успех ввиду того, что Бомарше сумел своему личному делу придать окраску защиты общественных интересов и присоединил сюда разоблачения нравов судейского мира.

— *Незаконное собрание*—парламент Мопу (см. примеч. к стр. 151), членом которого и состоял Гесман.

483. *Дуэли*—см. примеч. к стр. 226.

— *Нантский эдикт*, изданный Генрихом IV в 1598 г., предоставлял гугенотам (протестантам) некоторые права. С развитием абсолютизма он был отменен: в 1629 г. частично, а в 1685 г., при Людовике XIV, окончательно. Отмена эдикта вызвала массовую эмиграцию гугенотов в соседние страны, повлекшую большой ущерб для французской торговли и промышленности. На последнее обстоятельство и намекает Мерсье.

487. *Мендвиль*, Бернард (Mandeville, 1670—1733)—английский писатель-сатирик; жил в Голландии. Мерсье имеет в виду его парадоксальный трактат «Fable of the Bees or Private Vices made Public Benefits» («Басня о пчелах, или Общественная польза от частных пороков», Лондон 1705, дополн. 1723). Книга подверглась в свое время судебному преследованию за порчу общественных нравов.

— «*Minima de malis*» — латинская поговорка, означающая: «Из двух зол—меньшее».

488. *Катон* (Старший)—см. примеч. к стр. 198.

— *Аппиев закон* (lex Appia de culta mulierum, 215 до н. э.)—один из древнеримских законов против роскоши. Этот закон запрещал женщинам употреблять на украшения более 14 граммов золота, носить дорогие пурпурные ткани и т. п. В 195 г. Аппиев закон был отменен по предложению трибуна Валерия.

497. *Харон* (греч. миф.)—перевозчик душ умерших через реку подземного царства.

500. *Филипп Красивый*—см. примеч. к стр. 418.

501. «*Две тысячи четыреста сороковой год*»—см. примеч. к стр. 116.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Л.-С. Мерсье. <i>С гравюры Энрике (Гос. музей изобразит. искусств)</i>	VI—VII
2. Вид Парижа при Людовике XVI. <i>С гравюры Берто по рисунку Л'Эспинаса (Гос. музей изобразит. искусств)</i> . . .	19
3. Интимный ужин. <i>С гравюры Эльмана по рисунку Моро младшего (Гос. музей изобразит. искусств)</i>	73
4. В вестибюле Оперы. <i>С гравюры Мальбета по рисунку Моро младшего (Гос. музей изобразит. искусств)</i>	83
5. Переход через сточную канаву во время грозы. <i>С гравюры неизвестного мастера по рисунку Гарнье (Из книги Lacroix «XVIII siècle. Usages»)</i>	101
6. Модные господа. <i>С гравюры неизвестного мастера по рисунку Сент-Обена (Из книги Lacroix «XVIII siècle. Usages»)</i>	131
7. Сельский разносчик. <i>С гравюры Романа по рисунку Сека (Гос. музей изобразит. искусств)</i>	149
8. Отправка публичных женщин в Приют. <i>С гравюры Ле-Вассера по рисунку Жора (Гос. музей изобразит. искусств)</i>	159
9. Рыночная площадь в Париже. <i>С гравюры Альяме по рисунку Жора (Гос. музей изобразит. искусств)</i>	175

10.	Переселение художника на новую квартиру. С гравюры Дюфло по рисунку Жора (Гос. музей изобразит. искусств)	207
11.	Арест. С гравюры Дюфло по рисунку Жора (Гос. музей изобразит. искусств)	229
12.	Вид Парижа при Людовике XVI. С гравюры Кокре по рисунку Габрица (Гос. музей изобразит. искусств) . . .	247
13.	Прогулка в Марли. С гравюры Гуттенберга по рисунку Моро младшего (Гос. музей изобразит. искусств) . . .	283
14.	Благотворительность. С гравюры де-Лоне младшего по рисунку Френа (Гос. музей изобразит. искусств)	309
15.	Исповедальня. С гравюры Муатта по рисунку Бодуэна (Гос. музей изобразит. искусств)	315
16.	Гулянье на городском валу в Париже. С гравюры неизвестного мастера по рисунку Сент-Обена (Гос. музей изобразит. искусств)	347
17.	Прощание с кормилицей. С гравюры де-Лоне младшего по рисунку Обри (Гос. музей изобразит. искусств) . . .	411
18.	Вид Парижа при Людовике XVI. С гравюры Берто по рисунку Л'Эспинаса (Гос. музей изобразит. искусств)	427
19.	Судья, или разбитая кружка. С гравюры Ле-Во по рисунку Дебюкура (Гос. музей изобразит. искусств)	441
20.	Шарлатан на площади Лувра. С гравюры неизвестного мастера по рисунку Дюлесси-Берто (Из книги Lascoix «XVIII siècle. Usages»)	463
21.	Актриса в ложе своего покровителя. С гравюры Патá по рисунку Моро младшего (Гос. музей изобразит. искусств) . . .	479
22.	Уличный карнавал в Париже. С гравюры Ле-Вассера по рисунку Жора (Гос. музей изобразит. искусств)	493

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья Фридринда VII

К а р т и н ы П а р и ж а

Предисловие 3

Часть I

1. Общее впечатление	15
2. Чердаки	23
3. Необъятность столицы	25
4. Лицо большого города	27
5. Каменоломни	30
6. Что случилось с феодальным государством?	31
7. Отчизна истинного философа	33
8. О беседе	35
9. Новые Афины	37
10. Наслаждения	38
11. Опасности	39
12. Преимущества	40
13. Утонченный ум	41
14. Для кого же искусства?—Увы!	42
15. Бедняку—сума	42
16. Недостаток в денежных знаках	45

17. Серебро	47
18. Веселость	49
19. Искусственные потребности	50
20. Буржуа	51
21. Население столицы	56
22. Соседство	59
23. Печные трубы	61
24. Обоснованные опасения	63
25. Политическое лицо истинных парижан	64
26. Совершенные зеваки	66
27. Мещаночки	69
28. Новобрачная	72
29. Парижанин в провинции	76
30. О времени	77
31. Вежливые мошенники.—Воры	78
32. Парикмахеры	85
33. Разносчики соли	88
34. Морская рыба	89
35. Налог в пользу бедных	90
36. Уличная орфография	91
37. Древности	93
38. Мой дед	96
39. Берегись! Берегись!	97
40. Ручьи	100
41. Вытопка сала	103
42. Бойни	103
43. Тлетворный воздух	105
44. Ветеринарные ямы	112
45. Сила привычки	113
46. Утопленники.—Угар	115
47. Меблированные комнаты	119
48. Извозчики	122
49. Водоносы	124
50. Мост Пон-Нёф	125
51. Мост Пон-Рояль	130
52. Очаровательный вид	133
53. Бульвары	135
54. Наши бабушки	135
55. О крупных состояниях	137
56. Обедующие в гостях	140
57. Монарх	144
58. Изменчивость правительства	145

59.	Шпионы	146
60.	Книгоноши	148
61.	Состав полиции	152
62.	Ночная стража	155
63.	Начальник полиции	161
64.	Пожары.—Пожарные насосы	166
65.	Реверберы	168
66.	Вывески	170
67.	Крытые рынки	171
68.	Базары	174
69.	Набережная де-ла-Валле	177
70.	Табль-д'оты	179
71.	Кофейни	180
72.	Человек со ста шестьюдесятью миллионами	183
73.	Прожекторы	185
74.	Таможня	187
75.	Королевская казна	189
76.	Рантье	190
77.	О черном платье	193
78.	Обманщики	194
79.	Праздношатающийся	196
80.	Страна латинская	197
81.	Коллежи и прочее	197
82.	Анатомия	200
83.	Сорбонна	203
84.	Кладбищенские писцы	206
85.	Предместье Сен-Марсель	209
86.	Маре	211
87.	Портрет одной ханжи из Маре	214
88.	Повсюду строят	215
89.	Домашняя обстановка	219
90.	Аббаты	221
91.	Епископы	223
92.	Чередованье мод	225
93.	Трость	225
94.	Ослепление	227
95.	Бесплатные курсы	228
96.	Сыскное бюро	231
97.	Песни.—Водевили	232
98.	Учтивость	234
99.	Прогресс искусств и наук	234
100.	Приговор	235

101.	Нехорошие	237
102.	Хорошее общество	238
103.	Наивность	239
104.	Светские приличия	239

Часть II

105.	Утверждения не хуже других	245
106.	Офицерство	252
107.	Приверженцы роскоши	255
108.	Земское ополчение	257
109.	Молодые судьи	258
110.	Кабаки	259
111.	Пале	261
112.	Торговый суд	263
113.	Школа правоведения	265
114.	Палата вод и лесов	267
115.	Нотариусы	268
116.	Эшеваны	271
117.	Адвокаты	274
118.	Университетские профессора	277
119.	Начальные школы	279
120.	Евреи	280
121.	Королевские цензоры	280
122.	Лон-Шан	282
123.	Заставы	285
124.	Опять пожар	288
125.	Предусмотрительность	290
126.	Посредники в делах	291
127.	Банкиры	294
128.	Банкротства	298
129.	Бездельники	300
130.	Маленький вопросик	301
131.	Органы	303
132.	Сборщица подаваний	307
133.	Благословенный хлеб	311
134.	Катехизис	313
135.	Доктора	317
136.	Королевское медицинское общество	321
137.	Писатели	324

138.	О полуписателях, четверть-писателях, о мексиках, квартирных и проч	329
139.	Секретари	331
140.	Писаря	332
141.	Учителя	335
142.	Книгопродавцы	337
143.	Книги	339
144.	Букинисты	339
145.	Брошюры	342
146.	Равновесие	345
147.	Куртий	346
148.	О разного рода наблюдателях	351
149.	Разновидности ума	354
150.	Кому платят?	355
151.	«Дела»	358
152.	Дельцы	358
153.	Почасная оплата труда	359
154.	Сословие, не поддающееся определению	360
155.	Беспечный	361
156.	Ивящные	361
157.	Определенно поверхностный человек	364
158.	Независимые.—Презрительные	365
159.	Любители новостей	366
160.	Жизнь буржуа	369
161.	Лорнирующие	370
162.	Пале-Рояль	372
163.	Издательство	374
164.	Мистифицирование.—Мистификация	375
165.	Архитектура	379
166.	Торговки модными вещами	382
167.	Парикмахеры	383
168.	Украшения	385
169.	Бережливость	389
170.	Надписи с наименованием улиц	391
171.	Пансионы	393
172.	Слуги.—Лакеи	395
173.	Модистки	398
174.	Преподаватели приятных манер	401
175.	Драгоценные вещи	403
176.	О моде	404
177.	Замечания	407
178.	Пройдемтесь по городу	415

179.	Сент-Шапель	429
180.	Церковь святой Женевьевы	433
181.	Иезуитская обитель	436
182.	По соседству с Крытым Рынком	438
183.	Улица Тирнап	440
184.	Тряпичник	443
185.	Улица Юшетт	444
186.	Гро-Кайу	445
187.	Сите	446
188.	Остров Людовика Святого	448
189.	Грунт некоторых кварталов столицы	449
190.	То, что я видел, и то, чего не видал	454
191.	Любовь к чудесному	461
192.	Навоз	467
193.	Садоводство	468
194.	Королевская библиотека	470
195.	Фузилеры на спектаклях	473
196.	Ложи	477
197.	Учителя фехтования	483
198.	Азартные игры	485
199.	Законы против роскоши	488
200.	Иностранцы	490
201.	Объявления о специфических лекарственных средствах	495
202.	Ботики	496
203.	Глиняная посуда	497
204.	Санитарный совет	498
205.	Улучшение	499
	Комментарии	503
	Перечень иллюстраций	559

Редактор Ц. Фридлянд.
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Литерат.-технич.наблюдение
А. А. Реформатский
Техред Л. А. Фрязинова
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

Сдано в набор 27/X 1934
Подп. к печати 9/VI 1935.
Уполном. Главлита № 2406
Тир. 5 300. Зак. тип. 1080
«Ас» 110. Инд. А-3. Авт. л. 23, 3
П. л. 19¹/₂. Бум. 82 × 110¹/₃₂.
Тип. зн. на 1 бум. л. 93568

Отпечат. в 16-й типографии
треста «Полиграфвига»
Москва, Трехпрудный пер, 9-

Цена Р. 8.00
Переплет Р. 2.50